

БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ
ВЕЛИКИЙ
ПУТЬ



БИБЛИОТЕКА
«ЛЮБИТЕЛЯМ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ»



ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XI—XVII ВЕКОВ



Москва, 1987

83.3P1
Л65

Л $\frac{4603010101-056}{М 106(03)-87}$ 310-86

83.3P1

ПРЕДИСЛОВИЕ

Человек живет не только в определенной биосфере (термин академика В. И. Вернадского), но и в сфере, создаваемой им самим в результате его культурной (или антикультурной) деятельности. Человек осваивает природу (иногда нарушая существующие в ней равновесия), изменяет почву, растительность, создает и свою собственную культуру, менее зависящую от природы, но чрезвычайно для него важную: поколения людей создают язык, письменность, литературу, все виды искусств, науку, обычаи. Традиции формируют его поведение, он наследует бытовые знания и бытовые материальные ценности. С момента своего появления на свет каждый человек оказывается в атмосфере, созданной тысячами поколений людей. Эту сферу я предложил в свое время назвать по образцу терминов, предложенных В. И. Вернадским, гомосферой («человекоокружением»). В этой гомосфере огромную роль играет литература, через которую человеку передаются нравственные и эстетические представления, — непосредственно, когда человек читает, слушает или воспроизводит тексты вслух, одновременно «читая» и слушая их, и опосредованно, когда он воспринимает ценности литературы через других, через сформированные под влиянием литературы в обществе нравственные понятия, нормы поведения и эстетические представления.

Роль литературы огромна, и счастлив тот народ, который имеет великую литературу на своем родном языке. Литература обогащает гомосферу в высокой степени.

У каждого народа, помимо общей гомосферы человечества, существует и своя, присущая ему гомосфера, своя ее разновидность, свои источники обогащения гомосферы, национальная специфика. Поэтому можно говорить об этно-гомосфере.

Чтобы воспринять культурные ценности во всей их полноте, необходимо знать их происхождение, процесс их созидания и исторического изменения, заложенную в них культурную память. Чтобы глубоко и точно воспринять художественное произведение, надо знать, кем, как и при каких обстоятельствах оно создавалось. Так же точно и литературу в целом мы по-настоящему поймем,

когда будем знать, как она создавалась, формировалась и участвовала в жизни народа.

Русскую историю без русской литературы так же трудно себе представить, как Россию без русской природы или без ее исторических городов и сел. Сколько бы ни изменялся облик наших городов и сел, памятников архитектуры и русской культуры в целом — их существование в истории вечно и неуничтожимо.

Русская литература — чрезвычайно важная часть отечественной истории. И не только потому, что литература наша испытывала на себе постоянное воздействие русской исторической действительности, но и потому, конечно, что она сама, в свою очередь, воздействовала на историческую действительность, формировала национальное самосознание народа, в пору упадка государственной власти, в века феодальной раздробленности или чужеземного ига брала на себя задачи государства, помогала русскому народу сознавать свое единство и сохраняла историческую память и историческое и национальное самосознание. Изобличая неправды князей и боярства, литература поддерживала нравственное здоровье нации, способствовала «самоочищению» страны от зла.

Русская литература всегда «была кафедрой, с которой раздавалось учительное слово».

Взаимоотношения литературы и действительности были сложны и многообразны. Предстоит еще многое сделать, чтобы в них разобраться, точно установить, в каких случаях и как общественная и государственная жизнь соприкасались и взаимодействовали с литературой. Во всяком случае, ясно одно: Древняя Русь и Россия могут гордиться участием своей литературы в социальной, политической и культурной жизни страны, той исключительной ролью, которую играла русская литература в нашей истории.

Грамотность и начитанность составляли характерную черту русского народа. Это ясно, если не подходить к этому с трехсотлетней предубежденностью.

Великий путь, которым прошла русская литература, — это не только путь одержанных побед. Это прежде всего путь борьбы, надежд и разочарований, заблуждений и прозрений. Движение не могло быть остановлено и останавливаемо. Но это движение не знало иногда и строгого единства и прямолинейности, оно пересекалось и пресекалось, расширялось, сужалось, переходило в культуре страны из одной сферы в другую. Оно боролось с собственной инерцией, преодолевало эту инерцию, уходило иногда в сторону от магистральной линии развития культуры. Но и в этих своих уходах — никогда не исчезало целиком.

Если по вершинам русской литературной истории, поверх всех снижений и впадений провести соединительную линию, то она будет достаточно четкой и определенной, чтобы можно было говорить о поступательном движении литературы.

В данной книге я стремлюсь проследить этот путь несколько конкретнее, чем в других своих работах, в частности в работе «Будущее литературы как предмет изучения», и не ставлю задачу обосновать непреходящую ценность отдельных классических произведений древней русской литературы, как это я

делаю в книге «Великое наследие», и не занимаюсь установлением законов исторического развития русской литературы, как было в книге «Развитие русской литературы X—XVII вв».

Предлагаемая вниманию читателей книга входит в перечисленную выше серию моих работ по древней русской литературе, о ее прогрессивных линиях развития, но отлична от них тем, что ее задача — показать это развитие «в образцах и примерах», служить введением к чтению древнерусских памятников.

СВОЕОБРАЗИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

(ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ)

Одна из насущнейших задач — ввести в круг чтения и понимания современного читателя памятники искусства слова Древней Руси. Искусство слова находится в органической связи с изобразительным искусством, с зодчеством, с музыкой, и не может быть подлинного понимания одной области без понимания всех других областей художественного творчества Древней Руси. В великой и своеобразной культуре Древней Руси тесно переплетаются изобразительное искусство и литература, духовная культура и материальная, широкие международные связи и резко выраженное национальное своеобразие.

Русской литературе без малого тысяча лет. Это одна из самых древних литератур Европы. Она древнее, чем литературы французская, английская, немецкая. Ее начало восходит ко второй половине X века. Из этого великого тысячелетия более семисот лет принадлежит периоду, который принято называть «древняя русская литература».

Литература возникла внезапно. Скачок в царство литературы произошел одновременно с появлением на Руси христианства и церкви, потребовавших письменности и церковной литературы. Скачок к литературе был подготовлен всем предшествующим культурным развитием русского народа. Высокий уровень развития фольклора сделал возможным восприятие новых эстетических ценностей, с которыми знакомила письменность. Мы сможем по-настоящему оценить размеры этого скачка, если обратим внимание на превосходно организованное письмо, перенесенное к нам из Болгарии, на богатство переданного нам оттуда же литературного языка, способного выразить сложнейшие политические, нравственные и философские идеи, на обилие переведенных в Болгарии и возникших в ней же сочинений, которые уже с конца X века создаются и начинают проникать на Русь. В это же время создается и первое произ-

ведение русской литературы — так называемая «Речь философа», в которой на основании разных переводных источников кратко рассказывалась история мира от его «сотворения» и до возникновения вселенской церковной организации.

1

Что же представляла собой русская литература в первые семьсот лет своего существования? Попробуем рассмотреть эти семьсот лет как некое условное единство (к различиям хронологическим и жанровым мы обратимся в дальнейшем).

Художественная ценность древнерусской литературы еще до сих пор по-настоящему не определена. Прошел уже век с тех пор, как была открыта (и продолжает раскрываться) в своих эстетических достоинствах древнерусская живопись: иконы, фрески, мозаики. Почти столько же времени восхищает знатоков и древнерусская архитектура — от церквей XI—XII веков до «нарышкинского барокко» конца XVII века. Удивляет градостроительное искусство Древней Руси, умение сочетать новое со старым, создавать силуэт города, чувство ансамбля. Совсем недавно стали «замечать» древнерусскую скульптуру, само существование которой отрицалось, а в иных случаях продолжает отрицаться и до сих пор. Приоткрыт занавес над искусством древнерусского шитья.

Древнерусское искусство совершает победное шествие по всему миру. Музей древнерусской иконы существует в Реклингхаузене (ФРГ), а особые отделы русской иконы — в музеях Стокгольма, Осло, Бергена, Нью-Йорка, Берлина и многих других.

Но древнерусская литература по-прежнему молчит, хотя работ о ней появляется в разных странах все больше. Она молчит, так как большинство исследователей, особенно на Западе, ищет в ней не эстетические ценности, не литературу как таковую, а всего лишь средство для раскрытия тайн «загадочной» русской души. И вот древнерусская культура объявляется «культурой великого молчания».

Между тем в нашей стране пути к открытию художественной ценности литературы Древней Руси уже найдены. Они найдены Ф. И. Буслаевым, А. С. Орловым, В. П. Адриановой-Перетц, И. П. Ереминым. Мы стоим на пороге этого открытия, пытаемся прервать «молчание», и это молчание, хотя еще и не прерванное, становится все более и более красноречивым.

То, что вот-вот скажет нам сейчас древнерусская литература,

не таит эффектов гениальности, ее голос негромок. Авторское начало было приглушено в древнерусской литературе. В ней не было ни Шекспира, ни Данте. Это хор, в котором совсем нет или очень мало солистов и в основном господствует унисон. И тем не менее эта литература поражает нас своей монументальностью и величием целого. Она имеет право на заметное место в истории человеческой культуры и на высокую оценку своих эстетических достоинств. Отсутствие великих имен в древнерусской литературе кажется приговором. Но строгий приговор, вынесенный ей только на этом основании, несправедлив. Мы исходим из своих представлений о развитии литературы — представлений, воспитанных веками, когда расцвело индивидуальное, личностное искусство — искусство отдельных гениев.

Древняя русская литература ближе, однако, к фольклору, чем к индивидуализированному творчеству писателей нового времени. Мы восхищаемся народным шитьем, но можем ли мы найти среди безымянных мастериц этого шитья кого-либо, кто мог бы быть уподоблен Джотто или Чимабуэ?

То же и в древнерусской живописи. Правда, мы знаем имена Рублева, Феофана Грека, Дионисия и его сыновей. Но и их искусство прежде всего искусство традиции и лишь во вторую очередь — искусство индивидуальной творческой инициативы. Впрочем, не случайно эпоху Рублева и Феофана мы называем в древнерусском искусстве эпохой Предвозрождения. Личность начинала уже играть в это время заметную роль. Имен крупных писателей в Древней Руси также немало: Иларион, Нестор, Симон и Поликарп, Кирилл Туровский, Климент Смолятич, Серапион Владимирский и многие другие. Тем не менее литература Древней Руси не была литературой отдельных писателей: она, как и народное творчество, была искусством наиндивидуальным. Это было искусство, создавшееся путем накопления коллективного опыта и производящее огромное впечатление мудростью традиций и единством всей, в основном безымянной, письменности.

Перед нами литература, которая возвышается над своими семью веками как единое грандиозное целое, как одно колоссальное произведение, поражающее нас подчиненностью одной теме, единым борением идей, контрастами, вступающими в неповторимое сочетание. Древнерусские писатели — не зодчие отдельно стоящих зданий. Это — градостроители. Они работали над одним общим грандиозным ансамблем. Они обладали замечательным «чувством плеча», создавали циклы, своды и ансамбли произведений, в свою очередь слагавшихся в единое здание литературы, в котором и самые противоречия составляли некое органическое явление, эстетически уместное и даже необходимое.

Это своеобразный средневековый собор, в строительстве которого принимали участие в течение нескольких веков тысячи вольных каменщиков, с их ложами и их подвижными, переезжавшими из страны в страну артелями, позволявшими использовать опыт всего европейского мира в целом. Мы видим в этом соборе и контрфорсы, сопротивляющиеся силам, раздвигающим его, и устремленность к небу, противостоящую земному тяготению. Фигуры святых внутри соотносятся с фигурами химер снаружи. Одни устремлены взорами к небу, другие тупо смотрят в землю, озабочены повседневностью. Витражи как бы отторгают внутренний мир собора от того, что находится за его пределами. Он вырастает среди тесной застройки города. Его пышность противостоит бедности «земных жилищ» горожан. Его росписи отвлекают их от земных забот, напоминают о вечности. Но все-таки это творение рук человеческих, и горожанин чувствует рядом с этим собором не только свою ничтожность, но и силу человеческого единства. Он построен людьми, чтобы подняться над ними и чтобы возвысить их одновременно.

Всякая литература создает свой мир, воплощающий мир представлений современного ей общества. Попробуем восстановить мир древнерусской литературы. Что же это за единое и огромное здание, над построением которого трудились семьсот лет десятки поколений русских книжников — безвестных или известных нам только своими скромными именами — и о которых почти не сохранилось биографических данных, от которых не осталось даже автографов?

Чувство значительности происходящего, значительности всего временного, значительности истории даже человеческого бытия не покидало древнерусского человека ни в жизни, ни в искусстве, ни в литературе. Человек, живя в мире, помнил о мире в целом как огромном единстве, ощущал свое место в этом мире. Его дом располагался красным углом на восток. По смерти его клали в могилу головой на запад, чтобы лицом он встречал солнце. Его церкви были обращены алтарями навстречу возникающему дню. Восток символизировал собою будущее, запад — прошлое. В храме росписи напоминали ему о событиях Ветхого завета и Нового завета, собирали вокруг него мир святости: святых воинов внизу, мучеников повыше; в куполе изображалась сцена вознесения Христа, на парусах сводов, поддерживающих купол, — евангелисты и т. д. Церковь была микромиром, и вместе с тем она была макрочеловеком. У нее была глава, под главой — «шея»-барабан, «плечи». Окна были очами храма (об этом свидетельствует сама этимология слова «окно»). Над окнами были «бровки».

Большой мир и малый, вселенная и человек! Все взаимосвязано, все значительно, все напоминает человеку о смысле его

существования, о величии мира и значительности в нем судьбы человека.

Не случайно в апокрифе о создании Адама рассказывается, что тело его было создано от земли, кости от камней, кровь от моря (не из воды, а именно от моря), очи от солнца, мысли от облак, свет в очах от света вселенной, дыхание от ветра, тепло тела от огня. Человек — микрокосм, «малый мир», как называют его некоторые древнерусские сочинения¹.

Человек ощущал себя в большом мире ничтожной частицей и все же участником мировой истории. В этом мире все значительно, полно сокровенного смысла. Задача человеческого познания состоит в том, чтобы разгадать смысл вещей, символику животных, растений, числовых соотношений. Число один свидетельствовало о единстве бога, два — напоминало о двудеиной природе Христа, три — о триединстве бога, четыре — было символом материального мира. Поэтому мир имеет четыре стороны света, он составлен из четырех элементов. Семь воплощало в себе соединение божественного числа три с материальным числом четыре и представляло собой человека. Поэтому все, что касается человека, семирично по своей природе: семь смертных грехов и семь противопоставленных им таинств, семь возрастов, семь планет, управляющих его жизнью, семь дней недели, в которые был сотворен мир, семь тысячелетий человеческой истории и т. д. Три, умноженное на четыре, представляло собой сверхчеловеческое начало: двенадцать апостолов, двенадцать месяцев года. Три, умноженное на три, — сугубо божественное: девять кругов рая. Можно было бы привести множество символических значений отдельных чисел. Но кроме того, существовала символика цветов, драгоценных камней, растений и животных. Когда в природе не хватало для символов животных, чтобы воплотить в себе все знаки божественной воли, изъясняемой богом людям, в строй вступали фантастические звери античной или восточной мифологии.

Вселенная — книга, написанная перстом Божиим. Письменность расшифровывала этот мир знаков. Ощущение значительности и величия мира лежало в основе древнерусской литературы.

Литература обладала всеохватывающим внутренним единством, единством темы и единством взгляда на мир. Это единство разрывалось противоречиями воззрений, публицистическими протестами и идеологическими спорами. Но тем не менее оно потому и разрывалось, что существовало. Единство было

¹ См., например, статью «От чего составлен мир и малый мир — человек» (рукопись XVI в. Государственная Публичная библиотека в Ленинграде, № 101/1178, л. 261 об. и сл.).

обязательным, и потому любая ересь или любое классовое или сословное выступление требовало нового единства, переосмысления всего наличного материала. Любая историческая перемена требовала пересмотра всей мировой истории — создания новой летописи, часто от «потопа» или даже от «сотворения мира».

Древнерусскую литературу можно рассматривать как литературу одной темы и одного сюжета. Этот сюжет — мировая история, и эта тема — смысл человеческой жизни. Не то чтобы все произведения были посвящены мировой истории (хотя этих произведений и очень много): дело не в этом! Каждое произведение в какой-то мере находит свое географическое место и свою хронологическую веху в истории мира. Все произведения могут быть поставлены в один ряд друг за другом в порядке совершающихся событий: мы всегда знаем, к какому историческому времени они отнесены авторами. Литература рассказывает или по крайней мере стремится рассказать не о придуманном, а о реальном. Поэтому реальное — мировая история, реальное географическое пространство — связывает между собой все отдельные произведения.

В самом деле, вымысел в древнерусских произведениях маскируется правдой. Открытый вымысел не допускается. Все произведения посвящены событиям, которые были, совершились или, хотя и не существовали, но всерьез считаются совершившимися. Древнерусская литература вплоть до XVII века не знает или почти не знает условных персонажей. Имена действующих лиц — исторические: Борис и Глеб, Феодосий Печерский, Александр Невский, Дмитрий Донской, Сергей Радонежский, Стефан Пермский... При этом древнерусская литература рассказывает по преимуществу о тех исторических лицах, которые сыграли значительную роль в исторических событиях: будь то Александр Македонский или Авраамий Смоленский.

Разумеется, исторически значительными лицами будут со средневековой точки зрения не всегда те, которых признаем историческими мы — с точки зрения людей нового времени. Это по преимуществу лица, принадлежащие к самой верхушке феодального общества: князья, полководцы, епископы и митрополиты, в меньшей мере — бояре. Но есть среди них и лица безвестного происхождения: святые отшельники, основатели скитов, подвижники. Они также значительны с точки зрения средневекового историка (а древнерусский писатель по большей части именно историк), так как и этим лицам приписывается влияние на ход мировой истории: их молитвами, их нравственным воздействием на людей. Тем более удивляет и восторгает древнерусского писателя это влияние, что такие святые были

известны очень немногим своим современникам: они жили в уединении «пустынь» и молчаливых келий.

Мировая история, изображаемая в средневековой литературе, велика и трагична. В центре ее находится скромная жизнь одного лица — Христа. Все, что совершалось в мире до его воплощения, — лишь приуготовление к ней. Все, что произошло и происходит после, сопряжено с этой жизнью, так или иначе с ней соотносится. Трагедия личности Христа заполняет собой мир, она живет в каждом человеке, напоминает в каждой церковной службе. События ее вспоминаются в те или иные дни года. Годишний круг праздников был повторением священной истории. Каждый день года был связан с памятью тех или иных святых или событий. Человек жил как бы в окружении событий истории. При этом событие прошлого не только вспоминалось — оно как бы повторялось ежегодно в одно и то же время. Кирилл Туровский в «Слове на новую неделю по Пасхе» говорит: «Днесь весна красується, оживляючи земное естество... Ныня реки апостольскыя наводняються». Сама природа как бы символизировала своим весенним расцветом события вознесения Христа.

Одна из самых популярных книг Древней Руси — «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского. Книга эта рассказывает о мире, располагая свой рассказ в порядке библейской легенды о создании мира в шесть дней. В первый день был сотворен свет, во второй — видимое небо и воды, в третий — море, реки, источники и семена, в четвертый — солнце, луна и звезды, в пятый — рыбы, гады и птицы, в шестой — животные и человек. Каждый из описанных дней — гимн творению, миру, его красоте и мудрости, согласованности и разнообразию элементов целого.

История не сочиняется. Сочинение со средневековой точки зрения — ложь. Поэтому громадные русские произведения, излагающие всемирную историю, — это по преимуществу переводы с греческого: хроники или компиляции на основе переводных и оригинальных произведений. Произведения по русской истории пишутся вскоре после того, как события совершились, — очевидцами, по памяти или по свидетельству тех, кто видел описываемые события. В дальнейшем новые произведения о событиях прошлого — это только комбинации, своды предшествующего материала, новые обработки старого. Таковы в основном русские летописи. Летописи — это не только записи о том, что произошло в годовом порядке; это в какой-то мере и своды тех произведений литературы, которые оказывались под рукой у летописца и содержали исторические сведения. В летописи вводились исторические повести, жития святых, различные документы, послания. Произведения постоянно включались в циклы и своды произведений. И это включение не слу-

чайно. Каждое произведение воспринималось как часть чего-то большего. Для древнерусского читателя композиция целого была самым важным. Если в отдельных своих частях произведение повторяло уже известное из других произведений, совпадало с ним по тексту — это никого не смущало.

Таковы «Летописец по великому изложению», «Еллинский и римский летописец», различного рода изложения ветхозаветной истории — так называемые палеи (историческая, хронографическая, толковая и пр.), временники, степенные книги и, наконец, множество различных летописей. Все они представляют собой своды, компиляции. Это собрания предшествующих исторических произведений, с ограниченной переработкой их в недрах нового сочинения, охватывающего более широкий и более поздний круг источников.

Тем же стремлением ответить на основные вопросы мироустройства воодушевлены апокрифы. Они дополняют и развивают повествование Священного писания.

Исторических сочинений великое множество. Но одна их особенность изумляет: говоря о событиях истории, древнерусский книжник никогда не забывает о движении истории в ее мировых масштабах. Либо повесть начинается с упоминания о главных мировых событиях в их средневековом понимании (сотворении мира, всемирном потопе, вавилонском столпотворении и воплощении Христа), либо повесть непосредственно включается в мировую историю: в какой-либо из больших сводов по всемирной истории.

Автор «Чтения о житии и погублении Бориса и Глеба», прежде чем начать свое повествование, кратко рассказывает историю вселенной от сотворения мира, историю Иисуса Христа. Древнерусский книжник никогда не забывает о том, в каком отношении к общему движению мировой истории находится то, о чем он повествует. Даже рассказывая немудрую историю о безвестном молодце, пьянице и азартном игроке в кости, человеке, дошедшем до последних ступеней падения, автор «Повести о Горе-Злочастии» начинает ее с событий истории мира — буквально «от Адама»:

А в начале века сего тленного
сотворил небо и землю,
сотворил бог Адама и Евву,
повелел им жити во святом раю.

История отдельного человека, пусть самого маленького, — это только часть истории мира; автору и читателю видится в ней судьба человека вообще. Вот почему в древней русской литературе так много огромных сочинений, объединяющих отдельные повествования в общее повествование о судьбе мира. Происходит как бы непрерывная циклизация. Даже запис-

ки тверского купца Афанасия Никитина о его «Хождении за три моря» после его смерти были отвезены в Москву дьяку Мамыреву и здесь включены в летопись, где находят себе место под годом их находки — 1475-м. Из сочинения, с нашей точки зрения, географического записки эти становятся сочинением историческим — повестью о событиях путешествия в Индию. Такая судьба не редка для литературных произведений Древней Руси — многие из рассказов со временем начинают восприниматься как исторические, как документы или повествования о русской истории: будь то проповедь игумена Выдубецкого монастыря Моисея, произнесенная им по поводу построения монастырской стены, или житие святого.

Произведения строились по «анфиладному принципу». Житие дополнялось с течением веков службами святому, описанием его посмертных чудес. Оно могло разрастаться дополнительными рассказами о святом. Несколько житий одного и того же святого могли быть соединены в новое единое произведение. Новыми сведениями могла дополняться летопись. Окончание летописи все время как бы отодвигалось, продолжаясь дополнительными записями о новых событиях (летопись росла вместе с историей). Отдельные годовые статьи летописи могли дополняться новыми сведениями из других летописей; в них могли включаться новые произведения. Так дополнялись также хронографы, исторические повествования. Разрастались сборники слов и поучений.

Подобно тому как мы говорим об эпосе в народном творчестве, мы можем говорить и об эпосе древнерусской литературы. Эпос — это не простая сумма былин и исторических песен. Былины сюжетно взаимосвязаны. Они рисуют нам целую эпическую эпоху в жизни русского народа. Эпоха эта и фантастична в некоторых своих частях, но вместе с тем исторична. Это эпоха — время княжения Владимира Красного Солнышка. Сюда переносится действие многих сюжетов, которые, очевидно, существовали и раньше, а в некоторых случаях возникли позже. Другое эпическое время — время независимости Новгорода. Исторические песни рисуют нам если не единую эпоху, то во всяком случае единое течение событий — XVI и XVII веков по преимуществу.

Древняя русская литература — это тоже цикл. Цикл, во много раз превосходящий фольклорные. Это эпос, рассказывающий историю вселенной и историю Руси.

Ни одно из произведений Древней Руси — переводное или оригинальное — не стоит обособленно. Все они дополняют друг друга в создаваемой ими картине мира. Каждый рассказ — законченное целое, и вместе с тем он связан с другими. Это только одна из глав истории мира. Даже такие произведения, как

переводная повесть «Стефанит и Ихнилат» (древнерусская версия сюжета «Калила и Димна») или написанная на основе устных рассказов анекдотического характера «Повесть о Дракуле», входят в состав сборников и не встречаются в отдельных списках. В отдельных рукописях они начинают появляться только в поздней традиции — в XVII и XVIII веках.

Сказанное трудно представить себе по хрестоматиям, антологиям и отдельным изданиям древнерусских текстов, вырванным из своего окружения в рукописях. Но если вспомнить обширные рукописи, в состав которых все эти произведения входят, — все эти многотомные Великие Четьи-Минеи, летописные своды, прологи, златоусты, измарагды, хронографы, отдельные четьи сборники, — то мы отчетливо представим себе то чувство величия мира, которое стремились выразить древнерусские книжники во всей своей литературе, единство которой они живо ощущали.

Есть только один жанр литературы, который, казалось бы, выходит за пределы этой средневековой историчности, — это притчи. Они явно вымышлены. В аллегорической форме они преподносят нравоучение читателям, представляют собой как бы образное обобщение действительности. Они говорят не о единичном, а об общем, постоянно случающемся. Жанр притчи традиционный. Для Древней Руси он имеет еще библейское происхождение. Притчами усеяна Библия. Притчами говорит Христос в Евангелии. Соответственно притчи входили в состав сочинений для проповедников и в произведения самих проповедников. Но притчи повествуют о «вечном». Вечное же — обратная сторона единого исторического сюжета древнерусской литературы. Все совершающееся в мире имеет в ней две стороны: сторону обращенную к временному, запечатленную единичностью совершающегося, совершившегося или того, чему надлежит совершиться, и сторону вечную: вечного смысла происходящего в мире. Битва с половцами, смена князя, завоевание Константинополя турками или присоединение княжества к Москве — все имеет две стороны. Одна сторона — это то, что произошло, и в этом происшедшем есть реальная причинность: ошибки, совершенные князьями, недостаток единства или недостаток заботы о безопасности родины — если это поражение; личное мужество и сообразительность полководцев, храбрость воинов, стремление «положить труд великий за Русскую землю» — если это победа; засуха — если это неурожай; неосторожность «бабы некоей» — если это пожар города. Другая сторона — это извечная борьба зла с добром, это стремление бога исправить людей, наказывая их за грехи или заступаясь за них по молитвам отдельных правед-

ников (вот почему со средневековой точки зрения так велико историческое значение их уединенных молитв). В этом случае с реальной причинностью сочетается, по древнерусским представлениям, причинность сверхреальная.

Временное, с точки зрения древнерусских книжников, лишь проявление вечного, но практически в литературных произведениях они показывают скорее другое: важность временного. Временное, хочет того книжник или не хочет, все же играет в литературе большую роль, чем вечное. Баба сожгла город Холм — это временное. Наказание жителей этого города за грехи — это смысл совершившегося. Но о том, как сожгла баба и как произошел пожар, — об этом можно конкретно и красочно рассказать, о наказании же божьем за грехи жителей Холма — можно только упомянуть в заключительной моральной концовке рассказа. Временное раскрывается через события. И эти события всегда красочны. Вечное же событий не имеет. Оно может быть только проиллюстрировано событиями или пояснено иносказанием — притчей. И притча стремится сама стать историей, рассказанной реальностью. Ее персонажам со временем часто даются исторические имена. Она включается в историю. Движение временного втягивает в себя неподвижность вечного.

Заключительное нравоучение — это обычно привязка произведения к владеющей литературой главной теме — теме всемирной истории. Рассказав о дружбе старца Герасима со львом и о том, как умер лев от горя на могиле старца, автор повести заканчивает ее следующим обобщением: «Все это было не потому, что лев имел душу, понимающую слово, но потому, что бог хотел прославить славящих его не только в жизни, но и по смерти и показать нам, как повиновались звери Адаму до его ослушания, блаженствуя в раю».

Притча — это как бы образная формулировка законов истории, законов, которыми управляется мир, попытка отразить божественный замысел. Вот почему и притчи выдумываются очень редко. Они принадлежат истории, а поэтому должны рассказывать правду, не должны сочиняться. Поэтому они традиционны и обычно переходят в русскую литературу из других литератур в составе переводных произведений. Притчи лишь варьируются. Здесь множество «бродячих» сюжетов.

Применительно к новой литературе мы часто говорим о внутренних закономерностях развития литературных обра-

зов, о поступках героев, обусловленных их характерами, и присущих этим характерам способах реагировать на воздействия внешнего мира. С этой точки зрения поступки действующих лиц могут быть даже «неожиданными» для авторов, как бы продиктованными авторам самими этими действующими лицами.

Аналогичная обусловленность есть и в древней русской литературе: аналогичная, но не совсем такая. Герой ведет себя так, как ему положено себя вести, но положено не по законам поведения его характера, а по законам поведения того разряда героев, к которому он принадлежит. Не индивидуальность героя, а только разряд, к которому принадлежит герой в феодальном обществе! И в этом случае нет неожиданностей для автора. Должное неизменно сливается в литературе с сущим. Идеальный полководец должен быть благочестив и должен молиться перед выступлением в поход. И вот в «Житии Александра Невского» описывается, как последний входит в храм Софии и молится там со слезами богу о даровании победы. Идеальный полководец должен побеждать многочисленного врага немногими силами, и ему помогает бог. И вот Александр выступает «в мале дружине, не сождавсья со мноюю силою своею, упоая на святую Троицу», а врагов его избивает ангел. А затем все эти особенности поведения святого Александра Невского механически переносятся уже в другом произведении на другого святого — князя Довмонта — Тимофея Псковского. И в этом нет плагиата, неосмысленности, обмана читателя. Ведь Довмонт — идеальный воин-полководец. Он и должен вести себя так, как вел себя в аналогичных обстоятельствах другой идеальный воин-полководец, его предшественник — Александр Невский. Если о поведении Довмонта мало что известно из летописей, то писатель не задумываясь дополняет известное из летописи по «Житию Александра Невского», так как уверен в том, что идеальный князь мог себя вести только таким должным образом, а не иначе.

Вот почему в древнерусской литературе, как и в фольклоре, повторяются типы поведения, повторяются отдельные эпизоды, повторяются формулы, которыми определяется то или иное состояние, событие, описывается битва или характеризуется поведение. Это не бедность воображения — это литературный и фольклорный этикет. Герою полагается вести себя именно так, и автору полагается описывать героя только соответствующими выражениями. Автор — церемониймейстер, он сочиняет «действие». Его герои — участники этого «действия». Эпоха феодализма

полна церемониальности. Церемониален князь, епископ, боярин, церемониален и быт их дворов. Даже быт крестьянина полон церемониальности. Впрочем, эту крестьянскую церемониальность мы знаем под названием обрядности и обычаев. Им посвящена изрядная доля фольклора — народная обрядовая поэзия.

Подобно тому как в иконописи фигуры святых как бы висят в воздухе, невесомы, а архитектура, природа служат им не окружением, а своеобразным «задником», фоном, — так и в литературе многие из ее героев не зависят от действительности. Характеры их не воспитаны обстоятельствами земной жизни — святые пришли в мир со своей сущностью, со своей миссией, действуют согласно выработанному в литературе этикету.

Устойчивые этикетные особенности слагаются в литературе в иероглифические знаки, в эмблемы. Эмблемы заменяют собой длительные описания и позволяют писателю быть исключительно кратким. Литература изображает мир с предельным лаконизмом. Создаваемые литературой эмблемы общи в известной, «зрительной» своей части с эмблемами изобразительного искусства.

Вместе с тем эмблема близка к орнаменту. Литература часто становится орнаментальной. «Плетение словес», широко развившееся в русской литературе с конца XIV века, но в элементах присутствовавшее в ней и в предшествующие века, — это словесный орнамент. Можно графически изобразить повторяющиеся элементы «плетения словес», ритм этого плетения, и мы получим орнамент, близкий к орнаменту рукописных заставок — к так называемой «плетенке».

При этом орнаментальность не противоречит своеобразному лаконизму древнерусской литературы. Орнамент создается не путем добавлений, не путем наружного украшения какого-то основного материала, а путем упрощающей и схематизирующей переработки основных тем, мотивов, мыслей, словесного построения, путем отсечения лишнего, не укладывающегося в этот орнамент. Орнамент не присоединяется, не «навешивается» на основное изложение, а создается самим изложением. Он не столько украшает, сколько организует литературный материал.

Вот пример сравнительно простого «плетения» из входившей в состав летописей «Повести о приходе на Москву хана Темир-Аксака». Автор нанизывает длинные ряды параллельных грамматических конструкций, синонимов — не в узкоязыковом, но шире — в логическом и смысловом плане. В Москву приходят вести о Темир-Аксаке, «ка-

ко готовится воевати Русскую землю и како похваляется ити к Москве, хотя взяти ея, и люди рускыя попленити, и места свята раззорити, а веру христьянскую искоренити, а христьян гонити, томити и мучити, пещи и жещи и мечи сещи. Бяше же сий Темиръ Аксак велми нежалостив и зело немилостив и лют мучитель и зол гонитель и жесток томитель» и т. д.

Еще более сложным был композиционный и ритмический рисунок в агиографической (житийной) литературе. Достаточно привести небольшой отрывок из «Слова о житии и преставлении великого князя Дмитрия Ивановича» (Дмитрия Донского), разделив его для наглядности на параллельные строки:

млад сы возрастом,
но духовных прилежаше делесах,
пустошных бесед не творяше,
и срамных глагол не любяше,
а злонравных человек отвращашеся,
а с благыми всегда беседоваше...

и т. д.

Кружево слов плетется, развивая тему, а не останавливая ее. Орнамент не обрывает темы, не мешает ее развитию, но превращает само рассказываемое в украшение. Церемония, этикет требует некоторой торжественности и украшенности, но эта украшенность до XVI века, во всяком случае, не внешняя по отношению к сюжету, темам, мотивам, а составляет форму их организации. Пустословие начинает развиваться по преимуществу только с XVI века, когда стандартность содержания и идеологии потребовала своей маскировки.

Итак, литература образует некоторое структурное единство — такое же, какое образует обрядовый фольклор или исторический эпос. Литература соткана в единую ткань благодаря единству тематики, единству художественного времени с временем истории, благодаря прикрепленности сюжета произведений к реальному географическому пространству, благодаря вхождению одного произведения в другое со всеми вытекающими отсюда генетическими связями и, наконец, благодаря единству литературного этикета.

В этом единстве литературы, в этой стертости границ ее произведений единством целого, в этой невыявленности авторского начала, в этой значительности тематики, которая вся была посвящена в той или иной мере «мировым вопросам» и малоразвлекательна, в этой церемониальной украшенности сюжетов есть своеобразное величие. Чувство величия, значительности происходящего

было основным стилеобразующим элементом древнерусской литературы.

Древняя Русь оставила нам много кратких похвал книгам. Всюду подчеркивается, что книги приносят пользу душе, учат человека воздержанию, побуждают его восхищаться миром и мудростью его устройства. Книги открывают «розмысл сердечный», в них красота, и они нужны праведнику как оружие воину, как паруса кораблю.

Литература — священнодействие. Читатель был в каком-то отношении молящимся. Он предстоял произведению, как и иконе, испытывал чувство благоговения. Оттенок этого благоговения сохранялся даже тогда, когда произведение было светским. Но возникало и противоположное: глумление, ирония, скоморошество. Яркий представитель этого противоположного начала в литературе — Даниил Заточник, перенесший в свое «Моление» приемы скоморошья балагурства. Пышный двор нуждается в шуте; придворному церемониймейстеру противостоит балагур и скоморох. Даниил Заточник высмеивает в своем «Молении» пути к достижению жизненного благополучия с оттенком цинизма, потешает князя и подчеркивает своими неуместными шутками церемониальные запреты¹.

Балагурство и шутовство противостоят в литературе торжественности и церемониальности не случайно. В средневековой литературе вообще существуют и контрастно противостоят друг другу два начала. Первое описано выше — это начало вечности; писатель и читатель осознают в нем свою значительность, свою связь со вселенной, с мировой историей. Второе начало — начало обыденности, простых тем и небольших масштабов, интереса к человеку как таковому. В первых своих темах литература преисполнена чувства возвышенного, торжественна и резко отделяется по языку и стилю от бытовой речи. Во вторых темах она до предела деловита, проста, неприятельна, снижена по языку и по своему отношению к происходящему.

Трон и у подножия его шут!

Что же это за второе начало — начало обыденности? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к вопросу о том, как развивалась литература. Нам необходимо перейти от рассмотрения элементов статики в литературе к рассмотрению ее динамики.

¹ О сущности этой «смеховой культуры» см. в книге М. Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса» (М., 1965).

Итак, мы обрисовали древнерусскую литературу как бы в ее «вневременном» и «идеальном» состоянии. Однако древняя русская литература вовсе не неподвижна. Она знает развитие. Но движение и развитие древнерусской литературы совсем не похоже на движение и развитие литературы нового времени. Они также своеобразны.

Начать с того, что национальные границы древнерусской литературы определяются далеко не точно, и это в сильнейшей степени сказывалось на характере развития. Основная группа памятников древнерусской литературы, как мы видели, принадлежит также литературам болгарской и сербской. Эта часть литературы написана на церковнославянском, по происхождению своему древнеболгарском языке, одинаково понятном для южных и восточных славян. К ней принадлежат памятники церковные и церковно-канонические, богослужебные, сочинения отцов церкви, отдельные жития и целые сборники житий святых, как, например, Пролог, патерики. Кроме того, в эту общую для всех южных и восточных славян литературу входят сочинения по всемирной истории (хроники и компилятивные хронографы), сочинения природоведческие («Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского, «Физиолог», «Христианская топография» Космы Индикоплова) и даже сочинения, не одобрявшиеся церковью, — как, например, апокрифы. Развитие этой общей для всех южных и восточных славян литературы задерживалось тем, что она была разбросана по огромной территории, литературный обмен на которой хотя и был интенсивен, но не мог быть быстрым.

Большинство этих сочинений пришло на Русь из Болгарии в болгарских переводах, но состав этой литературы, общей для всех южных и восточных славян, вскоре стал пополняться оригинальными сочинениями и переводами, созданными во всех южных и восточных славянских странах: в той же Болгарии, на Руси, в Сербии и Моравии. В Древней Руси, в частности, были созданы «Пролог», переводы с греческого «Хроники» Георгия Амартола, некоторых житий, «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Девгениева деяния» и пр. Была переведена с древнееврейского книга «Эсфирь», были переводы с латинского. Эти переводы перешли из Руси к южным славянам. Быстро распространились у южных славян и такие оригинальные древнерусские произведения, как «Слово о Законе и Благодати» киевского митрополита

Илариона, жития Владимира, Бориса и Глеба, Ольги, вести о создании в Киеве храмов Софии и Георгия, сочинения Кирилла Туровского и др.

Ни мир литературы, ни политический кругозор не могли замкнуться пределами княжества. В этом было одно из трагических противоречий эпохи: экономическая общность охватывала узкие границы местности, связи были слабы, а идейно человек стремился охватить весь мир.

Рукописи дарились и переходили не только за пределы княжеств, но и за пределы страны — их перевозили из Болгарии на Русь, из Руси в Сербию и пр. Артели мастеров зодчих, фрескистов и мозаичистов переезжали из страны в страну. В Новгороде один из храмов расписывали сербы, другой — Феофан Грек, в Москве работали греки. Переходили из княжества в княжество и книжники. «Житие Александра Невского» составлялось на северо-востоке Руси галичанином. Житие украинца по происхождению московского митрополита Петра — болгарин по происхождению московским митрополитом Киприаном. Образовывалась единая культура, общая для нескольких стран. Средневековый книжный человек думал об общем, о всем мире, очень часто ощущал себя частью большого мира, не замыкался пределами своей местности, переходил из княжества в княжество, из монастыря в монастырь, из страны в страну. «Гражданин горнего Иерусалима» Пахомий Серб работал в Новгороде и в Москве.

Эта литература, объединявшая различные славянские страны, существовала в течение многих веков, иногда впитывала в себя особенности языка отдельных стран, иногда получала местные варианты сочинений, но одновременно и освобождалась от этих местных особенностей благодаря интенсивному общению славянских стран.

Литература, общая для южных и восточных славян, была литературой европейской по своему типу и в значительной мере — по происхождению. Многие памятники были известны и на Западе (сочинения церковные, произведения отцов церкви, «Физиолог», «Александрия», повести о Трое, отдельные апокрифы и пр.). Это была литература, близкая византийской культуре, которую только по недоразумению или по слепой традиции, идущей от П. Чаадаева, можно относить к Востоку, а не к Европе.

В развитии древней русской литературы имели очень большое значение нечеткость внешних и внутренних границ, отсутствие строго определяемых границ между про-

изведениями, между жанрами, между литературой и другими искусствами — та мягкость и зыбкость структуры, которая всегда является признаком молодости организма, его младенческого состояния и делает его восприимчивым, гибким, легким для последующего развития.

Процесс развития идет не путем прямого дробления этого зыбкого целого, а путем его роста и детализации. В результате роста и детализации естественным путем отщепляются, отпочковываются отдельные части, они приобретают большую «жесткость», становятся более ощутимыми и различия.

Литература все более и более отступает от своего первоначального единства и младенческой неформленности. Она дробится по формирующимся национальностям, дробится по темам, по жанрам, все теснее контактируется с местной действительностью. Действительность все время «питает» течение литературы, меняет ее характер, обогащает новым содержанием, требовавшим новых форм отражения.

Новые и новые события требовали своего освещения. Русские святые вызывают необходимость в новых житиях. Возникает необходимость в проповедях и публицистических сочинениях, посвященных насущным явлениям местной действительности. Развивающееся национальное самосознание потребовало исторического самоопределения русского народа. Надо было найти место русскому народу в той грандиозной картине всемирной истории, которую дали нам переводные хроники и рано возникшие на их основе компилятивные сочинения. И вот рождается новый жанр, которого не знала византийская литература, — летописание¹. «Повесть временных лет», одно из самых значительных произведений русской литературы, определяет место славян, и в частности русского народа, среди народов мира, рисует происхождение славянской письменности, образование Русского государства и т. д.

¹ Когда мы говорим о возникновении летописания, то должны иметь в виду возникновение летописания именно как жанра, а не как исторических записей самих по себе. Историки часто говорят о том, что летописание в Древней Руси возникло уже в X в., но имеют при этом в виду, что некоторые сведения по древнейшей русской истории могли быть или должны были быть уже записаны в X в. Между тем простая запись о событии, церковные поминания умерших князей или даже рассказ о первых русских святых не были еще летописанием. Жанр летописания возник не сразу. О начале летописания см.: Лихачев Д. С. Русские летописи. М.—Л., 1947, с. 35—144.

Богословско-политическая речь первого митрополита из русских Илариона — его знаменитое «Слово о Законе и Благодати» — говорит о церковной самостоятельности русских. Появляются первые жития русских святых. И эти жития, как и «Слово» Илариона, имеют уже жанровые отличия от традиционной формы житий. Князь Владимир Мономах обращается к своим сыновьям и ко всем русским князьям с «Поучением», вполне точные жанровые аналогии которому не найдены еще в мировой литературе. Он же пишет письмо своему врагу Олегу Свято-славичу, и это письмо также выпадает из жанровой системы, воспринятой Русью. Отклики на события и волнения русской жизни все растут, все увеличиваются в числе, и все они в той или иной степени выходят за устойчивые границы тех жанров, которые были перенесены к нам из Болгарии и Византии. Необычен жанр «Слова о полку Игореве» (в нем соединены жанровые признаки ораторского произведения и фольклорных слав и плачей), «Моления» Даниила Заточника (произведения, испытывавшего влияние скоморошьяго балагурства), «Слова о погибели Русской земли» (произведения, близкого к народным плачам, но имеющего необычное для фольклора политическое содержание). Число произведений, возникших под влиянием острых потребностей русской действительности и не укладывающихся в традиционные жанры, все растет и растет. Появляются исторические повести о тех или иных событиях. Жанр этих исторических повестей также не был воспринят из переводной литературы. Особенно много исторических повестей возникает в период татаро-монгольского ига. «Повесть о Калкской битве», «Повесть о разорении Рязани Батыем», Китежская легенда, рассказы о щелкановщине, о нашествии на Москву Тамерлана, Тохтамыша, различные повествования о Донской битве («Задонщина», летописная повесть о Куликовской битве, «Слово о житии Дмитрия Донского», «Сказание о Мамаевом побоище» и пр.) — все это новые в жанровом отношении произведения, имевшие огромное значение в росте русского национального самосознания, в политическом развитии русского народа.

В XV веке появляется еще один новый жанр — политическая легенда (в частности, сказание о Вавилонеграде). Жанр политической легенды особенно сильно развивается на рубеже XV и XVI веков («Сказание о князьях владимирских») и в начале XVI в. (теория Москвы — третьего Рима псковского старца Филофея). В XV веке на основе житийного жанра появляется и имеет важное историко-

литературное значение историко-бытовая повесть («Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе» и многие другие). «Повесть о Дракуле» (конец XV в.) — это также новое в жанровом отношении произведение.

Бурные события начала XVII века порождают огромную и чрезвычайно разнообразную литературу, вводят в нее новые и новые жанры. Здесь и произведения, предназначенные для распространения в качестве политической агитации («Новая повесть о преславном Российском царстве»), и произведения, описывающие события с узколичной точки зрения, в которых авторы не столько повествуют о событиях, сколько оправдываются в своей прошлой деятельности или выставляют свои бывшие (иногда мнимые) заслуги («Сказание Авраамия Палицына», «Повесть Ивана Хворостинина»).

Автобиографический момент по-разному закрепляется в XVII веке: здесь и житие матери, составленное сыном («Житие Юулиании Осоргиной»), и «Азбука», составленная от лица «голового и небогатого человека», и «Послание дворительное недругу», и собственно автобиографии — Аввакума и Епифания, написанные одновременно в одной земляной тюрьме в Пустозерске и представляющие собой своеобразный литературный диптих. Одновременно, в XVII веке, развивается целый обширный раздел литературы — литературы демократической, в которой значительное место принадлежит сатире в ее самых разнообразных жанрах (пародии, сатирико-бытовые повести и пр. и пр.). Появляются произведения, в которых имитируются произведения деловой письменности: дипломатической переписки (вымышленная переписка Ивана Грозного с турецким султаном), дипломатических отчетов (вымышленные статейные списки посольства Сугорского), пародии на богослужение (сатирическая «Служба кабаку»), на судные дела (сатирическая «Повесть о Ерше Ершовиче»), на челобитные, росписи приданого и т. д.

Сравнительно поздно появляется систематическое стихотворство — только в середине XVII века. До того стихи встречались лишь спорадически, так как потребности в любовной лирике удовлетворялись фольклором. Поздно появляется и регулярный театр (только при Алексее Михайловиче). Место его занимали скоморошья представления. Сюжетную литературу в значительной мере (но не целиком) заменяла сказка. Но в XVII веке в высших слоях общества рядом со сказкой появляются переводы рыцарских романов: повести о Бове, о Петре Златых

Ключей, о Мелюзине и пр. Особую роль в литературе XVII века начинает играть историческая легенда («Сказание о начале Москвы») и даже сочинения по тем или иным вопросам всемирной истории («О причинах гибели царств»).

Таким образом, историческая действительность, все новые и новые потребности общества вызывали необходимость в новых жанрах и новых видах литературы. Количество жанров возрастает необычайно, и многие из них находятся еще как бы в неустойчивом положении. XVIII веку предстояло сократить и стабилизировать это разнообразие.

Если самым кратким образом определить те ценности, которые были созданы древней русской литературой, то их можно видеть в нескольких областях.

В древней русской литературе сформировалось то удивительное чувство общественной ответственности писателя, которое стало характерной чертой и русской литературы нового времени. Уже в Древней Руси литература стала той кафедрой, с которой постоянно раздавалось затем учительное слово.

В древней русской литературе сформировалось представление о единстве мира, о единстве всего человечества и его истории, сочетавшееся с глубоким патриотизмом, — патриотизмом, лишенным чувства национальной исключительности, тупого и узкого шовинизма. Именно в древней русской литературе создался тот широкий и глубокий взгляд на весь «обитаемый мир» (ойкумену), который стал характерен для нее и в XIX в.

Через свою богатую переводную литературу древняя русская литература смогла усвоить лучшие достижения византийской и южнославянских литератур, стать литературой европейской.

В древней русской литературе развилось искусство повествования, искусство лаконичных характеристик, умение создавать краткие философические обобщения.

В Древней Руси на основе двух языков — старославянского и русского — создался удивительно разнообразный и богатый язык литературы.

Система жанров в древнерусской литературе оказалась исключительно разнообразной и гибкой.

Древняя русская литература представляла собой ту развитую, широко раскинувшуюся корневую систему, на основе которой быстро смогла вырасти в XVIII веке литература нового времени и к которой могли быть привиты достижения литератур западноевропейских.

ВЕЛИКОЕ НАЧАЛО ЛИТЕРАТУРЫ

(XI — НАЧАЛО XII ВЕКА)

Чтобы почувствовать духовные богатства древней русской литературы, необходимо взглянуть на нее глазами ее современников, ощутить себя участником той жизни и тех событий. Литература — часть действительности, она занимает в истории народа определенное место и выполняет огромные общественные обязанности.

Перенесемся мысленно в начальные века русской истории, в эпоху нераздельного существования восточно-славянских племен, в XI—XIII века.

Русская земля огромна, поселения в ней редки. Человек чувствует себя затерянным среди непроходимых лесов или, напротив, среди слишком легко проходимых для его врагов бескрайних просторов степей: «земли незнаемой», «дикого поля», как называли их наши предки. Чтобы проехать из конца в конец Русскую землю, надо много дней провести на коне или в ладе. Бездорожье весной и поздней осенью отнимает месяцы от этого трудного общения людей.

В беспредельных пространствах человек с особенной силой стремился к общению, стремился отметить свое существование. Высокие и светлые церкви на холмах или на крутых берегах рек издали обозначают места поселений. Эти церкви отличаются удивительно лаконичной архитектурой — они рассчитаны на то, чтобы быть видными со многих точек, служить маяками на дорогах. Они словно вылеплены заботливой рукой, хранят в неровностях своих стен тепло и ласку человеческих пальцев. В таких условиях гостеприимство становится одной из основных человеческих добродетелей. Сам киевский князь Владимир Мономах призывает в своем «Починении» «привечать» гостя. Частые переезды с места

на место принадлежат к немалым добродетелям, а в иных случаях переходят даже в страсть к бродяжничеству. В танцах и песнях отражается то же стремление к покорению пространства. О русских протяжных песнях хорошо сказано в «Слове о полку Игореве»: «...дѣвици поють на Дунаи,— вьютя голоси чрезъ море до Киева». На Руси родилось даже обозначение для особого вида храбрости, связанного с пространством, движением,— «удаль».

В огромных просторах люди с особенной остротой ощущали и ценили свое единство — и в первую очередь единство языка, на котором они говорили, на котором пели, на котором рассказывали предания глубокой старины, опять-таки свидетельствовавшие об их единстве. В тогдашних условиях даже само слово «язык» приобретает значение «народ», «нация». Роль литературы также становится особенно значительной. Она служит той же цели объединения, выражает народное самосознание единства. Она — хранительница истории, преданий, а эти последние были своего рода средствами освоения пространства, отмечали святость и значительность того или иного места: урочища, кургана, селения и проч. Предания сообщали и стране историческую глубину, были тем «четвертым измерением», в рамках которого воспринималась и становилась «обозримой» вся обширная Русская земля, с ее историей, в ее национальной определенности. Ту же роль играли летописи и жития святых, исторические повести и рассказы об основании монастырей.

Вся древняя русская литература, вплоть до XVII века, отличалась глубоким историзмом. Литература уходила корнями в ту землю, которую занимал и веками осваивал русский народ. Литература и Русская земля, литература и русская история были теснейшим образом связаны. Литература была одним из способов освоения окружающего человека мира. Недаром автор похвалы книгам и Ярославу Мудрому писал в летописи: «Се бо суть реки, напояющие вселенную...», а князя Владимира I сравнивал с земледельцем, вспахавшим землю, Ярослава же с сеятелем, «насеявшим» землю «книжными словами». Писание книг — это возделывание земли, и мы уже знаем какой — Русской, населенной русским «языком» — русским народом. И подобно труду земледельца, переписка книг была на Руси извечно «святым» делом. Тут и там бросались в землю ростки жизни, зерна, всходы которых предстояло пожинать будущим поколениям.

И вот потому что переписывание книг — святое дело, книги могли быть только на самые важные темы. Все они

в той или иной мере представляли «учение книжное». Литература не носила развлекательного характера, она была школой, а ее отдельные произведения в той или иной мере — поучениями.

Чему же учила древняя русская литература? Оставим в стороне те религиозные и церковные вопросы, которыми она была занята. Светская стихия древней русской литературы была глубоко патриотичной. Она учила деятельной любви к родине, воспитывала гражданственность, стремилась к исправлению недостатков общества.

Если в первые века русской литературы, в XI—XIII века, она призывала князей прекратить раздоры и твердо выполнять свой долг защиты родины, то в последующие — в XV, XVI и XVII века — она заботится уже не только о защите родины, но и о разумном ее преобразовании. Вместе с тем на протяжении всего своего развития литература была училищем истории. И она не только сообщала сведения по истории — она также стремилась определить место русской истории в мировой, открыть смысл существования человека и человечества, открыть назначение Русского государства.

Русская история и сама Русская земля объединяла все произведения русской литературы в единое целое. В сущности, все памятники русской литературы благодаря своим историческим темам были гораздо теснее связаны между собой, чем в новое время. Их можно было расположить в порядке хронологии, а все в целом они излагали одну историю — русскую и тоже — мировую. Теснее были связаны между собой произведения и в результате отсутствия в древней русской литературе сильного авторского начала. Литература была традиционна, новое создавалось как продолжение уже существовавшего и в тех же эстетических принципах. Произведения переписывались и переделывались. В них сильнее отражались читательские вкусы и читательские требования, чем в литературе нового времени. Книжки и их читатели были ближе друг к другу, чем в новое время, а в произведениях сильнее представлено коллективное начало. Древняя литература по характеру своего бытования и создания стояла ближе к фольклору, чем к личностному творчеству нового времени. Произведение, раз созданное автором, затем в бесчисленных переписываниях изменялось писцами, переделывалось, в различной среде приобретало различные идеологические окраски, дополнялось, обрастал новыми эпизодами и т. д.: поэтому почти каждое

произведение, дошедшее до нас в нескольких списках, известно нам в различных редакциях, видах и изводах.

Древнерусский автор то сам непосредственно, от своего лица, ратует за правду в своих «Поучениях» и «Словах», то создает образы борцов за справедливость, за независимость своей родины, за осуществление идеалов на земле — в летописях, исторических повестях, в житиях святых и бытовых повестях. Его идеалы не всегда одинаковы. Они то воспитаны религиозными представлениями времени, то, уклоняясь от этих представлений, рисуют нам князей и воинов, обороняющих Русскую землю от врагов, побеждающих врагов или терпящих от них поражение, но всегда преданных своему долгу в неравной борьбе с более сильным противником. Они рисуют нам «бояр думающих» и «мужей храбрствующих». Но когда бы писатель ни жил, кого бы ни описывал, за что бы ни ратовал — перед нами во всех произведениях выступает деятельный, бескомпромиссный и верный своим идеалам герой. Эта бескомпромиссность в борьбе за лучшее будущее стала одной из самых характерных черт русской литературы во все века ее существования.

В тесной связи с этими высокими идеалами, в строгом соответствии с предназначением древней русской литературы, с ее историзмом определился и тот художественный стиль, который был для нее так характерен. Стиль этот был достоин той исторической миссии, которую выполняла древнерусская литература: это стиль монументального историзма.

История человеческой культуры знает периоды, когда человек открывает в мире какие-то стороны, до того им не замечавшиеся. Обычно это периоды возникновения нового взгляда на мир, появления нового мировоззрения и нового великого стиля в искусстве и литературе. Каждый вновь появляющийся стиль — это своего рода новый взгляд на мир. Это не только эстетическое обобщение в произведении, но новое эстетическое восприятие действительности. Человек открывает в окружающей его вселенной какую-то не замечавшуюся им ранее стилистическую систему — научную, религиозную, художественную. В свете этой системы он воспринимает все окружающее, и обычно это открывает собой период радостного удивления перед миром. Восхищение перед миром становится как бы чертой мировоззрения и начального этапа новой «стилистической формации».

Так было и в раннем периоде древнерусской куль-

туры. Об оптимистическом характере первого (домонгольского) периода русского христианства писали многие. В качестве объяснения приводилось отсутствие в древнерусском христианстве аскетизма. Но дело не ограничивается оптимистичностью раннего древнерусского христианства: само отсутствие в нем аскетизма требовало бы объяснения, в свою очередь.

Ранний феодализм пришел на Руси на смену родовому обществу. Это был огромный скачок, ибо Русь миновала историческую стадию рабовладельческого строя. Христианство пришло на смену древнерусскому язычеству, типичному для родового общества. В этом язычестве гнезился страх перед могуществом природы, сознание бессилия человека перед стихийными силами. Христианство в своей богословской концепции мира ставило человека в центр природы, а природу воспринимало как служанку человека, открывало в природе «мудрость» мироустройства и божественную целесообразность. Это хотя и не освобождало человека полностью от страха перед силами природы, все же коренным образом меняло отношение человека к природе, заставляло его задумываться над смыслом устройства вселенной, смыслом человеческой истории, открывало в них предвечный замысел и нравов учение человеку. Первые русские произведения полны восхищения перед мудростью вселенной, но мудростью, не замкнутой в себе, а служащей человеку. Владимир Мономах пишет в «Почуении»: «Что естъ человекъ, яко помниши ѱ? Велий еси, господи, и чюдна дѣла твоя, никакъ же разумъ человекъскъ не можетъ исповѣдати чюдес твоихъ»;— и паки речемъ: велий еси, господи, и чюдна дѣла твоя, и благословено и хвално имя твое в вѣкы по всей земли. Иже кто не похвалить, не прославляетъ силы твоя и твоихъ великихъ чюдес и добротъ, устроеныхъ на семь свѣтъ: како небо устроено, како ли солнце, како ли луна, како ли звѣзды, и тма и свѣтъ, и земля на водахъ положена, господи, твоимъ промысломъ! Звѣрь розноличнии, и птица и рыбы украшено твоимъ промысломъ, господи! И сему чюду дивуемъся, како от персти создавъ человекъ, како образи розноличнии въ человекъскыхъ лицахъ,— аще и весь миръ совокупить, не вси въ одинъ образъ, но кый же своимъ лишь образомъ, по божии мудрости».

Церковная и нецерковная литература домонгольского периода полна и другими приглашениями «подивиться» или «почудиться» окружающему человека миру. На пути такого антропоцентрического восприятия мироздания менялись и от-

ношения между художником и его произведением, между зрителем и объектом искусства. И это новое отношение уводило человека от канонически признанного церковью. Человек осознавал свое назначение и свою значительность в окружающем его мире.

Бог прославляется человеческими делами. «И кто не удивится, възлюблении, яко богу прославится нашими делесы?» — говорит Феодосий Печерский в «Слове о терпении и любви». Но и бог в свою очередь прославляет человека церквами, иконами и церковною службою. Отсюда, с одной стороны, приглушенность личного начала в творчестве, ибо в человеческом творении прежде всего проявляется не личностное начало, а боговдохновенность и богосозданность, но отсюда же, с другой стороны, величие и монументальность произведений искусства и литературы, их прославляющий человека характер.

Феодосий Печерский утверждает: «...на честь бо намъ стлѣпи (столпы) суть и стены церковныя, а не на бесчестие». Для человека — клепание в била (звон в железные доски), призывающее его ко святой службе, для человека пение церковное, для него и образы, и кадило, к нему обращенное, и чтения Евангелия и житий святых.

Нечто подобное находим мы и в одном из первых произведений русской литературы — в «Слове о Законе и Благодати» киевского митрополита Илариона. В своем «Слове» Иларион обращается к умершему князю Владимиру Свято-славичу с риторическим призывом встать из гроба и взглянуть на честь, которая ему оказана: «Отряси сонъ, взведи очи, да видиши какая тя чѣсти господь тамо сподобил, и на земли не безпамятна оставилъ сыномъ твоимъ». Называя эту «честь», Иларион указывает на потомство Владимира — его сыновей, на цветущее благоверие, на град Киев «величествомъ сияющъ», на «церкви цветущи». Церковь Благовещения — это не только честь богу и Владимиру, но и честь всем горожанам Киева. Искусство, следовательно, служит человеку, «воздает ему честь», славит его и возвышает.

Обращенность искусства к его создателям и ко всем людям стала стилеформирующей доминантой всего монументального искусства и всей литературы домонгольского периода. Именно отсюда идет импозантность, торжественность, церемониальность всех форм искусства и литературы этого времени.

Литературный стиль всего домонгольского периода может быть определен как стиль монументального историзма. Люди этого времени стремились увидеть во всем значительное по содержанию, мощное по своим формам. Стиль монумент-

тального историзма характеризуется стремлением рассматривать изображаемое как бы с больших расстояний — расстояний пространственных, временных (исторических), иерархических. Это стиль, в пределах которого все наиболее красивое представляется большим, монументальным, величественным. Развивается своеобразное «панорамное зрение». Летописец видит Русскую землю как бы с большой высоты. Он стремится вести повествование о всей Русской земле, сразу и легко переходит от события в одном княжестве к событию в другом — на противоположном конце Русской земли. Летописец все время перебрасывает свой рассказ из Новгорода в Киев, из Смоленска во Владимир и т. п. Это происходит не только потому, что летописец соединял в своем повествовании источники различного географического происхождения, но и потому еще, что именно такой «широкий» рассказ отвечал эстетическим представлениям своего времени.

Стремление соединить в своем повествовании различные географические пункты характерно и для сочинений Владимира Мономаха — особенно для его биографии.

Действие «Сказания о Борисе и Глебе» также происходит как бы в пути, переходит из одного места Русской земли в другое. На севере — это Новгород, где новгородцы препятствуют Ярославу бежать за море к варягам. На юге — это печенежская степь, куда Владимир посылает Бориса с войском. На западе — это пустыня между Польшей и Чехией, куда бежит и где погибает злою смертью Святополк Окаянный. На востоке — это Волга, куда отправляется Глеб. Действие «Сказания» как бы охватывает всю Русскую землю.

Характерно, что писатели XI—XII веков воспринимают победу над врагом как обретение «пространства», а поражение — как потерю пространства, несчастье — как «тесноту». Жизненный путь, если он исполнен нужды и горя, — это прежде всего «тесный путь».

Многочисленные упоминания различных географических точек в произведениях этого времени далеко не случайны. Древнерусский писатель как бы стремится отметить побольше различных мест совершившимися в них историческими событиями. Земля для него свята, она освящена этими историческими событиями. Он отмечает и то место на Волге, где конь Бориса запнулся в поле и сломал себе ногу, и Смядынь, где Глеба застала весть о смерти отца, и Вышгород, где были затем похоронены братья, и т. д. Автор как бы торопится связать с памятью о Борисе и Глебе побольше различных мест, урочищ, рек и городов.

Это особенно знаменательно в связи с тем обстоятельством, что культ Бориса и Глеба непосредственно служил идее единства Русской земли, прямо подчеркивал единство княжеского рода, необходимость братолюбия, строгого подчинения младших князей старшим.

Эти священные места — как бы маяки, населяющие Русскую землю. Пространство как бы нуждается в том, чтобы оно было как можно больше населено историческими воспоминаниями и церковными реликвиями. И не случайно автор «Сказания о Борисе и Глебе» говорит, что оба брата были просты и смиренны, на «высокая мѣста и жилища (селения.— Д. Л.) въселистася». Священные места в Русской земле представляются автору как некие возвышенности, вышки, созданные людьми. Они расставлены по всей Русской земле. Борис и Глеб — защитники не одного какого-либо города в Русской земле, но всех: в отличие от Дмитрия Солунского, говорит автор «Сказания», обращаясь к Борису и Глебу, — «вы не о единомъ бо градѣ, ни о дѣву, ни о вѣси (одном селе.— Д. Л.) попечение и молитву въздаета, нѣ (но) о всеи земли Русьскѣи». Говоря о чудесах, происходящих от места их погребения, автор подчеркивает, что чудеса эти совершались над всеми, приходящими из самых дальних стран: «Не нашему единому языку тѣкъмо подано бысть бѣгъмъ, нѣ и вѣсеи земли спасение...» Человек стремится подчинить себе, освоить как можно более обширные пространства.

Мы привыкли соединять в своих представлениях монументализм с неподвижностью и косностью, но монументализм XI—XIII веков был монументализмом движения, монументализмом динамическим.

Владимир Мономах постоянно подчеркивает многочисленность и быстроту своих походов. Летописец в «Повести временных лет» также больше всего говорит о походах, о движениях масс войск. Быстрота передвижения — это как бы символ власти над пространством. Монументальность XI—XIII веков — это прежде всего сила, а сила — это масса в движении.

Для динамического стиля характерно динамическое же описание явлений природы, из ряда вон выходящих явлений: грозы (грозы зимой, грозы во время битвы), нашествий саранчи, засухи, наводнения, обратного течения воды в Волхове, землетрясения.

Но движение в пространстве — это и движение во времени. Отсюда особый историзм эстетических представлений Древней Руси. События современности оцениваются и приобретают особую значительность на фоне событий прошлого. Отсюда огромный интерес авторов к этому прошлому,

интерес к истории. История — доминирующая тема в литературе домонгольского периода и в древнерусской литературе вообще. Настоящее воспринимается как продолжение прошлого. Прошлое живо в настоящем, как бы объясняет это настоящее.

Слагая свою хвалу Ярославу Мудрому в «Слове о Законе и Благодати», митрополит Иларион славит одновременно его отца и дедов. Ярослав — наследник славы своих предков. Сама слава воспринимается как нечто движущееся в огромных географических пределах, достигающее дальних стран. Она также монументальна, динамична и органически слита со славой «дедней и отней» (отцовской).

Сами представления о времени были в Киевской Руси иными, чем у нас. Мы воспринимаем прошлое как нечто находящееся позади нас, а будущее — как находящееся перед нами. Древнерусские представления о времени исключали нас самих из восприятий времени. Прошлое находится впереди какого-то причинно-следственного ряда, настоящее и будущее — в конце его, позади. «Передние князи» — это давние, первые князья. «Задние» события — последние. Поэтому «переднее» — прошлое было и самым важным, как начало событийного ряда, как его объяснение, первопричина. От этого и «внуки» казались только наследниками славы и политики своих дедов и прадедов. Они могли наследовать «путь» дедов или растерять их наследство и, как следствие, лишиться славы дедов.

Еще одна важная особенность отличала стиль монументального историзма — церемониальность. Литература домонгольской Руси не столько изображала события, сколько вводила их в церемониальные формы. Житие святого — это торжественный парад его жизни, воздание ему почестей писателем. Как и всякие церемонии, литературное «ображение мира» происходит в традиционных и исторических формах. Торжественные, церемониальные одежды — всегда традиционны, всегда восходят к прошлому.

Традиционные приемы, которыми сообщается о тех или иных событиях, — это не только дань уважения к прошлому, но это и своеобразный этикет, а писатель в известном роде церемониймейстер, занятый заботой о том, чтобы обо всем было сказано в приличествующих случаю выражениях, чтобы дух событий был понят в своей традиционности. Понять что-либо — означало для писателя увидеть в предмете своего повествования какие-то значительные аналогии в прошлом.

Но писатель заботился и о том, чтобы его герои вели себя подобающим образом, чтобы ими были произнесены все

необходимые слова. «Сказание о Борисе и Глебе» от начала и до конца обставлено речами действующих лиц, как бы церемониально комментирующих происходящее. Борис и Глеб перед своим убийством произносят длиннейшие речи и молитвы, демонстрирующие их беззлобие, покорность богу и подчинение своему старшему брату Святополку.

И еще одна черта эстетической формации монументального историзма — это его ансамблевый характер.

Средневековое искусство — системное искусство, системное и единое. Оно объединяло видимый мир и невидимый, сотворенное человеком со всем космосом. Оно стремится заполнить своими произведениями пространство, утвердить присутствие человека в мире, объединить этот мир. Искусство — это мирное покорение и церемониальное обряжение окружающего мира. Это столь же характерно для изобразительного искусства и зодчества, как и для литературы.

Произведения литературы ее первого периода — это не замкнутые в себе и не обособленные мирки. Каждое из них как бы тяготеет к соседним, уже существовавшим до него — и это несмотря на все различие существующих жанров. Каждое новое произведение есть прежде всего дополнение к уже имеющимся, но дополнение не по форме, а по теме, по сюжету. Оно призвано заполнить как бы некоторые остающиеся еще, не отмеченные этими своеобразными «маяками» точки в пространстве человеческой истории.

Все это было возможным потому, что вымысел был крайне ограничен в древнерусской литературе и литература примыкала к действительности и оформляла ее. Единство тем в литературе определялось единством самой действительности, из которой эти темы черпались.

Литература претендовала говорить только о том, что существует или существовало. Вымышленные герои отсутствовали в древней литературе. Если в литературе и рассказывалось о чудесах и явно не могущих произойти событиях, то авторы выдавали их за действительность, а читатели обязаны были им верить.

Вымышленная тема в принципе замкнута в себе, но когда литература претендует говорить только о действительном, называть только исторически существовавшие факты и рассказывать только о действительно живших героях, то в такой литературе нет замкнутости сюжетов. Эта литература едина единством человеческой истории. Тем самым создается реальная почва для ансамблевого строения литературных произведений этого времени. В летописи могут быть соединены произведения самых различных жанров — лишь бы все эти разножанровые произведения были связаны единством ее

исторической темы, располагались друг за другом в исторической последовательности. Рассказ, основанный на дружинном предании о походе на греков, дополняется документом — текстом договора с греками. Рассказ о борьбе Ярослава Мудрого за престол дополняется материалами жития его братьев и т. п. Так строится не только летопись. Три произведения Владимира Мономаха — это тоже «ансамбль». Они объединены единством морально-политической программы. «Сказание о Борисе и Глебе» — это житие, дополняемое их «чудесами», церковными службами им и проч. Это все своеобразные литературные «ансамбли», но и вся литература в целом — это тоже «ансамбль».

И летопись, и житие Бориса и Глеба, и сочинения Мономаха, и Киево-Печерский патерик, и проповеди Феодосия Печерского, а также его житие — все они в той или иной мере имеют единую тему — события русской истории. Все они объединены единством монументально-исторического стиля и служат единой патриотической идее. Тяготение к ансамблевому строению сказалось и в первых книгах из дошедших до нас — Изборнике Святослава 1073 года и Изборнике 1076 года. Это сборники различных произведений — своеобразные библиотеки в одном большом томе.

Ощущение всех литературных произведений как некоего огромного литературного ансамбля — ансамбля, распространяющегося на весь мир и на всю его историю, в котором отдельные произведения согласуются друг с другом не по жанру, а по своим темам, составляет замечательную черту монументальной литературы Древней Руси. Литература вся составлена как бы из огромных, грубо отесанных каменных глыб. Эстетика дистанций, о которой мы писали выше, заставляет и нас взглянуть на весь грандиозный ансамбль древнерусской литературы с некоей дистанции, чтобы увидеть в нем некое большое художественное единство, как бы одно произведение многих и многих авторов-тружеников.

Монументальный ансамбль древней литературы создан «в честь человеку», чтобы прославить мир, красоту и гармонию мироздания. Литература имела своею целью окружить человека церемониальными формами, этикетно обрядить и украсить мир и историю. Она полна поэтому пышности и парадности; она празднична и оптимистична, несмотря даже на все преступления и несчастья, которые совершаются в мире и которые описывает литература. Убиты Борис и Глеб, но их убийство оборачивается торжеством идеала. День смерти Бориса и Глеба стал «Великим праздником» всей Русской земли. Смерть Бориса и Глеба явилась торжеством идей братолюбия. Чтобы воспринять именно

так злосчастные события 1015 года, надо было обладать особым, величавым отношением к миру и глубочайшим оптимизмом. Через столетие или больше такое же торжество духа древнерусские люди увидят в поражении войск Игоря Святославича Новгород-Северского, в трагической, но славной битве на Калке, в стойкости погибающих под натиском полчищ Батыя рязанцев. Они создадут легенду о невидимом граде Китеже, о Руси, не погибшей и не покоренной жестоким врагом. Ни смерть, если она была достойной, ни поражение, если в нем не было измены мужеству, ни любое несчастье, если оно было перенесено без ропота,— не были унижительны и не воспринимались как падение.

Торжественность литературы Древней Руси была далеко не только внешней. Это было глубокое ощущение всем народом своей значительности.

Литература первого столетия ее существования была оптимистически обращена к будущему. Этот глубокий оптимизм ее символичен. Это великое начало великой литературы.

Стиль монументального историзма продолжает доминировать и в послемонгольский период. Он не исчезает сразу, заменяясь каким-либо другим стилем. На него постоянно наслаиваются черты нового. Постепенно увеличивается его динамизм. Во второй половине XIV и в XV веках этот динамизм сказывается не только в крупном, в явлениях большого масштаба, но и в мелком. В живописи это выражается в том, что человеческие фигуры и лица как бы схвачены в какой-то определенный момент, в данное мгновение. Люди изображаются в неожиданных ракурсах. Уже нет в этих изображениях той длительности «пребывания», какого-то отзвука неподвижной вечности. На монументальность наслаивается экспрессивность, эмоциональность, психологичность. То же мы видим и в литературе: монументальность осложняется, приобретает эмоциональные формы; выдвигается личностное начало, психологизм, динамизм осложняет стиль, появляется стиль «плетения словес», в котором начинает доминировать контекст над значением отдельных слов. В XVI веке, в пору возрастания централизованного начала в государственной жизни, возрождается монументализм в формах, которые лишены старой непосредственности, и этот монументализм сохраняется в XVII веке в отдельных жанрах.

Но как бы ни изменялся и ни усложнялся стиль монументального историзма в древней русской литературе, он оставался в ней в тех или иных явлениях литературы вплоть до перехода к новому времени. Отсюда ясно, что первому веку в истории русской литературы принадлежит исключительная и определяющая роль. Именно в этот век

возникли все ее наиболее характерные особенности — стилистические и, как мы видели выше, идейные.

Как же возникла древняя русская литература? Откуда черпала она свои творческие силы?

Появление русской литературы в конце X — начале XI века «дивлению подобно». Перед нами как бы сразу произведения литературы зрелой и совершенной, сложной и глубокой по содержанию, свидетельствующей о развитом национальном и историческом самосознании.

Как произошло чудо рождения столь зрелой литературы Руси, которая еще совсем недавно вообще не обладала письменностью? Русь обязана этим необыкновенно удачному стечению обстоятельств.

Русь приняла христианство из Византии, а восточно-христианская церковь разрешала христианскую проповедь и богослужение на своем национальном языке. Поэтому в истории литературы Руси не было ни латинского, ни греческого периодов. С самого начала в отличие от многих западных стран Русь обладала литературой на своем литературном языке, понятном народу.

Второе очень значительное обстоятельство состояло в том, что за век до крещения Руси христианство уже было распространено в родственной по языку Болгарии. Болгария пережила уже золотой век своей литературы — век царя Симеона. Богатая болгарская переводная и оригинальная литература перешла на Русь и здесь стала органической частью литературы русской. На Руси не только переписывались древнеболгарские произведения, но и просто распространялись болгарские рукописные книги. Древнеболгарский язык лишь немногим отличался от древнерусского. Он составил в русской литературе как бы ее второй, возвышенный слой. Он дал ей многие слова с отвлеченным значением. Соединение языка древнеболгарского с обиходным древнерусским дало русскому литературному языку богатую синонимику и богатые оттенки значений.

Не довольствуясь обильной литературой, перешедшей из Болгарии, отчасти из Моравии, на Руси при Ярославе Мудром создают собственную переводческую школу. Летопись свидетельствует о Ярославе Мудром следующее: «И собра писцы мнози и перекладаше от грек на словѣньское писмо».

На Руси уже в XI веке были переведены с греческого такие произведения, как византийская «Хроника» Георгия Амартола, «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия; были сделаны переводы с латинского, древнееврейского, сирийского.

И все-таки объяснение быстрому появлению на Руси зре-

лой литературы лежит не только в области связей с сильными и старыми литературами, не только в переносах из Болгарии целых произведений и рукописных книг. Основное заключалось в том, что сама русская почва была хорошо подготовлена для создания искусства слова. «Дарам волхвов» из далеких стран предшествовали «дары своих пастухов» — представителей неученой мудрости народа.

Ко времени появления на Руси литературных произведений Византии и Болгарии на огромной русской территории было уже развито искусство устной речи.

В Начальной русской летописи отразились устные предания, топонимические легенды, исторические песни, славы, певшиеся князьям, пословицы и поговорки. Кроме последних (пословиц и поговорок), фольклорные произведения вошли в летопись лишь своими сюжетами, но и это свидетельствовало о богатстве устного творчества народа. В летописи отразилась точность отдельных формулировок и высота исторического самосознания. Вспомните хотя бы рассказ о смерти Олега от своего коня, рассказ о мести Ольги древлянам, о походах Святослава и многое другое.

Но дело не только в фольклоре. В летописи отразились различные формы устной речи. Краткие речи, с которыми князья обращались к своим дружинам перед битвой, свидетельствуют не только о высоко развитом чувстве воинской чести и о воинском долге, но и об умении в немногих словах выразить емкое содержание ободрения и воодушевления воинам. «Уже нам сде пасти; потягнемъ мужьски, братья и дружино!» Или: «Уже намъ нѣкамо ся дѣти, волею и неволею стати противу; да не посраимъ землѣ Рускиѣ, но ляжемъ костьми, мертвыи бо срама не имамъ. Аще ли побѣгнемъ, срамъ имамъ. Не имамъ убѣжати, но станемъ крѣпко, азъ же предъ вами поиду: аще моя глава ляжетъ, то промыслите собою». Это знаменитые речи Святослава.

Не менее выразительны речи, которые произносились князьями на вече, или речи представителей народа, обращенные к князьям. Вот что говорили киевляне Владимиру Мономаху в 1097 году: «Молимся, княже, тобѣ и братома твоима, не мозѣте погубити Русьскыѣ земли. Аще бо възмете рать межю собою, погании имуть радоватися, и возмуть землю нашу, иже бѣша стяжали отци ваши и дѣди ваши трудом великим и храбрѣствомъ, побарающе по Русьскѣи земли, ины земли приискываху, а вы хотите погубити землю Русьскую».

Отправляя послов, князья поручали им произнести те или иные слова. Естественно, что эти речи должны были быть краткими, запоминающимися и содержательными.

Наконец, формы судопроизводства, законодательных уста-

новлений «Русской правды» также должны были быть краткими, ясными, однозначными и выразительными.

Одним словом, разнообразные и богатые формы общественной жизни и публичных выступлений заставляли ценить точность слова, учили обращаться с ним бережно и экономно, учили высоким нормам развитого общественного сознания во всех сторонах публичной жизни.

Не всякому народу досталась на долю и такая способность подняться над узостью национализма в своем высоком патриотическом сознании. Причинами тому были особые формы существования Русского государства. В союзе Руси на равных основаниях участвовали и восточнославянские племена, и финно-угорские народы: меря, весь и чудь. В Киеве был Чудин двор, в Новгороде целый район — Чудин конец. В составе русского войска, ходившего походом на Константинополь, плечом к плечу со славянами сражались варяги и чудь.

Благодаря своей национальной уживчивости древние русичи обитали целыми поселениями в Константинополе, в греческом Херсонесе в Крыму, на Афоне, на полуострове Тихань на озере Балатон, в Паннонии и во многих других местах. Кочевые народы тюркского происхождения свободно расселялись на территории Древней Руси и принимали здесь христианство.

Русь не была отгорожена Китайской стеной ни от южных, ни от западных, ни от восточных или северных соседей. Это была мировая и мирная держава, не опасавшаяся своего поглощения соседними культурами.

Формированию идейного содержания русской литературы способствовали и те произведения болгарской литературы, которые были перенесены на Русь в X—XI веках. Основатели болгарской письменности и болгарской литературы ученые братья Кирилл и Мефодий, а также их ученики ощущали себя не только болгарами, но и представителями всего славянства. Их проповедь была обращена ко всем славянским народам. Именно это широкое сознание себя «народом среди народов» было свойственно и всем лучшим произведениям древнерусской литературы: «Повести временных лет», житиям первых русских святых, Киево-Печерскому патерику, «Хождению черниговского игумена Даниила в Святую Землю» и многим другим. Это замечательное сознание единства русского народа со всем человечеством, приобретая разные формы, станет существенной особенностью русской литературы на всем протяжении ее существования.

Остановимся на некоторых произведениях древней русской литературы первого века ее существования.

«Слово о Законе и Благодати» первого киевского митрополита из русских («русина») Илариона, поставленного по воле киевского князя Ярослава Мудрого, посвящено сложнейшей историософской проблеме. Оно говорит о месте Руси во всемирной истории, об исторической роли русского народа. Оно полно гордости успехами христианской культуры на Руси, и как удивительно, что при всем том оно лишено национальной ограниченности. Иларион не ставит русский народ выше других народов, но говорит о равноправности всех народов мира, приобщившихся к христианству.

Это совершеннейшее произведение и по глубине своего содержания, и по той блестящей форме, в которую оно облечено: последовательность, логичность, легкость переходов от темы к теме, ритмичность организации речи, разнообразие образов, художественный лаконизм делают «Слово» Илариона одним из лучших произведений мирового ораторского искусства. И произведение это — не перепев византийских образцов, ибо это не просто богословская проповедь того типа, который был распространен в Византии, а богословско-политическое выступление, которых не знало византийское ораторство, и при этом на национально-русскую тему.

Совсем другого характера «Повесть временных лет». Это произведение многих авторов-летописцев. Последний из них, Нестор, придал Начальной летописи художественную и идейную законченность и дал ей название, которое в полном виде звучит так: «Се повѣсти времяныхъ (прошлых) лѣтъ, откуда есть пошла Руская земля, кто в Киевѣ нача первѣе княжити, и откуда Руская земля стала есть».

В произведении этом выдержано художественное единство, но единство особого, средневекового типа. Сейчас мы требуем от художественного произведения полного единообразия стиля, жесткого единства идей, полного отсутствия швов и различий в отдельных частях. Если различия есть — они входят в некое объединяющее их строгое единство. Художественное единство в Древней Руси понималось гораздо шире. Это могло быть единство ансамбля, создававшегося в течение ряда десятилетий и сохранявшего авторские особенности в каждом из своих разновременных слоев. Переходя от темы к теме, произведение соблюдало и те особенности стиля, которые по литературному этикету средневековья приличествовали каждой из тем. В рассказах о самых древних событиях русской ис-

тории летописец отражал свойственные дошедшим до него легендам простодушие, краткость и то, что мы сейчас называли бы фабульностью. В рассказе о крещении Руси и о первых христианах-мучениках летописец применяет всю церковную церемониальность изложения. С другой стороны, совершенно особый характер носит летописный рассказ об ослеплении князя Василька Теребовльского. Здесь летописцу нужно было поразить читателя ужасом совершенного преступления, и этот рассказ полон своеобразного средневекового натурализма, в котором детально описываются самые ужасные подробности.

Историческое сознание, выраженное в «Повести временных лет», очень высокого уровня. Первые летописцы не просто записывали события, свидетелями которых они были,—они восстанавливали древнейшие события русской истории по самым разнообразным, письменным и устным, источникам. Они были своеобразными исследователями, взвешивали различные версии одного и того же события. К своей работе они привлекали греческие хроники и греческие жития святых, документы, сохранившиеся в княжеских архивах (тексты договоров с греками), церковные записи, родовые предания, легенды и проч. Восстанавливая ход русской истории, летописцы стремились связать эту историю Руси с историей мировой, понять ее как часть всемирной истории, выяснить происхождение славян и отдельных восточнославянских племен. С педагогической ясностью описывает летописец географическое расположение Руси, начиная свое описание с водораздела Волги, Днепра, Западной Двины, и, следуя их течению, описывает, в какое море каждая из этих рек впадает и в какие страны можно плыть по каждому из морей.

В целом «Повесть временных лет» представляла для своего времени своеобразную историческую энциклопедию. Из нее можно было узнать и о происхождении славянской азбуки, и об основах христианской религии, и о происхождении рода русских князей, и о многом другом.

А какой великолепный ансамбль представляют собой сочинения киевского князя Владимира Мономаха! Они включены в один из списков «Повести временных лет» (так называемый Лаврентьевский) под 1097 годом и известны под названием «Поучения» Владимира Мономаха. На самом деле «поучением» может быть признано только первое из них; за этим первым следует автобиография Мономаха, где он рассказывает о своих «путях» (походах) и «ловах» (охотах); за автобиографией следует письмо Мономаха своему исконному врагу Олегу Святославичу (Гориславичу) — ро-

дона начальнику князей Ольговичей. Все три произведения написаны в различной манере, соответственно тем различным жанрам, которые они представляют, но все три связаны одной сильной политической идеей — и как связаны! На этой идее сочинений Владимира Мономаха стоит остановиться особо. В сущности, она очень проста, но в своей простоте поражает современного читателя высоким чувством патриотического долга.

Во времена Мономаха Русь уже переживала интенсивный процесс феодального дробления со всеми свойственными этому дроблению опасностями для силы и независимости Русской земли. Феодальное дробление было результатом интенсивного экономического и культурного роста отдельных феодальных княжеств, при котором каждая из растущих областей выражала тенденцию к обособлению и самостоятельности. Этот процесс был естественным и даже необходимым, но он вел к военному ослаблению Руси и к многочисленным междоусобным войнам. Надо было предотвратить распад Руси. Ослаблению экономических связей надо было противопоставить сознание политического и исторического единства Русской земли. Надо было воззвать к самым высоким патриотическим чувствам русских людей и дать личный пример забвения обид. Высокий долг падал на церковь и литературу. И вот Владимир Мономах, а немного спустя его сын Мстислав Великий (внук последнего англосаксонского короля Гаральда, потерпевшего страшное поражение от Вильгельма Завоевателя в битве при Гастингсе 1066 года; отец Мстислава Мономаха был женат на дочери Гаральда) покровительствуют летописанию, создают культ князей братьев Бориса и Глеба, стремятся к тому, чтобы каждый из князей владел только своим уделом и чтобы князья вступали в договорные и союзные отношения между собой.

Мало этого, Мономах пишет собственные сочинения, где пропагандирует строгое соблюдение взаимных обязательств и взаимную уступчивость князей. В первом из своих сочинений он иллюстрирует свою идею богословскими соображениями. Между прочим, он прибегает к следующему примеру из мира природы. Весной птицы летят из рая и расселяются по всей земле. Каждая птица находит свое место, и каждая довольствуется своим уделом: и слабые птицы, и сильные. В следующем сочинении — своей автобиографии — Мономах стремится показать необходимость соблюдать принципы довольства наследственными уделами личным примером, но не боится говорить и о тех нарушениях своего принципа, которые допускал сам. Но самый изумительный пример уступчивости дает Мономах в своем письме к Олегу. События,

послужившие поводом к письму, разыгрались в 1096 году. В междоусобной битве был убит сын Мономаха Изяслав. Старший сын Мономаха Мстислав послал письмо Олегу с требованием отступить от незаконно захваченных Олегом владений и предложением примирить Олега с Мономахом. Олег отказался, двинул войска против Мстислава, был наголову им разбит и бежал за пределы Руси. Мономах пишет не просто убийце своего сына: Олег в какой-то краткий промежуток примирения крестил Изяслава, был его крестным отцом и, по представлениям средневековья, должен был поэтому считаться больше, чем сыноубийцей. О чем же пишет Мономах разбитому в бою убийце своего сына? Он прощает его. Он предлагает ему вернуться на принадлежащие ему земли, он утешает его. Он пишет ему, что жизнь человеческая в руках божьих, и просит его только отпустить молодую вдову Изяслава, чтобы он мог утешить ее. Письмо Мономаха свидетельствует об очень высоких нравственных представлениях Мономаха и о его готовности от многого отказаться ради мирного утверждения принципа — «пусть каждый князь владеет княжеством своего отца».

Другой памятник, очень характерный для начального этапа древнерусской литературы, — «Житие Феодосия Печерского».

«Житие Феодосия Печерского» представляет собой совершенно особый и уже вполне законченный тип повествования. И это удивительно, так как оно принадлежит тому же Нестору, который придал окончательное и совсем другое оформление Начальной русской летописи, созданной на основе предшествующих летописей «Повести временных лет». Умение подчиняться требованиям жанра — признак писательской зрелости в средние века.

«Житие Феодосия», хотя и являлось, по существу, первым русским житием, сообщило завершенность биографическому жанру. Рассказ о человеке ведется в этом произведении путем выделения только некоторых моментов его жизни: тех, в которых он достигает как бы наивысшего своего самопроявления.

Из «Жития Феодосия» мы узнаем многое об окружающем его быте и целиком погруженных в этот быт людях. Здесь и быт богатого провинциального дома в Васильеве, — дома, руководимого его властной матерью. Кое-что мы можем узнать о положении слуг в этом доме. Бегство Феодосия в Киев рисует нам торговый обоз с тяжело нагруженными товарами телегами. Его отношения с Изяславом позволяют заглянуть в княжеские хоромы во время пира. Узна-

ем мы и о разбойничьих шайках, бродивших вокруг Киева, о суде и судьях, о писании книг в монастыре великим Никоном и о помощи ему Феодосия в их переплетании. Вводит нас жизнеописание в монастырскую и княжескую поварни, в крестьянский хлев, в пекарню, в монастырские кельи. Но описание быта ведется очень сдержанно, — только в той мере, в какой это необходимо для сюжета, — сюжет же всегда поднимается над незначительностью и суетностью «мимотекущей» жизни. В обстановке временного усматривается вечное, в случайном — значительное. Благодаря этому быт оказывается обряжен в церемониальные формы высоких церковных добродетелей. Это как бы те ветхие и бедные реликвии, которые лежат в драгоценнейших сосудах и которым поклоняются пришедшие в монастырь странники. Бедность монастырской жизни, которая рисуется в «Житии Феодосия», драгоценнее всякого земного богатства, потому-то она так и подчеркивается. В целом «Житие Феодосия» нашло идеальное выражение монументальному стилю в описании «частной» жизни отдельного человека. В последующем развитии русской литературы рассказ о жизни человека постоянно стал слагаться из отдельных эпизодов, рисующих эту жизнь значительной и как бы predeterminedной свыше.

Я привел только немногие примеры русских литературных произведений XI — самого начала XII века, но русская литература этого периода очень богата и разнообразна. В каждом из ее произведений можно найти черты эпохи, индивидуальные черты их авторов, разнообразие жанров. Упомяну еще некоторые произведения XI века: это «Поучения» Феодосия Печерского, в которых он высказывает вполне оригинальные взгляды, это «Поучения» новгородца Луки Жидяты (сокращение от имени Жидислав), рассчитанные на самую простую аудиторию и этим резко отличающиеся от произведений Илариона и Феодосия, это сборники изречений, вроде «Стословца» Геннадия, церковные послания, молитвы и пр. и пр.

Начало древней русской литературы определило собой ее характер и на последующее время. Знаменательно, что влияние «Повести временных лет» оставалось действенным в течение полутысячелетия. В полном или сокращенном виде она переписывалась в начале большинства областных и великокняжеских летописей. Ей подражали последующие летописцы. Для политических прославлений образцовым в течение многих веков оставалось «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона, для житийной литературы типа «маририй» (рассказов о мученичествах) — жития Бори-

са и Глеба, для житийных биографий — «Житие Феодосия Печерского», для церковных поучений — «Почения» того же Феодосия и т. д.

В дальнейшем русская литература обогащается новыми жанрами, усложняется по содержанию; ее общественные функции приобретают все более и более разветвленные формы и многообразное применение, литература становится все публицистичней, но не утрачивает от этого своей монументальности и средневекового историзма.

ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

(XII ВЕК)

Эпоха, которой принадлежит гениальный памятник «Слово о полку Игореве», противоречива и трагична в своей основе. С одной стороны, она отмечена высоким развитием искусств: живописи, архитектуры, прикладного искусства, литературы, а с другой — она характеризуется почти полным распадом Русского государства на самостоятельные княжества, отмечена разорявшими страну междоусобными войнами князей и чревата крайним ослаблением Руси как единого целого в военном отношении.

В свое время — в конце XI и в первой четверти XII века — Владимир Мономах вносил сильное сдерживающее начало в процесс дробления Русской земли. Ему удалось глубокими походами в степь утишить половцев. Со смертью Владимира Мономаха в 1125 году вражда между отдельными русскими князьями усиливается, а через некоторое время возобновляются и набеги половцев. Вплоть до татаро-монгольского нашествия междоусобия отдельных ветвей княжеского рода становятся все более и более частыми. Воюют в основном потомки Владимира Мономаха — мономаховичи — с потомками постоянного противника Мономаха Олега Святославича — ольговичами. Но внутри каждого из этих родов возникают собственные противоречия интересов. Слабеет значение Киева как объединяющего центра Руси, особенно после тех разорений, которым подвергли его сами русские князья. Возникают новые сильные центры притяжения — Владимир-Залесский во Владимиро-Суздальской земле, Чернигов, Владимир-Волынский и Галич на юго-западе Руси, Новгород и Смоленск на севере и северо-западе. Появляется тенденция к еще более мелкому дроблению. Политическое и военное единство Руси фактически перестает существовать. Однако не прекращается сознание исторического, язы-

кового и культурного единства всего русского народа на огромном пространстве северо-востока Европы. Развивается трагическое противоречие между осознанием себя как единого целого и фактическим положением дел. В этих условиях особую роль суждено было сыграть литературе.

Литература народа — это не простая совокупность литературных произведений. Сами по себе отдельные произведения еще не создают литературы как единого целого. Произведения составляют литературу, когда они связаны между собой в некое органическое единство, влияя друг на друга, общаются друг с другом, входят в единый процесс развития и несут совместно более или менее значительную общественную функцию.

Уже в XI веке началось «взаимообогащение литературных произведений», которое в условиях Древней Руси сводилось главным образом к заимствованию из одного произведения в другое целых отрывков или отдельных фраз, к присоединению произведений друг к другу, к их включению друг в друга, к составлению их новых редакций и новых памятников на основе старых.

Вся литература XII — начала XIII века является единым реальным целым, в котором произведения объединяются, соединяются между собой, продолжают друг друга, составляются на основе переписки нескольких писателей, живущих в разных концах Русской земли. При этом она становится литературой единой темы — темы русской истории, литературой единой идеи — идеи необходимости единения. Вся русская литература XII — начала XIII века, по существу, одно произведение, которое мы могли бы назвать своеобразной проповедью единства Русской земли, — проповедью, составленной в разных концах Руси и в едином стиле монументального историзма, который, возникнув в XI веке, именно в XII и начале XIII века достигает своего особенно активного и действенного расцвета.

Академик М. Н. Сперанский писал о «нескольких типах литературы» в период раздробленности Руси. «И типы эти, — добавлял он, — будут основаны, между прочим, на различиях племенных, также и областных (государственных). Несомненно, что благодаря различной культуре отдельных племен и христианская литература распространялась далеко не равномерно, иначе сказать: перед нами этнографический принцип развития нового мирозерцания»¹.

¹ Сперанский М. Н. История древней русской литературы: Пособие к лекциям в университете. Введение. Киевский период. 3-е изд. М., 1920, с 282.

Представления о том, что литература была так же «раздроблена», как был раздроблен на отдельные феодальные княжества весь государственный строй Древней Руси, стали общим местом всех историй литературы. Однако, в отличие от М. Н. Сперанского, все последующие исследователи главное значение придавали не «этнографическому принципу», а политическому и разделение русской литературы в XII и в начале XIII века вели главным образом по княжествам, а не по племенам.

Между тем русская литература этого периода не только развивается как единое целое, но и не обнаруживает никаких признаков стремления к самостоятельному и замкнутому развитию в отдельных областях и княжествах. Ни одно из произведений не выступает с проповедью разделения Руси, выделения того или иного княжества в самостоятельное государство, не отражает стремления к культурному отъединению. Напротив, писатели этого периода как бы устремляются друг к другу через огромные расстояния, пытаются установить между собой связи, вступают в переписку, ощущают свою общность и избегают творческого одиночества. Стремление к преодолению расстояний определяет весь характер литературы этого периода. Каждое из княжеств дорожит своею исторической общностью с другими княжествами. Монументально-исторический стиль определяет содержание, форму и самые способы ведения летописания, составления литературных произведений, отношение писателей к окружающему миру и характер литературной традиции.

Начнем с летописания, которое в силу своего местного происхождения, казалось бы, должно было более всего отразить местный характер литературы, если бы он действительно существовал. Между тем именно летописям принадлежала главная роль в деле взаимообогащения литературы в XI—XIII веках.

«Повесть временных лет», составленная в самом начале XII века, подвела своеобразный итог литературному развитию предшествующего времени. Она явилась своего рода «литературной антологией» русских и переводных произведений. Помимо предшествующих летописных сводов и византийских хроник в «Повести временных лет» были отражены идеи и отдельные выражения из «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона, «Поучение о казнях божиих» Феодосия Печерского, жития первых русских святых и сказания о первых насельниках Киево-Печерского монастыря, повесть об ослеплении Василька Теребовльского

и многое другое¹. В XII веке происходит дальнейшее развитие объединяющего значения «Повести временных лет». Она ставится в начало многих местных летописей. По-видимому, «Повесть временных лет» начинается с собой Черниговское летописание князей ольговичей (потомков Олега Святославича). Она появляется в Переяславле-Южном, во Владимире-Волынском и во Владимире-Залесском. В последнем княжестве в один из списков «Повести временных лет» включается собрание сочинений Владимира Мономаха — его «Поучение», его автобиография и его письмо к Олегу Святославичу. И это включение сочинений Мономаха становится важнейшей символической акцией, знаменуя собой принятие политических и моральных заветов Мономаха во Владимир-Суздальском княжестве.

Движение «Повести временных лет» по всему горизонту Русской земли не было только историко-литературным фактом. Это был факт политического самосознания.

В XII веке многие летописи, продолжающие общерусское летописание, составляются в разных городах и монастырях Руси. Летописи ведутся не только в Киеве, но и в Чернигове, в Переяславле-Южном (летопись княжеская и летопись епископская), в Новгороде (и при владычном дворе в Святой Софии, и в небольшой уличанской церкви Якова в Неревском конце Новгорода), и во Владимире-Залесском, и в Ростове, и во Владимире-Волынском, и в Смоленске, а возможно, и во многих других городах Руси.

При этом замечательным свойством русского летописания оставалось его стремление охватить все русские события, всю Русскую землю. В Киевской летописи, начиная со второй половины XII века, мы находим черниговскую летопись и летопись Переяславля-Южного, извлечения из северо-восточного летописания. В летописи Переяславля-Южного отражается Киевская летопись. В новгородском летописании, открывавшемся киевским Начальным летописным сводом XI века, в начале XIII века отражается рязанское летописание и постоянно делаются попытки выйти за пределы только новгородских событий.

В летописание Владимира-Залесского включаются обе летописи Переяславля-Южного — епископская и княжеская, а через них и Киевская летопись.

Выходило за пределы местных событий и летописание Владимира-Волынского.

¹ Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники. — Труды Отдела древнерусской литературы (Далее сокращенно — ТОДРЛ). М.—Л., 1940, т. 4.

Летописцы как бы ищут друг друга, их летописи постоянно переписываются и перевозятся из одного княжества в другое. В этом сказываются объединительные тенденции летописцев, их замечательное стремление к «преодолению пространства».

В разнообразии манер, в которых написаны дошедшие до нас летописи (из них главные рукописи — Ипатьевская XV века, Лаврентьевская XIV века и Синодальный список Новгородской первой летописи XIII века), сказываются не столько местные черты, так называемое «областническое начало», сколько разнообразие жанров вошедших в них произведений, разнообразие социальной принадлежности летописцев и разнообразие литературных и «деловых» влияний, которое они испытывали.

В Киевский свод 1200 года (он читается ныне в составе Ипатьевской летописи) вошли не только летописи других летописных центров Руси, но и особый жанр семейных хроник князей — ростиславичей (потомков Ростислава Мстиславича), Святослава Ольговича и его сына Игоря Святославича (героя «Слова о полку Игореве»), вошли повести о княжеских преступлениях — «Повесть об убийстве Игоря Ольговича и о преступлении Владимирки Галицкого». Заключался свод торжественной речью игумена Выдубецкого монастыря Моисея по случаю построения монастырской стены над Днепром. Этим обилием и жанровым разнообразием источников определилось в значительной мере литературное богатство сохранившейся до нашего времени Ипатьевской летописи за XII век.

Летопись Владимира-Залесского (она сохранилась в составе Лаврентьевской) велась при храме Успения Богородицы и поэтому отразила стремление своих церковных составителей видеть в каждом знаменательном событии заступничество богородицы, ее особое покровительство городу Владимиру и владимирскому князю. Летопись Владимира-Залесского отразила влияние главным образом церковной литературы: Паримийника, жития Бориса и Глеба, слова Феодосия Печерского о «казнях божиих», «Слова о Законе и Благодати» и проч.

Значительно меньше литературных источников отразила Новгородская летопись. Ее язык ближе всего деловой прозе — языку берестяных грамот и «Русской Правды».

Замечательно, однако, что литературные источники летописей также свидетельствуют об их распространении по всей Русской земле. Так, например, киевское «Слово о Законе и Благодати» оказывает воздействие на летопись и на северо-востоке Руси — во Владимире-Залесском, и на юго-западе — во Владимире-Волынском. Характерно также, что наиболее детальный рассказ об убиении Андрея Боголюбского попал не в летопись Владимира-Залесского, где события

происходили, а в Киевскую (сейчас этот подробный рассказ читается в Ипатьевской летописи, а более сжатый — в Лаврентьевской).

Своеобразную местную ограниченность можно усмотреть лишь в некоторых частях новгородского летописания, но объясняется это тем, что одна из новгородских летописей велась в небольшой церкви уличан на Яковлевой улице Неревского конца в Новгороде ее попом Германом Воятой. Священники уличанских церквей в Новгороде выбирались жителями улицы, и этим, очевидно, объясняется, что Герман Воята (Воята — сокращение языческого имени Воислав) был носителем полуязыческих представлений. Записи этого священника с двойным — христианским и языческим — именем имеют отчасти личный характер. Так, например, под 1138 годом Герман Воята записывает, что 9 марта «бысть гром велий, яко слышахом чисто в исьтбе сядяще». В тот же год 23 апреля «пополошишася людье: сългаша бо, яко Святопѣлк у города с пльсковичи (псковичами. — Д. Л.), и высушася весь город к Сильницю, и не бы ничто же». В стилистическом отношении очень интересна запись 1143 года, в некоторых своих частях передающая даже короткий ритм устной речи: «...стояше вся осенина дъждева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгъ». Обращает на себя внимание в этой записи также и замена в определении времени христианского Филиппова заговенья языческим Корочюном.

Общественный строй Новгорода отразился и на других новгородских летописях, вошедших в состав новгородского летописания при новгородском Софийском владычном дворе. Язык новгородских летописей простой, с малым количеством церковнославянизмов. В этой же летописи сильнее, чем в каких-либо иных, могут быть отмечены языковые диалектизмы. Элементы новгородского говора выступают в новгородских рукописях вообще довольно рано (так, например, они есть уже в новгородской Минеи 1096—1097 гг.), но и эти диалектизмы не служат еще признаком «областного этнографического» принципа в развитии литературы. Это все свидетельства только языковых различий, но не появления областного самосознания.

В идейном отношении отдельные летописи, как и отдельные повести о княжеских преступлениях, могли стоять за своего князя, за своих местных князей, высказывать различные политические убеждения (летопись была далеко не бесстрастной и равнодушной к добру и злу), но ни один летописец никогда не высказывался за отделение своего княжества в самостоятельное государство, за сепаратистский принцип в

жизни страны. Напротив, спор шел только о том, кто из князей, какая из княжеских родовых линий лучше всего служит единству Русской земли.

Та же постоянная общерусская интеграция пронизывает собой и наиболее значительный памятник историко-церковной литературы начала XII века — Киево-Печерский патерик.

Он создавался постепенно в разных концах Русской земли, на основании различных предшествующих ему литературных памятников и был проникнут идеей общерусского значения Киево-Печерской обители.

Патерик возник в двух крайних концах Русской земли — из переписки киево-печерского монаха Поликарпа с владими́ро-суздальским епископом Симоном. В своем письме из Киева во Владимир Поликарп пожаловался Симону, что его обходят в церковных назначениях. Симон ответил Поликарпу наставительным письмом на тему о великой чести подвизаться на Киево-Печерской земле и к своему письму присоединил несколько коротких рассказов о жизни печерских монахов. Письмо, очевидно, подействовало на Поликарпа, и он дополнил рассказы Симона своими собственными в письме к печерскому игумену Акиндину. Письма Симона и Поликарпа были объединены в XIII веке со сказанием Нестора о первых черноризцах Печерских, которое в свое время было включено в состав «Повести временных лет», со сведениями из не дошедшего до нас «Жития Антония Печерского», а также с «Житием Феодосия Печерского» и некоторыми другими литературными материалами. Так создалось сводное произведение, не совсем похожее по форме и жанровым признакам на византийские патерики, но тем не менее названное в поздних своих списках именно патериком, чтобы как-то ввести его в привычные церковные жанры.

В Киево-Печерском патерике сказались разнообразные влияния: и влияние эпистолярной практики своего времени, и воздействие тех же греческих патериков, отразились летописная форма изложения, стиль житийной литературы, стиль учительных сочинений и, наконец, содержание устных слухов, преданий и других жанров восточнославянского фольклора. В литературной истории Киево-Печерского патерика можно проследить удивительный процесс формирования оригинального по своим жанровым признакам большого памятника на основании множества самых разнообразных и порой неожиданных влияний. Однако не менее оригинальным явился Киево-Печерский патерик и в идейном отношении. Христианские представления соединились в его идейном содер-

жании с древним культом Земли¹, который также в какой-то мере отразился на идейной стороне монументально-исторической стилистической формации.

В патерике подчеркивается, что киево-печерская Успенская церковь воздвигнута «от Севера» и «от Юга»: варягами, давшими материальные средства, и греками, чудесным образом посланными из константинопольского монастыря Влахерны, чтобы построить монастырскую церковь и расписать ее.

Место, на котором построена церковь, — свято. Оно указано чудесами. Чудесно указана и мера церкви. По ней, этой мере, выстроены Успенские же церкви Богоматери в Ростове и Суздале. Из Печерского монастыря выходят епископы, а иноки его строят монастыри по всей Руси — вплоть до далекой Тмутарокани на Черном море. Монастырь как бы распространяет знаки святости по всей Русской земле. Это святыня все-русская и все-светная.

Всякая местность освящается построением в ней монастыря или церкви, историческими или церковно-историческими воспоминаниями. По сути дела, на этом строилось и понятие «Святой Руси»: каждое место в ней утверждалось в своей абсолютной ценности благодаря этим «отметкам» — освящению их воспоминаниями и строениями.

Характерно, что владимирский епископ Симон в своем письме в Киев к Поликарпу пишет о «Русском мире» и о той роли, которую играет в нем Киево-Печерский монастырь. Именно отсюда, из Киево-Печерской обители, вышли русские церковные иерархи — Киева, Переяславля, Ростова, Новгорода, Владимира, Юрьева, Полоцка, Тмутарокани, Чернигова, Тулова, Белгорода, Суздаля. «И еще хочещи вся уведати, почти летописца старого Ростовьскаго». В этом летописце Симон отмечает 30 имен русских иерархов, вышедших из Киево-Печерского монастыря, а всего, считая и тех, кто жил позднее, «и до нас, грешных», было их около пятидесяти.

При этом обратим внимание вот на что: чтение, и особенно чтение летописи, по словам Симона, внушает мысль о значении Печерской обители для всего «Русского мира». Такова же роль чтения и в проповеди мира, как тишины и спокойствия, братолюбия князей. «Русский мир» и «мир в Русской земле» — это, по существу, нечто общее. Эта идея роли чтения — по-своему замечательна и очень действительна. Ни один из писателей XII—начала XIII века не опускался до высказываний за разделение Русской земли. Летописцы и отдельные книжники могли ошибаться и могли находить именно своего князя правым в создававшихся конфликтах,

¹ О культе Земли см. подробнее в работе: Комарович В. Л. Культ рода и земли в княжеской среде XI—XIII вв. — ТОДРЛ. М.—Л., 1960, т. 16.

считая его первым среди русских князей и наиболее достойным занять в Русской земле или в том или ином княжестве руководящее место, однако в целом русская литература на всем протяжении ее вплоть до Батыева нашествия проповедовала только одно: необходимость «блюсти Русскую землю».

Киево-Печерский патерик не только служил идее единства Руси, но и утверждал самобытность этой Руси, способствовал формированию в ней церковного идеала поведения, своих русских церковных обычаев, монашеского «этикета». Так, например, в патерике рассказывается, как родился русский обычай вкладывать в руку умершего написанную молитву с просьбой о прощении ему грехов. Авторы патерика сознавали, что этого обычая нет в других землях.

Авторы патерика стремились создавать идеал чинного образа жизни не только в монастыре, но и за его пределами. В патерике рассказывается, например, на основании «Жития Феодосия», как киевский князь Изяслав, навестив однажды Феодосия, спросил у него: почему так вкусна пища в его монастыре, тогда как на его собственных пирах, где пища различна и многоценна, она «не суть такова сладка, яко же сия». Феодосий разъяснил князю: потому, что она готовится в монастыре благоговейно и по обрядам — описал эти обряды, — а у князя пища готовится рабами, которые работают «сварящися (ссорясь. — Д. Л.) и шегающе (насмехаясь. — Д. Л.) и кленуще друг друга, и многожды же биими суть от приставник, и тако вся служба их с грехом съвършается».

Патерик относится к тому времени, когда происходило становление феодального быта, устанавливался этикет — этикет поведения, этикет воинский, княжеский, монашеский. Каждое сословие в это время предстает в литературе как бы в своем геральдическом знаке, изображающем его в момент исполнения им его высшего сословного долга: князь выезжает на битву впереди войска и первым ломает в битве копье (т. е. начинает битву); подручные князя ездят у стремени своего главы; отроки предостоят перед князем; бояре заседают в совете («бояре думающие»); крестьяне пашут и т. д. Характерен тот образ работающего монаха, который дает Киево-Печерский патерик: «Многожды же великому Нико- ну сидящу и строащу книги, и блаженному (Феодосию. — Д. Л.) въскрай его сидящу и прядушу вервие еже на потребу таковому делу. Таково бе того (Феодосия. — Д. Л.) смирение и простота». Сравните в патерике другую идилическую сцену с тем же Феодосием: Ларион «беаше бо книгам хитр писати, и сый по вся дъни и нощи писаше книги в келии блаженного отца нашего Феодосиа, оному же (т. е. Феодосию. — Д. Л.) псалтыр поющу усты тихо и

рукама прядуща вълну или ино кое дело...» «Делание» книг (их писание, переплетание и пр.) — это одно из важнейших монашеских занятий. Но есть и другие. Патерик замечателен тем, что живописует и эти занятия монахов помимо молитвы и бдения — в садоводстве, в приготовлении пищи, а иногда и в руководстве строительными работами. В последнем случае описываются в патерике и конфликты, возникающие между работниками, нанятыми со стороны, и монастырем. Не всегда идеально ведут себя и сами монахи. В них сказываются и дурные черты характера, и разные слабости. Однако конфликты в конце концов прекращаются, и монашеская идиллия восстанавливается.

Патерик, с одной стороны, показывает нам становление на Руси нового литературного жанра, с другой же стороны, параллельно этому — становление на Руси феодального быта и феодальных идеалов поведения. Восхваляя или осуждая, авторы патерика и в том и в другом случае пропагандировали идеальные, с их точки зрения, отношения внутри монастыря и с окружающим его обществом — князем в первую очередь.

Становление литературных жанров, как и становление опять-таки быта, в целом рисует нам и другое знаменитое произведение того времени — «Моление» Даниила Заточника. Это произведение во многом загадочное, но и безусловно замечательное. Не ясен прежде всего главный персонаж — он же и предполагаемый автор «Моления» — Даниил Заточник: кто он по своему социальному положению, чьи интересы он выражает, какому князю служит. Не ясна и жанровая принадлежность произведения. «Загадочность» «Моления» не случайна — это результат того, что сама литература находилась в XI—XIII веках в процессе жанрообразования, а общество было обществом несформировавшимся, становящимся, находящимся в процессе классовобразования. Если принять во внимание эту неустойчивость общества и всеобщее стремление обрести эту устойчивость, в частности в литературе, где шли поиски новых жанров, отвечающих задачам русской действительности, то объяснение «Молению» может быть дано такое.

В византийской и древнерусской литературе еще в XI веке существовали сборники изречений. В частности, известен был в Древней Руси «Стословец» Геннадия — сочинение, возможно, и древнерусское. Но в этих сборниках изречения не располагались в каком-либо стройном порядке. Каждое изречение имело самодовлеющее значение. «Моление» — это тоже в какой-то мере сборник изречений, но нанизанных

на определенный и довольно острый сюжет: бедный, зависимый, а может быть, и сосланный человек размышляет над тем, как ему выбраться из своего тяжелого положения, прикидывает различные жизненные ситуации, которые помогли бы ему выбраться из его унижений, и обращается к князю с разными мольбами. Положение, знакомое различным эпохам, но особенно острое для эпохи совершающегося классового образования. Мысленно примеривая себя к разным жизненным ситуациям, Даниил шутит над собой. Он вымаливает у князя милость, может быть — подачку, стремится рассмешить князя или поразить остроумием. Среди его шуток — предложение жениться на богатой, но «злообразной» жене и изображение этой жены: это как бы сценки для прирушек, на которых присутствуют только мужчины. Восхваляя силу князя и преувеличивая, может быть, свою нищету, Даниил вносит оттенок иронии и в свои похвалы князю.

И все же заканчивается «Моление» вполне серьезным превознесением силы князя и мольбой к богу дать «князю нашему Самсонову силу, храбрость Александрову (Александра Македонского.—Д. Л.), Иосифлю разум, мудрость Соломону и хитрость (искусность.—Д. Л.) Давидову и умножи, господи, вся человеки под нози его». Последняя просьба к богу особенно характерна. В огромных пространствах Русской земли людей было немного. Обязанностью князя было привлечь в свои владения как можно больше крестьян, «блюсти смерд», то есть умерять их эксплуатацию отдельными феодалами в интересах всего класса феодалов в целом, и давать крестьянам надежную защиту от набегов половцев.

Широкое видение Русской земли, как бы «панорамное зрение», которое, с одной стороны, охватывало Русь одновременно в разных ее концах и заставляло воспринимать происходившие в ней события в глубокой исторической перспективе (основные признаки монументально-исторического стиля), с другой — заставляло писателей и читателей древнерусских произведений XII—начала XIII века интересоваться и окружающими Русь странами. Этот интерес особенно характерен для галицко-волынского летописания, вошедшего в состав сохранившейся до нашего времени Ипатьевской летописи. В последней мы постоянно находим сведения об отношениях с Венгрией, Польшей, Литвой, Византией, половцами. Русская земля мыслится не только во всей ее широте, но и как часть вселенной, во всяком случае — как часть христианского мира.

Этому осознанию Руси как части вселенной служил жанр

«хождений» в «Святую землю» и в Царьград. Это были два центра мировой истории и мира в его целом. Приобщение к этим центрам воспринималось как приобщение к мировому единству. Паломники и простые путешественники как бы удостоверялись в своих путешествиях, что мир как целое существует, существует и «священная» история мира.

Первым из «хождений» было «Хождение в Святую землю игумена Даниила». Путешествия в Палестину, на Афон и в Константинополь совершались и до XII века. На Афоне был, например, основатель Киево-Печерского монастыря Антоний, путешествовал туда же игумен Варлаам, но только игумен Даниил оставил об этом своем путешествии в Палестину подробные и знаменательные записки. Его записки обращены ко всем русским, кто хотел бы вслед за ним совершить паломничество в те же места. Это своего рода путеводитель — подробный и наставительный. Он свидетельствует о чувстве неразрывной связи всей Русской земли с тогдашним религиозным центром мира, и не случайно, что в Иерусалиме игумен Даниил возжигает кадило у гроба господня «от всей Русской земли», а не только от своего монастыря или княжества. Даниил был в Палестине, когда она находилась в руках крестоносцев. Он был принят королем Балдуином как представитель Русской земли с особенным почетом. Он пишет сам о себе как об «игумене русском», а не отдельного монастыря.

В «Хождении» Даниила поражает его подготовленность к этому путешествию. Он знает историю тех мест, где он бывал, и соответственно сам выбирает свой маршрут. Такую же осведомленность он предполагает в своих читателях. В своем сочинении он как бы сверяет свои знания с виденным и дополняет уже известные сведения сообщением о сохранности памятников, их размерах, расстояниях между памятными местами, о почитании их среди местного населения и у паломников.

По многим признакам можно считать Даниила выходцем из одного из южных княжеств, однако это никак не сказывается «идеологически». В конце XII века ходил в Святую землю и в Царьград новгородец Добрыня Ядрейкович, и он также составил описание своего путешествия — как своего рода путеводитель будущим русским ходокам.

Когда в 1204 году крестоносцы захватили и разграбили Константинополь — это событие глубоко потрясло Русь. Один из русских, находившихся в это время в Константинополе, составил о взятии Константинополя крестоносцами подробную повесть — одно из самых детальных и обстоятельных описаний этого события. Русский автор этой повести показал свою глубокую осведомленность в византийских событиях,

описал мотивы тех или иных действий обеих сторон и остро почувствовал трагичность происходящего. Повесть составлена одновременно и умело и просто. Автор не только видел некоторые из событий собственными глазами, но и слышал о них от других — от греков. Впоследствии повесть была включена не только в сочинения по всемирной истории («Еллинский и Римский летописец»), но и в Новгородскую летопись: Новгород, стремившийся к церковной самостоятельности от Киева, был особенно тесно связан с Константинополем, несмотря на свою крайнюю отдаленность от него, и новгородцев глубоко интересовало все, что там происходило.

Интерес к мировой истории отразился также в распространении переводных и компилятивных сочинений по всемирной истории — особенно по истории библейской и византийской — с захватом истории Греции и Рима. Особенно большое значение имел в это время «Еллинский и Римский летописец». Под «Еллинским летописцем» разумеется описание языческой части мировой истории, под «Римским» — история христианских государств: Рима первого, западного, и Рима второго, восточного, связь с которым ощущалась на Руси не только по церковной линии, но и, шире, — по культурной.

О мудрости мироустройства подробно говорил «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского. Это сочинение оказывало сильное влияние на всю русскую литературу и отчасти на изобразительное искусство вплоть до XVIII века. Это было любимое произведение русских читателей, интересовавшихся смыслом не только всего преходящего, но и всего «вечно» устроенного. «Шестоднев» рассказывал о творении мира в шесть дней (отсюда и его название) и о целесообразности всего в нем существующего, о саморегулировке всего в природе и самоочищении мира, о круговороте воды, о целесообразности всего живущего, о красоте моря — его набегающих на песчаный берег волнах, — разумности расселения в мире рыб и птиц и о многом другом. Человек был представлен в этом сочинении как центр вселенной, ради которого живет и совершается все в природе и который нравственно отвечает поэтому за все то, что его окружает и ему, в сущности, принадлежит и подчиняется.

Все переводные или перешедшие к нам из Болгарии сочинения как нельзя лучше соответствовали стилю мону-ментального историзма, в рамках которого воспринимался мир в Древней Руси XII—XIII веков. Большинство апокрифов, патеричных рассказов Синайского или Азбучного патериков, сборников изречений учили древнерусского читателя тому же широкому видению, умению за случайным и преходящим угадывать нечто значительное и «вечное».

В тесной связи с произведениями, перенесенными к нам из Болгарии и Византии, находились те русские оригинальные сочинения, которые были написаны в строгих рамках традиционных жанров.

Русская литература в XII и начале XIII века, как мы уже видели, постоянно пыталась создать и развивать свои собственные жанры, способные наилучшим образом ответить потребностям русской действительности. Даже многие традиционные жанры претерпевали значительные изменения — как, например, жития святых, проповеди, поучения, в которые все сильнее и сильнее вторгались политические мотивы. Однако жанр торжественной проповеди сохранился почти без изменений, и в нем древнерусские писатели достигли большого искусства. Таковы были, например, «Слова» Кирилла, епископа Туровского, переписывавшиеся в древнерусских и южнославянских рукописях наряду с произведениями лучших древнехристианских и византийских ораторов: в первую очередь — наиболее авторитетного в Древней Руси отца церкви — Иоанна Златоуста.

«Слова» Кирилла Туровского, посвященные тем или иным церковным праздникам, составлены по самым высоким канонам византийского ораторства, отличаются удивительным изяществом языка, расчетливо учитывающего устное произнесение в церкви при большом стечении молящихся. По своему это тоже произведения монументально-исторического стиля и монументально-исторического мышления. Кирилл в каждом из своих «Слов» напоминает слушателям о «вечном смысле» происходящего, о своеобразном священном круговороте праздничного годового цикла. Он приглашал своих слушателей воспарить умом и сердцем, взглянуть на совершающийся праздник как на своего рода вечное действо, существующее «ныне и присно» (т. е. сейчас и всегда).

Очень мало дошло до нас от писаний Климента Смолятича — митрополита из русских, поставленного в Киеве, как в свое время и Иларион, без санкции константинопольского патриарха. Сохранилось лишь его послание некоему священнику Фоме. Это часть их переписки (а переписка была очень характерна, как уже говорилось, для этого времени), которая велась киевским митрополитом Климентом Смолятичем (он был одно время епископом в Смоленске) с князем Ростиславом Мстиславичем и его священником Фомой. Но эта часть позволяет говорить, что переписка в целом велась по общемировоззренческим вопросам и касалась литературных принципов. Фома обвиняет Климента в том, что он увлекается языческой философией, и в частности высказываниями Гомера, Аристотеля и Платона. Это не оз-

начает, что Климент хорошо их знал. По-видимому, Климент цитировал греческих философов по сборникам изречений, которые были широко распространены в то время, но все же отзываются летописи о Клименте как о «книжнике» и «философе» свидетельствуют о высокой культуре этого писателя, сочинения которого, к сожалению, в основном до нас не сохранились, хотя летопись и говорит о том, что он был автором «многих» произведений.

Кульминация всех идейно-стилистических особенностей литературы XII века — гениальный памятник «Слово о полку Игореве».

По своим идеям «Слово о полку Игореве» не было одиноким памятником. В сущности, вся русская литература XII века пронизана идеей необходимости единения — особенно единения княжеского, сплочения военного и прекращения усобиц. Литература противостоит печальной действительности. Она отталкивается от нее, призывает к ее исправлению. В этом своеобразная диалектика отношений литературы и действительности. С одной стороны, она порождена действительностью и не может сказать ничего, чего бы не было в этой действительности или в существующей в это время литературной традиции («вторичной действительности» своего времени); с другой стороны — литература идет впереди своего времени. Это особенно характерно для русской литературы, которая всегда стремилась к исправлению общественных недостатков. На этом передовом характере литературы строился весь общественный авторитет русской литературы. И этот общественный авторитет она стала завоевывать с самого начала, но особенно в XII веке, в эпоху, когда литература составила большую общественную силу, — эпоху «Слова о полку Игореве».

«Слово о полку Игореве» посвящено походу 1185 года на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича и написано, очевидно, под свежим впечатлением от его поражения. Но по существу, настоящим героем этого произведения является вся Русская земля, взятая в широчайших географических и исторических пределах. Вот в этом широком охвате Русской земли и заключена конкретность призыва автора к единству всех русских княжеств: автор сознает реальное и художественное их единство, их историческую общность и, следовательно, трагичность разрыва между печальной действительностью Руси, ввергнутой в раздоры князей, и идеальным и возможным величием ее истории, ее природы, находящейся в сочувственном единении с русским народом.

Повествование в «Слове о полку Игореве» непрерывно переходит из одного географического пункта в другой. Автор «Слова» постоянно охватывает крайние географические точки своими призывами к единению, обращениями к отдельным князьям. «Золотое слово» Святослава Киевского обходит всю Русскую землю по окружности — ее самые крайние точки. Мифическое существо «Див» кличет на вершине дерева, велит послушать земле неведомой, Волге, и Поморию, и Сурожу, и Корсуню, и Тмутороканскому болвану на Черном море. Жена Игоря Ярославна плачет на самой высокой точке Путивля, в котором она скрывалась во время пленения Игоря, — на крепостной стене, над заливными лугами Сейма, обращаясь к солнцу, ветру, Днепру. Девицы после возвращения Игоря из плена поют на далеком Дунае, их голоса выются через море¹ до Киева. Каждое действие воспринимается как бы с огромной высоты. Благодаря этому и сама битва Игоря с половцами приобретает всесветные размеры: черные тучи, символизирующие врагов Руси, движутся от самого моря. Дождь идет стрелами с Дона великого. Ветры веют стрелами с моря. Битва как бы наполняет собой всю степь.

«Слово» постоянно говорит о «славе» князей — нынешних и умерших, — и также в этих широчайших пределах. От войска Романа и Мстислава дрогнула земля и многие страны — Хинова, Литва, Ятвяги, Деремела, и половцы копьа свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Князю Святославу Киевскому поют славу немцы и венецианцы, греки и моравы. Пространственные формы приобретают в «Слове» и такие понятия, как «тоска», «печаль», «грозы»: они текут по Русской земле, воспринимаются в широких географических пределах, почти как нечто материальное и ландшафтное.

Стиль монументального историзма сказывается в «Слове» и в попытках передать действие как столкновение сил, как передвижение больших масс. Действующие лица переносятся в «Слове» с большой быстротой: постоянно в походе Игорь, парадируют в быстрой езде «кмети» — куряне, в быстрых переездах Олег Гориславич и Всеслав Полоцкий. Последний, обернувшись волком, достигает за одну ночь Тмуторокани, слышит в Киеве колокольный звон из Полоцка и т. д.

Неподвижен великий князь Святослав Киевский, но его «Золотое слово» обращено с Киева «на горах», где он сидит, ко всем русским князьям и обходит по кругу всех русских князей по границам Руси. Двигается не он, но зато движется

¹ Хотя между Дунаем и Киевом лежит суша, но автор «Слова», согласно представлениям своего времени, видит пространство по путям передвижения. Путь же от Дуная до Киева шел по морю, а затем по Днепру.

все вокруг него. Он господствует над движением русских князей, управляет их движением. То же самое и Ярослав Осмомысл. Он неподвижен высоко на своем златокованом столе в Галиче, но его железные полки подпирают горы Угорские, он мечет бремены через облака, рядит суды до Дуная, грозы его по землям текут, и он отворяет врата Киеву.

В таком же церемониальном положении изображен и Всеволод Суздальский, готовый вычерпать шлемами Дон, расплескать веслами Волгу, полететь к Киеву. Великий князь церемониально неподвижен, но он среди движения.

Вообще церемониальность играет существенную роль в стиле монументального историзма и, соответственно, — в «Слове о полку Игореве». Не случайно в «Слове» так часто говорится о таких церемониальных формах народного творчества, как слава и плач. Боян поет славу старому Ярославу и храброму Мстиславу, он свивает славы «оба полы сего времени» и исполняет славу князьям на своем струнном музыкальном инструменте. Славу поют Святославу иноземцы. Говорится в «Слове» о плаче русских жен, о пении славы девиц на Дунае, приводится плач Ярославны.

Описан и упомянут в «Слове» целый ряд церемониальных положений: обращение Игоря к войску, звон славы в Киеве: «Звенить слава въ Киевъ... стоять стязи въ Путивль». Игорь вступает в золотое стремя — момент тоже церемониальный. После первой победы Игорю подносят «черьлень стягъ, бѣлую хорюговъ, черьлену чолку, сребрено стружие». В церемониальном положении изображен «на борони» Яр Тур Всеволод. О пленении Игоря сообщается как о церемониальном пересаживании из золотого княжеского седла в седло кощеево (рабское). Своеобразно церемониальное положение Всеслава Полоцкого: он добывает себе Киев, как «девицу любу», скакнув на коне и дотронувшись стружием (древком копья) до золотого киевского стола, что напоминает сватовство к невесте в русской сказке (Иванушка скачет на коне и успевает снять кольцо с руки царевны, сидящей высоко в тереме). Церемониален плач Ярославны. Она плачет открыто, при всех, на самом видном месте Путивля. Наконец, завершается «Слово» великолепной церемонией въезда Игоря в Киев и пением ему славы в разных концах Руси.

Церемониальность и монументализм XII века сочетаются в «Слове» и с тем, что каждое событие воспринимается в нем в большой исторической перспективе. В «Слове» постоянно говорится о дедах и внуках, о славе дедов и прадедов, об «Ольговом гнезде» (Олег Святославич — дед Игоря). Сам автор «Слова» — внук Бояна, ветры — «Стрибожи внуци», русское войско — «силы Дажьдбожа внука», Ярослав Черниговский с подвластными ему войсками ковуев звонят в «прадѣдную

славу». Изяслав Василькович «притрепал» славу деду своему Всеславу Полоцкому. Внуков последнего призывают понизить свои стяги — признать себя побежденными в междоусобных битвах и т. д. и т. д.

Для того чтобы опоэтизировать события, современные походу Игоря, автор привлекает русскую историю XI века. Свои поэтические сопоставления автор «Слова» делает с историей Олега Святославича и Всеслава Полоцкого, с битвой Бориса Вячеславича на Нежатиной Ниве, с гибелью в реке Стугне юнши князя Ростислава, с поединком Мстислава Тмутороканского и Редеди. Это все события XI века — «дедовские» по времени. Автор вспоминает певца Бояна — также XI века.

В «Слове о полку Игореве» остро ощущается воздух русской истории. Повторяем: «Слово» принадлежит монументально-историческому стилю, который не только определял внешнюю форму произведений, но был глубоко идеологичен и лучше всего мог выразить представления о единстве Руси — в географическом и историческом осмыслении этого понятия. Впоследствии, когда «Задонщина» заимствовала из «Слова» ряд формул, образов и положений, она оказалась неспособной заимствовать от него эту самую характерную и самую важную черту художественной системы «Слова» — его монументальность и глубокий средневековый историзм, придающий «Слову» при всей его лиричности своеобразную эпичность: это как бы плач и слава всей Русской земле в ее огромных пределах и в ее глубокой исторической перспективе.

Монументально-исторический стиль возник вместе с русской литературой. На первых порах (в XI в.) он выражал собой преодоление страха перед пространством, появление широкого видения мира, возникновение исторического сознания и ощущение своей связи с окружающим Русь миром, с мировой историей. В эпоху усиленного дробления Руси на отдельные княжества монументально-исторический стиль усложнил свои «идеологические функции»: он был идеальным выражением сознания единства всей Русской земли. В «Слове о полку Игореве» он был теснейшим образом связан с его призывом к единению, к защите пространства Руси, к динамизму обороны. Благодаря тому, что монументализм выражался в эту эпоху преимущественно с помощью изображения быстроты передвижения в огромных пространствах, — очень небольшое по своим размерам «Слово» производило исключительно сильное впечатление непосредственным ощущением единства всей Русской земли как живого огромного существа. Оно сумело соединить лирическое отношение к Руси с эпическим, историю Руси с походом Игоря Святославича, рассказать о несчастных последствиях одного, казалось бы небольшого, похода для всей Руси.

По точному определению академика А. С. Орлова: «Героем «Слова» является «Русская земля», добытая и устроенная трудом великим *всего Русского народа*»¹.

«Слово о полку Игореве» не было одиноким памятником своего времени. Это ясно не только потому, что оно принадлежало тому же стилю монументального историзма, к которому принадлежали и все другие произведения того же времени. Это ясно и не потому также, что в нем отразилось то же сознание единства Руси, которым жили все русские произведения XII—первой трети XIII века. В «Слове о полку Игореве» есть и прямые совпадения с летописью (главным образом с Киевской в составе Ипатьевской) и с отдельными произведениями.

Стоит в этой связи остановиться на слове, которое было произнесено 2 мая 1175 года в день празднования памяти Бориса и Глеба в черниговском соборе неизвестным автором, — «Слове о князьях». Оно, очевидно, не случайно предшествует «Слову о полку Игореве» и при этом возникает в том самом родовом гнезде ольговичей, с которыми были тесно связаны герои «Слова» — Игорь Святославич Новгород-Северский, Святослав Всеволодович Киевский и брат Игоря — Всеволод Буй-Тур. В «Слове о князьях» Борисе и Глебе, погибших мученической смертью от руки подосланных их старшим братом Святополком убийц, восхваляется безропотное подчинение старшему брату и осуждаются княжеские усобицы — усобицы, возникающие иногда «за малую обиду» (ср. в «Слове о полку Игореве»: «И начяше князи про малое се великое мльвити»). В междоусобиях князья лишаются «чести славы» (ср. в «Слове»: «...уже бо выскочисте изъ дѣдней славѣ»).

Даже в службе XII века Покрову, празднику русскому по своему происхождению, мы находим поэтические строки, осуждающие братоубийственные раздоры князей. В службе этой говорится о вражеских стрелах, летящих «во тьме разделения нашего».

Несомненно, что период со второй четверти XII века и по 1237 год (год нашествия Батыя) был периодом самого интенсивного становления жанровых и идейных особенностей русской литературы на всем обширном пространстве Русской земли — от Новгорода на севере и до ее границы со степью на юге, от Галича и Владимира-Волынского на юго-западе и до Минска, Турова и Витебска на северо-западе, а оттуда — до Волги на востоке. Литература разнообразна по жанрам, по стилистическим особенностям языка и вместе с тем удивительно едина по своим идеалам и политическим устремлениям: она не имеет

¹ Орлов А. С. «Слово о полку Игореве». М.—Л., 1946, с. 48.

одного центра и вместе с тем не провинциальна, она продолжает традиции XI века и одновременно обогащает эти традиции различными новизнами. Старое и новое, чужеземное и свое, местное, возникшее в самых различных, раскинутых по всей Русской земле городских и монастырских центрах, церковное и светское в самых различных сочетаниях — определяют удивительное богатство литературы этого периода.

В пору, когда между отдельными княжествами распадалась экономическая и политическая связи, в литературе возникло прямо противоположное явление — стремление к объединению, утверждались идеи объединения Руси, развивались конкретные литературные связи, стремление к переписке, к взаимополнению отдельных произведений в разных частях Русской земли. Вопреки утвердившемуся в литературоведении мнению о делении литературы на «областные кусты»¹, литература на самом деле сильнее всего тяготела к «перекрестному творчеству».

Литература мыслится в этот ответственный период ее истории прежде всего как общение людей между собой, как укрепление единомыслия, как проповедь идей единства. Одной из форм этого общения становится переписка, другой — устное, прочитанное слово, обращенное к многочисленным слушателям, третьей — обращение к потомкам, попытка закрепить настоящее и прошлое для будущего. Во всех этих случаях это общение коллективное или становящееся коллективным в процессе переписки — многих летописцев, многих авторов, многих переписчиков и редакторов произведений, стремившихся вложить в произведение свой личный опыт и при этом пишущих в разных концах Русской земли — «Русского мира», как его называл Киево-Печерский патерик. Коллективность (в авторстве и в чтении произведения), разнотерриториальность создания — важная черта стиля монументализма, сложившегося в своих существенных чертах еще в XI веке, но в XII веке приобретшего особенно острое идеологическое наполнение.

Литературное самосознание, начиная со второй четверти XII по начало XIII века, не только определялось монументально-историческим стилем, но в значительной мере накладывало свой отпечаток на этот стиль, сообщало ему не только внешнюю монументальность, но и монументальность идейного воздействия на русскую действительность. Исторический монумент

¹ Мнение о делении литературы по областям возникло под влиянием ложного представления о том, что литература должна непременно пассивно следовать за действительностью. На самом деле, литература определяется действительностью, но в иные исторические периоды идет впереди действительности, выражая ее скрытые тенденции.

тализм согласовывался с той громадной обязанностью, которая легла на литературу, — сохранением единства Руси. Именно эта обязанность объясняет нам то, что за перо брались люди, облеченные властью и авторитетом, — киевский князь Владимир Мономах, а может быть, и его сын Мстислав Великий — новгородский, возможно — владимирский князь Андрей Боголюбский (гипотеза Н. Н. Воронина), митрополит Климент, владимирский епископ Симон и многие другие.

Если можно говорить в XII веке о Русской земле как о едином целом, то это целое было воплощено прежде всего в языке, в исторической и культурной общности, однако самосознание этого единства было выражено только в литературе — единой и зоющей к единству. Литература явилась живым воплощением единства Руси.

Краткий разрыв между единством всей русской литературы и отсутствием этого единства в политической и экономической жизни страны, военная слабость как следствие этого разъединения, — придали русской литературе особый трагический характер, сильнее всего выразившийся в характернейшем произведении этого периода — «Слове о полку Игореве». Однако этот же разрыв способствовал росту общественного авторитета литературы. Она становится важнейшим фактором сохранения единства, значительной исторической силой.

Все изложенное объясняет нам ту особую роль, которую отныне стала играть русская литература в русской истории, и то обстоятельство, почему так высоко был поднят ее моральный авторитет в русском обществе. Эту роль и этот авторитет русская литература сохранит и впоследствии — вплоть до нашего времени.

Период литературного развития, начавшийся непосредственно после смерти Владимира Мономаха, когда утеря единства Руси стала несомненным фактом, и закончившийся с полным разгромом Руси во время нашествия Батыя, подготовил собой ту мужественность, с которой в русской литературе были встречены эти катастрофические события разгрома Руси. Сознание своего долга, сознание единства, вера в будущее освобождение — все это оказалось, как никогда, важно в пору страшного иноземного владычества.

ЛИТЕРАТУРА ТРАГИЧЕСКОГО ВЕКА В ИСТОРИИ РОССИИ

(XIII СТОЛЕТИЕ)

Под 1224 годом галицкий летописец записал: «Приде неслыханая рать: безбожнии моавитяне, рекомыи татарове...» Новгородский летописец пишет о том же: «...придоша языци (народы.— *Д. Л.*) незнаеме, и ихъ же добре никто же ясно вестъ, кто суть и отколе изидоша, и что язык их (что они за народ.— *Д. Л.*), и коего племени суть, и что вера их; и зовут их татары, а инии глаголють таурмене, друзии же печенеже...»

И в самом деле, те, кого русские летописи и в первые, и в последующие века называют татарами, не были какою-то определенной и единой национальностью. Это было государственное объединение различных кочевых племен, находившихся в стадии кочевого феодализма, объединение крайне агрессивное и подвижное, сплоченное столь же сильной жаждой захвата новых земель, как и стремлением к разрушению соседних оседлых культур.

Объединенные орды кочевых племен, которые мы в дальнейшем будем условно называть монголо-татарами, начали проявлять необычайную активность еще в начале XIII века. Их появлению в 1223—1224 годах на границах Русской земли предшествовали чрезвычайные военные успехи в Азии.

В 1207 году монголо-татары покорили Южную Сибирь, в 1211 году — Китай, затем Туркестан, Афганистан, Персию. Крупнейшие культурные очаги Средней Азии — Самарканд, Бухара, Мерв — лежали в развалинах. В 1221—1223 годах полчища монголо-татар захватили Кавказ и Закавказье и появились на границах Руси, победили русских в 1223 году в битве на Калке, а затем ушли. Однако в 1236 году они переправились через Яик, покорили Волжскую Болгарию и снова пришли на Русь, взяли Владимир и другие города, а в 1240 году

овладели Киевом. На западных рубежах Руси русские вынуждены были отражать нападения шведов, ливонских и тевтонских рыцарей.

Монголо-татарское нашествие, перешедшее затем в страшное иноземное иго, когда, по словам летописца, «и хлеб во уста не иśćесть от страха», принесло жесточайший урон русской культуре и изменило развитие литературы. С середины XIII века основными жанрами русской литературы стали воинские повести, жития мучеников за веру, проповеди, призывавшие к нравственному очищению как залого будущего освобождения. Монументализм литературного стиля, столь характерный для предшествующего периода, отныне приобретает более сдержанный, суровый и лаконичный характер.

Драматичность ситуаций, о которых повествуют литературные произведения середины и второй половины XIII века, усиливается сознанием собственной вины русских, приведшей к установлению ига: недостаток единства среди князей и недостаток твердости в сопротивлении чужеземным захватчикам.

В сущности, эти две темы присутствуют уже в неясных предчувствиях грядущей опасности, которыми была пронизана русская литература в первой трети XIII века — накануне монголо-татарского нашествия.

Русские авторы уже в XII и начале XIII века ясно понимали, что рядом с разрываеомой княжескими усобицами Русью стоит наготове ее внешний враг — степные народы. Вот почему каждая из княжеских распрей заставляла русских писателей тревожиться за целостность и независимость Русской земли. Братоубийственные войны князей были опасны не только сами по себе, но были чреваты также резким внешним ослаблением страны. Назиданием русским князьям кончается «Повесть о взятии Царьграда крестоносцами в 1204 году», написанная кем-то из русских — очевидцев этих событий: «И тако погыбе царство богохранимаго Костянтинаграда и земля гръчская въ свадѣ цесаревъ, ею же обладають фрязи». Иными словами, даже царство богохранимого Константинаграда — Византия — погигло от свары князей. Междоусобия «князей-цесарей» представлялись несчастьем мирового порядка.

В Лаврентьевской летописи под 1227 годом мы находим обличения в «мздоимании», «граблении», «насилиях»: «Горѣ град Володимерь и церкви згоре 27 и дворъ блаженаго князя Костянтина и церкы згоре ту сущия святаго Михаила, юже бе украсилъ христолубивый князь Костянтинъ. Се же наводит на ны богъ, веля нам имети покаянье и встягнутися от грех, от блуда, и зависти, и грабленья, и насилъя, и от прочих злых дель неприязнинъ. Богъ бо казнит рабы своя

напасти различными, огнем, водою, ратью, смертью напрасною, тако бо и подобает христьяном многими напасти и скорбми внити в царство небесное...»

В 1218 году, меньше чем за двадцать лет до Батыева нашествия, рязанский князь Глеб Владимирович и его брат Константин пригласили к себе князей — своих ближайших родственников. Приехал родной брат Олега и Константин Изяслав Владимирович, приехали пять их двоюродных братьев со своими боярами и дворянами. Пир был летом, устроен он был за городом, в большом шатре. В разгар веселого пира Глеб и Константин обнажили мечи и вместе с заранее скрытыми у шатра половцами и воинами бросились на братьев и перебили их всех. Рязанский летописец князя Ингваря Ингоровича, описав этот пир, так обращается к этим самым рязанским князьям: «Что прия Каинъ от бога, убивъ Авеля, брата своего <...> или вашь сродникъ оканый Святѣопълкъ, избивъ братью свою?»

Обличение этого страшного злодеяния было опять-таки как бы освещено предчувствием страшной катастрофы Батыева нашествия. Рассказчик замечает про рязанского князя Ингваря: «Ингворъ же не приспе приехати к нимъ: не бе бо приспело время его». Когда же оно «приспело»?! Это время явилось с нашествием Батыя. Следовательно, писалась эта летописная повесть о сваре рязанских князей уже после национальной катастрофы.

Перу того же рязанского летописца, который описал преступление Глеба и Константина, принадлежит и первый летописный вариант «Повести о разорении Рязани Батыем» в 1237 году. Тот же рязанский летописец, что описал усобицы, описал и гибель старой могущественной Рязани под ударами войск Батыя... Рассказ этот, принадлежащий рязанцу, читается сейчас в Новгородской первой летописи. Он был первым вариантом той замечательной «Повести о разорении Рязани Батыем», которая представляет сейчас одно из лучших произведений древней русской литературы и о которой мы будем еще говорить в дальнейшем.

Есть принципиальное различие между нашествиями половцев и нашествием Батыя. Половцев и орды Батыя не следует смешивать и рассматривать как явление одного и того же порядка. Половцы выступали то как враги, то как союзники и родичи русских князей (впрочем, только по женской линии: русские князья женились на половчанках, но русские княжны не выходили замуж за половецких ханов). В какой-то относительной мере половцы были вовлечены в круговорот княжеских распрей, становились их «внутренними участниками».

Появление орд Чингисхана, а затем Батыею было явлением совсем другого характера. Это был враг куда более страшный, чем половцы. Не случайно, что испуганные половцы в первый момент бросились к русским князьям за помощью. Они имели основание надеяться на эту помощь и не ошиблись. Русские вышли на помощь своим врагам и союзникам одновременно, так как понимали различие между половцами и монголо-татарами.

Последствия нашествия монголо-татарских орд для русской культуры были в полном смысле катастрофическими. Исчезли целые разделы ремесел, ибо монголо-татары уводили в плен прежде всего ремесленников. Исчезли города, подобно старой Рязани, и возрождать их пришлось уже на других местах.

В литературе произошло почти то же, что произошло во всей русской культуре в целом. Рукописи сгорали вместе с городами и монастырями. Многие произведения домонгольской поры исчезли совершенно (даже житие основателя Киево-Печерского монастыря Антония не сохранилось). Литература сжалась тематически, сжалась в своем трагическом и эмоциональном единстве. И это сжатие не было признаком ее ослабления. Так могло только казаться. Накопленный за предшествующие века литературный опыт не пропал даром. Мы увидим в последующем, какую огромную роль он сослужил. Он сослужил ее в пору возрождения русской культуры — непосредственно перед Куликовской битвой, когда Русь готовилась к решительной борьбе за свою независимость, и после Куликовской битвы, когда Русь испытала на себе веяния Предвозрождения. Это было как бы сжатием силы. Литература накапливала силы. Почти столетие она находилась в этом состоянии внутреннего титанического напряжения. В чем состояло это напряжение — и надлежит нам сейчас рассмотреть. Увидеть его далеко не просто.

Единство русской литературы на всем пространстве Руси от Новгорода на север до Киева на юге и от Владимира и Ростова на северо-востоке до Галича и Волыни на юго-западе сказалось особенно отчетливо в повестях о нашествии монголо-татар, и прежде всего — в уже упоминавшихся нами в начале этой статьи повестях о Калкской битве 1223 года.

В Новгородской первой и в Лаврентьевской летописях сохранилась одна из таких повестей, и замечательно, что монголо-татары рассматриваются в ней как общие враги всех дотоле известных русским восточных народов — половцев, ясов, обзев (грузин), касогов. Жестокость нового врага подчеркивается рассказом о том, как связанных князей удавили, уложив под доски, на которые сами татары сели обедать, чтобы

изобразить тем самым свое полное равнодушие к страданиям врагов.

Другой рассказ о Калкской битве читается в Ипатьевской летописи в составе «Жизнеописания Даниила Галицкого» и подчеркивает мужественное поведение Даниила, не чуявшего на себе ран в битве.

Более поздний рассказ о Калкской битве в Новгородской четвертой летописи делает ее участниками богатыря Александра Поповича и других «богатырь 70», убитых в битве.

Повести о Калкской битве объясняют поражение русских «недоумением» русских князей, действовавших несогласованно и эгоистично. Одним из главных виновников поражения автор повести считает киевского князя Мстислава, который не помог другим русским князьям, когда обратившиеся в бегство половцы «потыпташа бежаще станы русскихъ князь».

Во всех повестях о Калкской битве говорится о том, что поражение русских явилось следствием недостатка единства русских князей, и свидетельствуется появление врагов «из невести». Последнее не менее важно, чем первое. С точки зрения книжных людей Древней Руси, враждебность таинственна и непонятна. Враги находят на Русь из «страны незнаемой». Напротив того, мир добрый — это мир, хорошо известный, мир упорядоченного строя, мир законного престолонаследия и взаимной уступчивости князей.

Поэтому междоусобицы князей сами являются следствием отсутствия порядка в общественной жизни и открывают ворота на Русскую землю неведомым народам. Вражда князей — предвестие враждебного завоевания, само же враждебное вторжение неведомых народов — вестник конца мира.

Одержав победу над соединенными силами половцев и русских, монголо-татары, как мы уже говорили, удалились и вновь появились под предводительством хана Батыя в 1237 году. Это второе пришествие неведомых и жестоких врагов было куда более ужасно.

В первом из княжеств, подвергшемся страшному разгрому ордами Батыя, было создано и наиболее значительное произведение об этом нашествии — цикл повестей, связанных с иконой Николы, находившейся в момент нашествия в небольшом рязанском городе Заразске (с XVII в. Зарайске).

Нашествие Батыя застигло Рязанское княжество в тот момент, когда, казалось бы, приумолкли усобицы рязанских князей, когда сгладились и отношения Рязани с соседним Владимирским княжеством. На рязанском столе сидел Юрий Ингоревиич, шесть лет пробывший в заключении во Владимире при Всеволоде Юрьевиче, но уже давно отпущенный его сыном

Юрием Всеволодовичем. Он был чист от обвинений в интригах против своих же младших рязанских князей и ничем не нарушил за последние годы добрых отношений с соседним Владимирским княжеством. Но ни владимирские, ни черниговские князья не пришли ему на помощь, когда войска Батия подошли к пределам Руси и вторглись в Рязанское княжество. Положение на Руси было почти то же, что и при авторе «Слова о полку Игореве», с тем только различием, что теперь последствия разъединения оказались во сто крат тяжелее. Сильнейший князь северо-восточной Руси — Юрий Всеволодович Владимирский, сын того самого великого князя владимирского Всеволода, обращаясь к которому за помощью, автор «Слова о полку Игореве» писал, что он может «Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти», не внял мольбам рязанских князей, не пошел им на помощь.

Монголо-татары страшной лавиной прошли по Руси, и не к кому было уже обращаться с укорами и призывами к прекращению усобиц. Эти призывы вновь раздались позже, спустя полтора столетия. И тогда вновь зазвучала публицистическая лирика «Слова о полку Игореве» в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище». Теперь же на разоренной Рязанской земле создан цикл произведений, в котором упреки князьям за их «недоумение» (неразумие) были умерены похвалой им и всему прошлому Рязанской земли, а публицистическая направленность повествования смешалась с плачем о погибших. Но никогда до того ни одно произведение не было исполнено такой веры в моральную силу русских бойцов, в их удал, отвагу, стойкость и преданность родине, как тот единственный цикл, который сохранился от всей, очевидно немалой, рязанской литературы. Созданный на пепелище, он сохранил тем не менее тот великолепный «пошиб» письма и точность стилистического чекана, по которым опознается не только личная одаренность, но и принадлежность целой группы авторов, работавшей над его созданием, к высокой школе мастерства.

Речь идет о своеобразном своде различных произведений, составлявшемся и разновременно пополнявшемся в течение нескольких веков при церкви Николы в Заразске. Здесь, в составе этого свода, многократно переписывавшегося и расходившегося по всей Руси во множестве списков, читаются «Повесть о иконе Николы Заразского», родословие служителей Николы, из поколения в поколение, вплоть до XVII века, отправлявших церковные службы в заразской церкви Николы, знаменитая «Повесть о разорении Рязани Батыем» — одно из лучших произведений древнерусской литературы, «Пох-

вала роду рязанских князей» и «Коломенское чудо» — рассказ о чуде от иконы Николы, произошедшем значительно позднее — в 1522—1531 годы.

В основе первой повести лежит распространенный сюжет о чудесном переходе христианской святыни из одной страны в другую в результате угрозы завоевания или божественного покровительства новому местопребыванию именно этой святыни. Древнейший обзор такого рода сюжетов о переносе святыни принадлежит автору одной из переработок Рязанского свода в первой половине XVII века. Называется этот обзор: «О таковых же преславных чудесах и знамении и прехождении от места на место, от страны во страну и от града во град в божественном писании в различных повестях много о святых иконах повествуют...» Давая затем едва ли не самый полный список всех повестей на тот же сюжет — перенесения святынь с места на место, — автор этой статьи рассматривает повесть как пример традиционного жизненного положения: так, по его мнению, всегда бывает перед «казнию божиею».

В повести о перенесении иконы Николы из Корсуни в Рязанскую землю больше жизненной, исторической правды, чем может показаться с первого взгляда. В форму «чуда» в ней облечено жизненно реальное, историческое содержание. И далеко не случайными оказываются в ней многие детали.

Почему же, в самом деле, так настойчиво «гнал» Никола своего служителя со своею иконою из Корсуни, почему выбрал для своего нового местопребывания именно Рязань? Гнал служителя, конечно, не Никола, — гнали половцы, пришедшие в движение после Калкского поражения, вспугнутые монголо-татарами, наполнившими причерноморские степи и отрезавшими Корсунь от Руси. Никола «запрещает» своему служителю идти через опасные половецкие степи и указывает ему путь вокруг Европы через Рижский залив, Кесь и Новгород на Рязань. Рязанское княжество не случайно также было выбрано для нового места пребывания иконы Николы. Русское население на берегах Черного моря издавна было связано с Черниговским и Рязанским княжествами. Тесные связи Рязани с Причерноморьем определялись вхождением Чернигова и Муромо-Рязанской земли в единое владение Святослава Ярославича. Правнук Святослава Ярославича новгород-северский князь Игорь Святославич в своем знаменитом неудачном походе на половцев ставил себе целью достигнуть далекой Тмуторокани на Таманском полуострове. Русское население было довольно обильным и в Тмуторокани и в Корсуни еще в XIII веке. Впрочем, в первой половине XIII века эти древние связи настолько

ослабели, что служитель иконы, отказываясь выполнять требование Николы идти в Рязанскую землю, мог сослаться на свое незнание этой земли.

Вторая повесть Рязанского свода — о разорении Рязани Батыем — и наиболее значительна по размерам, и наиболее ценна в литературном отношении. Это типичная воинская повесть — одно из лучших произведений древней русской литературы. В ней нет открытого вымысла, но есть уже художественное обобщение, приведшее к некоторому искажению исторических событий — искажению, которое было вызвано тем, что в народной памяти ко времени написания повести сложились уже свои представления о гибели независимости Руси.

Когда, явившись на пограничную со степью реку Воронеж, Батый прислал к рязанским князьям «послов бездельных» с требованием уплатить «во всем десятину», рязанский князь Юрий Ингорович созывает на совещание князей Рязанской земли. В этом совещании, по повести, принимают участие живые и мертвые... Многих из созываемых Юрием князей к 1237 году уже не было в живых: Давыд Муромский умер в 1228 году, Всеволод Пронский — отец Кир Михаила Пронского, упоминаемого в дальнейшем, — умер еще раньше, в 1208 году. Созывает Юрий и Олега Красного, и Глеба Коломенского (последний, впрочем, упоминается не во всех списках и по летописи не известен). Родственные отношения всех этих князей эпические сближены, все они сделаны братьями. В последовавшей затем битве все эти князья гибнут, хотя об Олеге Красном (на самом деле не брате, а племяннике Юрия) известно, что он пробыл в плену у Батыя до 1252 года и умер в 1258 году. Это соединение всех рязанских князей — живых и мертвых — в единое братское войско, затем гибнущее в битве с Батыем, вызывает в памяти эпические предания о гибели богатырей на Калке, записанные в поздних летописях XV—XVI веков. Там также были соединены «храбры» разных времен и разных князей (Добрыня — современник Владимира I и Александр Попович — современник Липицкой битвы 1212 г.). И здесь и там перед нами, следовательно, результат общего им обоим эпического осмысления Батыева погрома как общей круговой чаши для всех русских «храбров». Образ общей смертной чаши много раз как рефрен настойчиво повторяется в повести. О смертной чаше, испить которую пришел перед битвой черед князьям и дружине, говорят перед боем князья; он развивается в образ боя-пира; им подчеркивается равенство всех: «...и не оста во граде ни единъ живых,— говорится о Рязани,— вси равно

умроша и едину чашу смертную пища. Несть бо ту ни сто-нящю, ни плачущю. И ни отцу и матери о чадех, или чадом о отци и матери, ни брату о брате, ни ближнему роду, но вси вкупе мертви лежаща».

Круговая общая чаша смерти для тех, кто не признавал равенства в политической жизни, кто стремился к обособлению и междоусобной вражде, — такова доля русских князей. Согласно воззрениям Древней Руси за «неустройство сущих властей» страдает весь народ: «...отья господь у нас силу, а недоумение и грозу и страх и трепет вложи в нас за грехы наша» — такова основная мысль исторической литературы XIII века.

Чинное, неторопливое и одновременно лаконичное изложение событий в «Повести о разорении Рязани Батыем» исполнено сознанием значительности всего совершающегося. Детали интересуют автора только в тех случаях, когда они о чем-то свидетельствуют. Во всем остальном динамичность повествования лишена суетного внимания к мелочам. Монументальность повести производит тем большее впечатление, что сама повесть относительно невелика. Все рассказываемое в ней «объемно», события крупны и значительны, но рассказ скуп и краток.

Создавалась повесть как свод и сама входила в еще больший по размерам свод рязанских повестей, где заняла центральное место.

В своем наикратчайшем виде повесть читается как своего рода выдержка из рязанского летописания Ингваря Ингореви-ча, попавшая в Новгородскую первую летопись XIII века. Мы уже об этом говорили выше. Затем она стала обра-стать легендами по мере того, как детали событий утра-чивались в памяти. Уже в XIV веке повесть была дополнена словами плача Ингваря Ингоревиича, а в XV веке в повесть была включена замечательная историческая песнь о Евпатии Коловрате. Сама повесть дошла до нас во многих списках, из ко-торых древнейший — не ранее конца XV века. Но движе-ние повести можно проследить по отражениям ее в различных московских исторических повестях — о нашествии Тохтамыша, в «Слове о Дмитрие Ивановиче Донском», в «Задонщине» и в «Сказании о Мамаевом побоище».

Однако публицистическая нота в «Повести о разорении Рязани Батыем» выражена значительно слабее, чем, скажем, в «Слове о полку Игореве». Автор «Слова» имел возмож-ность обращаться к живым князьям — своим современни-кам, он звал их к единению перед угрозой грядущей опасности утраты независимости Руси. Автор же «Повести о разорении Рязани» стоял уже перед лицом совершившегося.

Он обращался к мертвым князьям, уже испившим общую чашу и тем как бы искупившим своею кровью, пролитой за Русскую землю, преступления усобиц. И это различие особенно отчетливо выступает в «Похвале роду рязанских князей».

С точки зрения литературной отделки, тонкости литературного рисунка — «Похвала» эта своего рода образцовое произведение, «шедевр», какой средневековые ремесленники обязаны были выполнить перед вступлением в цех для доказательства своего мастерства. Ее сжатость, отточенность формулировок, ритм синтаксических оборотов, напоминающий повторяемость орнаментальных мотивов, позволяет сравнивать ее с произведениями столь развитого на Рязани ювелирного искусства. Стилистическая выделка этой краткой «Похвалы» доведена до медальонной чеканности. Только при внимательном наблюдении можно заметить некоторые швы и спайки, допущенные в этом поразительном по законченности групповом портрете рязанских князей: «плоти угодие не творяще», но и «на пированье тщивы», «взором грозны», но и «сердцем легкы».

И вместе с тем, несмотря на всю идеализированность и обобщенность этого группового портрета, мы узнаем в нем все же именно рязанских князей. «К бояром ласковы», «до господарских потех охочи», «на пирование тщивы»: так писать нельзя было, скажем, о князьях владимирских, упорно и сурово боровшихся со своим боярством. Напротив, беспокойные, своевольные и «резвые» на походы, потехи и пиры (и скорые на кровопролитие — именно на этих пирах), — рязанские князья как нельзя более подходили к этим чертам их характеристики. Не случайно автор «Похвалы» фантастически и неправильно возводит их происхождение к Святославу Ольговичу Черниговскому. «Хороброе Ольгово гнездо» черниговских князей имело много общих черт с гнездом князей рязанских.

Этот идеализированный портрет рязанских князей мог создаться только в такую эпоху, когда ушла в прошлое и была смыта кровью, пролитой за родину, память о многих преступлениях одной из самых беспокойных, воинственных и непокорных ветвей рода Владимира Святославича Киевского.

Вот почему, прочтя эту «Похвалу» роду рязанских князей, мы тут только начинаем понимать всю святость для ее автора земли-родины, которая, впитав в себя пролитую за нее кровь храбрых, хотя и безрассудных, рязанских князей, так начисто смогла их освободить от всех возможных укоров за ужасы феодальных раздоров. Мы живо чувствуем в этой «Похвале» роду рязанских князей тоску ее автора по былой независимости родины, по ее былой

славе и могуществу. Эта «Похвала» роду рязанских князей обращена не к Олегу Владимировичу, «сроднику» знаменитого Олега Гориславича и братоубийцы Святополка Окаянного, и не к какому-либо другому из рязанских князей — она обращена к рязанским князьям как к представителям родины. Именно о ней — о родине — думает автор, о ее чести и могуществе, когда говорит о рязанских князьях, что они были «к приеждим привѣтливы», «к посолником величавы», «ратным (врагам.— Д. Л.) во бранех страшения ивляеся, многие враги, востаючи на них, побежаща, и во всех странах славна имя имяша». В этих и во многих других местах «Похвалы» рязанские князья рассматриваются как представители Русской земли, и именно ее чести, славе, силе и независимости и воздает похвалу автор. С этой точки зрения, «Похвала» близко связана — и общим настроением скорби о былой независимости родины, и общей ритмической организованностью — с другим замечательным произведением того же времени — со «Словом о погибели Русской земли».

«Слово о погибели» прославляет и оплакивает Русскую землю, какой она была до поражения русских. Это плач и слава одновременно, но в отличие от «Похвалы роду рязанских князей» оно посвящено не только русским князьям, но и всей Русской земле — ее былой красоте и богатству.

В науке существуют две точки зрения на этот поэтический памятник: согласно одной «Слово о погибели» — своеобразное введение к «Житию Александра Невского», согласно другой — это самостоятельное произведение, но, по-видимому, правы обе стороны. Мы видели, что произведения часто строились как своды других, предшествовавших произведений. «Слово о погибели» в обоих сохранившихся списках предшествует одной из редакций «Жития Александра Невского», следовательно, оно фактически служило предисловием, но было ли оно с самого начала написано как предисловие — это сомнительно. Скорее всего оно, как и «Похвала роду рязанских князей», было включено в состав того свода произведений, которыми стало обраться «Житие Александра».

Постоянные вставки в предшествующие произведения, соединение различных повестей в единый свод показывает, что историзм русской литературы этого времени вынуждал к открытой форме. Интерес к истории был так силен, что преобладающей потребностью в законченности и цельности повествования. Произведение на историческую тему получало продолжение, росло вместе с развитием самой истории, как бы следовало за событиями по пятам. Как и летописи, исторические повести все время устремлялись к настоящей

му — настоящему, постоянно отодвигавшемуся и поэтому вынуждавшему переписчиков и разного рода других книжников дополнять своих предшественников собственными продолжениями. Даже даты, которые имеются в «Повести о разорении Рязани Батыем» и в предшествующей ей «Повести о перенесении иконы Николы в Рязанские пределы», показывают тяготение литературы XIII века к летописной форме. Летопись стала ведущим жанром. Летопись не только сохраняла память о прошлом, но служила самосознанию настоящего. Историческое повествование становилось общенародным делом, способствуя динамизации стиля монументального историзма, который был так характерен для древней русской литературы особенно в первые века ее существования.

Киевское и владимирское летописание прекратилось, ибо в развалинах лежали и самые города, зато два центра летописания развивались особенно усиленно — это Новгород и Ростов. Первый взял на себя главные трудности в защите северо-западных границ, второй в XIII веке возглавлял внутреннее сопротивление чужеземным захватчикам и стал центром первого против них восстания 1262 года.

Замечательная повесть о взятии Владимира войсками Батыя, читающаяся сейчас в Лаврентьевской летописи, была составлена, по предположениям А. Н. Насонова, именно в Ростове, хотя главным героем ее сделан владимирский князь Юрий Всеволодович.

Повесть не первоначальна, она составлена по различным источникам — один из которых ростовский, а другой, может быть, принадлежит перу спасшегося от гибели владимирца. Вот почему рассказ о взятии Владимира войсками Батыя читается с многочисленными дублировками, дважды гибнет князь, дважды умирает епископ. Но картина мужественной обороны и жестокого истребления населения дана в этом рассказе с потрясающей силой.

Ростовское летописание было явно связано с ростовской княгиней Марьей — вдовой погибшего в борьбе с татарами ростовского князя Василька Константиновича и дочерью замученного в 1246 году в Орде черниговского князя Михаила Всеволодовича. Вот почему ростовское летописание Марьи не носит только личный характер, связанный с ее семейными интересами, но поднимает большие общественные вопросы своего времени и приветствует восстание против монголо-татар: «Избави богъ от лютаго томленья бесурьменьскаго люди Ростовския земля: вложи ярость въ сердца крестьяномъ, не терпяще насилья поганыхъ, изволиша вещь, и выгнаша из городовъ, из Ростова, из Володимеря, ис Суждаля, изъ Ярославля».

Движение против монголо-татар, поднятое и руководимое из Ростова, было подлинно народным. Однако нельзя не видеть, что борьба за независимость находила себе сочувствие и в княжеской среде.

Ростовский свод, составленный после того, как начались восстания, весь проникнут идеей необходимости крепко стоять за веру и независимость родины. Именно эта идея определила собой и содержание, и форму летописи. Летопись Марьи соединяет в своем составе ряд рассказов о мученической кончине русских князей, отказавшихся от всяких компромиссов со своими завоевателями. Рассказы эти резко выделяются и своим объемом, и своим стилем в ростовском летописании Марьи. Враги много «нудили» Василька Константиновича стать на их сторону, «быти въ их воле и воевати с ними», но Василько не покорился их «безаконью», остался верен родине и был убит. Так же точно остался верен родине великий князь Юрий. Монголо-татары присылали к нему послов, предлагая мир, но Юрий предпочел славную брань постыдному миру. Не поклонился огню и болванам (идолам) в ханской ставке и князь Михаил Черниговский, убитый в Орде в 1246 году. Мученически умер и рязанский князь Роман. Враги заткнули ему рот, резали по суставам; с уже мертвого князя враги содрали кожу на голове, а голову отрубили и воткнули на копье. Роман — «новый мученик», описание его кончины сопровождается горячим обращением к русским князьям следовать его примеру: «О възлюбленнии князи рускийи, не прелщайтеся пустошною и прелестною славою свѣта сего, еже хужьши паучины (слабее паутины. — Д. Л.) есть и яко стѣнь (тень. — Д. Л.) мимо идеть; не принесосте бо на свѣтъ сей ничто же, ниже отнести можете» и т. д. Князь Роман ставится в пример русским князьям: мученичеством он приобрел себе царство небесное вместе со «сродникомъ своимъ Михаилом (Черниговским)». Литературный образец всех этих некрологов князей-мучеников отыскивается отчасти в «Житии Бориса и Глеба». Культ этих святых братьев-мучеников широко поддерживался княгиней Марьей, назвавшей даже в честь их своих сыновей Борисом и Глебом. «Житие Бориса и Глеба» оказало влияние и на составленное при ней житие ее отца — Михаила Черниговского. Все позднейшие рассказы о князьях, замученных монголо-татарами, в той или иной степени подвергались воздействию «Жития Михаила Черниговского» и других житийно-некрологических статей летописного свода Марьи. Но вместо князя-преступника — Святополка Окаянного — в них выступают в роли мучителей чужеземные враги, и мученичество князей становится мученичеством за независимость родины.

Идея свода княгини Марьи не была идеей чисто политической. Свод был лишен ясной исторической концепции. Он ставил себе по преимуществу нравоучительную цель. Борьба с чужеземным игом воспринималась прежде всего как нравственно-религиозная. Вот почему свод княгини Марьи так легко превращался в собрание некрологов, выдвигая идеалы княжеской жизни в мученичестве за веру. Но и такая задача в условиях, когда все было полно ужасом перед чужеземными захватчиками, когда, по словам летописца, и хлеб не шел в рот от страха, имело большое значение, воспитывая стойкость и непримиримость, вселяя уверенность, что внешней силе завоевателя можно противопоставить силу духа.

Мученичество и смерть мирили народ с теми из князей, которые сопротивлялись завоевателям. Вот почему и владимирский князь Юрий (Георгий)¹ Всеволодович, погибший в битве с монголо-татарами, который далеко не был идеальным князем, подвергся идеализации в народной легенде о невидимом граде Китеже. Об отказе Юрия (Георгия) Всеволодовича прийти на помощь рязанским князьям зло говорит «Повесть о разорении Рязани Батыем»: «Князь великий Георгий Всеволодович Владимирской сам не пошел и на помощь не послал, хотя о себе сам сотворити брань з Батыем». Кроме того, Юрий известен длительной борьбой за наследие его отца Всеволода Большое Гнездо со своими братьями — Константином и Ярославом. Замечательный исследователь русского летописания А. Н. Насонов пишет о переработанном тексте «Повести о взятии Батыем Владимира» в Лаврентьевской летописи: «Переработка делалась с целью показать читателю братское единение князей, дать образцы княжеского согласия и взаимной любви. В редакции Лаврентьевской летописи вражда, длившаяся с 1211 по 1216 г., почти полностью замалчивалась»². При этом всячески идеализировался Юрий. Так, например, Юрий и Ярослав, приехав во Владимир по смерти Константина, будто бы плакали по нем «плачем вельим, аky по отци и по брате любимем, понеже вся имеахуть ѿ (его. — Д. Л.) въ отца место». Имелась в Лаврентьевской летописи и подробная характеристика-некролог Юрию под 1239 годом.

Идеализация князей, павших в борьбе с врагами Русской земли, не была единичной особенностью Лаврентьевской летописи. Мы видели такую же идеализацию в «Повести о разорении Рязани Батыем» и в «Похвале роду рязанских кня-

¹ «Юрий» — сокращение имени «Георгий» через ряд промежуточных форм — «Гюргий», «Гюрий».

² Насонов А. Н. История русского летописания: XI — начало XVIII века. М., 1969, с. 193.

зей». В известной мере она была даже общенародной. И это легко показать на той же истории с владимирским великим князем Юрием.

Дело в том, что героем древнейшей основы Китежской легенды сделан именно Юрий. Его гибель в неравном бою послужила основой в разное время возникавших и переделывавшихся и так или иначе отражавшихся в письменности рассказов о том, что есть такие места, куда не проникли враги и куда может попасть только чистый сердцем человек, внутренне не причастный злу и не вступивший в союз с врагами. Сделать главным героем такой легенды Юрия могла только всеобщая вера в то, что Юрий не запятнал себя ни в чем своим прежним поведением.

В том, что народные легенды о Юрии возникали очень рано и что какие-то первоначальные версии «Китежской легенды» существовали уже в XIII веке, убеждает один сравнительно короткий текст Новгородской первой летописи, древнейшая рукопись которой относится к XIII веку. Согласно этой летописи Юрий бежал в сторону Ярославля и о смерти его существуют разные рассказы: «...бог же весть како скончася: много бо глаголють о немъ инии». Не приходится сомневаться, что из этих народных рассказов и выросла знаменитая Китежская легенда, согласно которой, потерпев поражение в битве на Сити, Юрий с остатками своего войска очутился в невидимом граде Китеже, войти в который могут только чистые сердцем люди, не запятнавшие себя союзом с врагом. Моральное значение этой легенды верно почувствовал в конце XIX века Н. А. Римский-Корсаков, сделав ее сюжетной основой своей оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и девице Февронии». Жизнь Февронии относится к совсем иной эпохе, но и в ней есть та моральная основа, которая позволила Н. А. Римскому-Корсакову и либреттисту оперы В. И. Бельскому соединить обе легенды в один музыкальный рассказ: вышедшая из крестьянской среды муромская княгиня Феврония не уступает преследованиям спесивых боярских жен и уходит из Муром, уводя с собой своего князя и оставив в Муроме все земные блага.

Представление о существовании невидимого, избегнувшего завоевания, безгрешного града, или даже целой страны, существовало во все века народного угнетения и способствовало впоследствии переработкам этих представлений в легендах о счастливом Беловодском царстве¹.

¹ Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды. М., 1967, с. 239—290.

По какому пути могло бы пойти развитие русской литературы в XIII веке, если бы Русь не была захвачена монголо-татарами, отчасти показывает Ипатьевская летопись — вернее, лежащие в ее основе галицко-волынские произведения XIII века.

Монголо-татарское нашествие мало отразилось на положении Юго-Западной Руси. Она сохранила некоторую самостоятельность, свободу общения с Византией и западными странами. Литературное развитие продолжалось в Галицко-Волынской Руси по предустановленному пути. Путь этот вел к развитию личностного начала в литературе и к появлению обширного связанного исторического повествования. То и другое нашло свое выражение в создании жизнеописаний галицких и волынских князей — жизнеописаний пышных, подробных и в той или иной мере светских.

Список Ипатьевской летописи относится к середине XV века. Он был переписан, как предполагал А. Н. Насонов, с летописи, составленной в Турово-Пинском княжестве на основе, с одной стороны, Киевского летописного свода, доведенного до 1200 года, а с другой — своеобразных жизнеописаний галицких и волынских князей.

Первая часть Галицко-Волынского раздела Ипатьевской летописи после 1200 года, на котором кончалась Киевская летопись Рюрика Ростиславича, может быть с полным правом названа «Жизнеописанием Даниила Галицкого». Оно носит своеобразную, не привычную для предшествующего периода форму связанного биографического повествования. Замечательно, что в нем, как отметил еще Н. М. Карамзин, не было обязательной для большинства летописей хронологической канвы, дат описываемых событий. Указания «в лето 6712» или «в лето 6713» и т. д. были вставлены значительно позднее, по-видимому, самим книжником, писавшим Ипатьевский список, так как в другом списке той же Турово-Пинской летописи — Хлебниковском — даты эти отсутствуют. Сами даты, вставляемые позднейшим летописцем, не заслуживают доверия. Первая же дата Галицко-Волынских известий представляет собой неверный домысел позднейшего летописца.

В самом деле, галицко-волынское летописание, первую часть которого составляло «Жизнеописание князя Даниила Галицкого», было механически присоединено к Киевскому своду 1200 года. Последнюю дату Киевского свода был 1200 год, поэтому в качестве первой даты для следующего за Киевским сводом изложения составитель Ипатьевского списка взял 1201 год, обозначив им смерть Романа Галицкого. Между тем польские источники называют иную, и при этом совершенно точную дату смерти Романа — 19 июня 1205 года.

Как можно думать на основании внимательного анализа текста, первоначальная последовательность рассказа устанавливалась исключительно связующими фразами вроде следующих: «времени же минувши», «по тех же летех» и т. д. Жизнеописатель то забегал в своем рассказе вперед, то упоминал о событиях более ранних, не разбивая свое повествование никакими хронологическими рамками.

Автор называет свое произведение хронографом, и действительно литературная манера автора теснее всего примыкает к типу византийских хронографов, связно описывавших историю царствований византийских императоров.

«Жизнеописание Даниила Галицкого» как литературное произведение целиком посвящено прославлению его и его дела. Отец Даниила — Роман — был храбрым воином. Его выразительная характеристика помещена в начале жизнеописания Даниила. Сам Даниил был «дерзъ и храборъ, от главы и до ногу его не бѣ на немъ порока». Даниил, «спешаше и тосняшеся на войну», стремился углубиться в землю врага и обогатиться полоном и добычей. Его деяния сравниваются с деяниями Святослава Храброго и Владимира Святого. Даниил был первым русским князем, повоевавшим «землю Чешскую»; никто, кроме Владимира Святого, не входил «толь глубоко» в Польскую землю. Он «измлада» не давал себе покоя в борьбе с внешними врагами Руси. Его войско одним видом вызывало удивление иноземцев. Стоит в этом отношении обратить внимание на парад русских войск, описание которого попало в Ипатьевский список под 1251 годом. Здесь описывается сбруя лошадей, светлые латы и оружие воинов, а главное — удивительный наряд самого Даниила: сапоги зеленой кожи и золотые плоские кружева, которыми был ошит его кожух из греческой кожи.

Автор жизнеописания подробно следит за деятельностью своего князя, дает развернутые картины его городского строительства, всюду подчеркивая любовь к нему населения. Жители Галича устремляются к нему, как дети к отцу, как пчелы к матке, как жаждущие воды к источнику. Подробно приводит автор жизнеописания речи Даниила, полные высокого рыцарского представления о чести воина и чести родины, многие из которых представляют собой образцы высокого ораторского искусства. Автор следит за ратными подвигами Даниила, описывает его участие в боевых схватках. Не раз обнажает меч Даниил, не раз ломает свое копье (т. е. лично начинает битву), не раз оказывается на волосок от смерти. В сражении на Калке Даниил в пылу битвы «не чуял» на себе ран, и только вода, которую он выпил, заставила его почувствовать их боль. Другой раз конь

вынес его из смертельной опасности, конец вражеского меча успел отхватить кусок шерсти на «стегне» у коня.

Как в личном летописце (автобиографии) Владимира Мономаха, жизнеописатель Даниила рассказывает не только о его ратных трудах, но ведет счет и его «трудам» на «ловех» (охотах). Автор скорбит об унижении Даниила в ханской ставке, радуется его успехам, отмечает его болезни и т. д. В тоне резкого раздражения говорит автор о врагах Даниила — боярах. Одного из них, Жирослава, он называет «льстивым», он «лукавый льстѣць», его язык «лѣжею питаешся». Устами Даниила автор проклинает Жирослава в самых патетических выражениях: «Проклят ты буди, стоя и трясыся на земли... да не будеть ему пристанька во всихъ земляхъ, и рускихъ и во угорьскихъ (венгерских. — Д. Л.), и ни в ких же странахъ, да ходить шатайся во странахъ, желание брашна (еды) да будеть ему, вина же и олу поскуду да будеть ему, и да будеть двор его пуст и в селе его не будеть живущаго...» Автор сатирически изображает бояр. У льстивого боярина Семейонка лицо было красное, как у лисицы. Боярин Доброслав, когда ехал на коне, то в гордости не смотрел на землю. Малодушные изменники-бояре, которые вынуждены были сдать Галич Даниилу, выходят к нему со слезами на глазах, с ослабленными лицами, облизывая губы, Автор описывает, как подлые заговорщики, «сидя в думе» и совещаясь, как бы убить Даниила, были испуганы его братом Васильком. Молодой Василек вышел к ним и обнажил на одного из слуг «мѣчь свой играя», а у другого, играя же, вырвал щит. Заговорщики, решив, что они открыты, бежали, подобно Святополку Окаянному. Автор описывает, как бояре оскорбляли Даниила, как один из них на пиру выплеснул чашу вина ему в лицо и т. д.

Таким образом, автор жизнеописания Даниила ставил себе задачи не только прославления Даниила, но и пропаганды сильной княжеской власти и необходимости борьбы с боярством.

В отличие от владимиристо-суздальского летописания стиль жизнеописания Даниила в основном светский, в нем мало церковного. Автор жизнеописания — начитанный дружинник, скорее всего, это «печатник» князя Кирилл, ставший затем митрополитом, или кто-то из его окружения. Он пользуется песнями об отце Даниила — Романе, упоминает «песнь славну», которую пели Даниилу и Васильку при возвращении из похода на ятвягов. Отзвуки какой-то половецкой песни на тему о любви к родине содержит самое начало жизнеописания. Поэтической темой этой песни пленялись впоследствии не раз русские поэты: это песнь о степной

траве «евшан» (полыни), запах которой заставил хана Отрока вернуться на родину. К фольклору, а также отчасти к византийской хронографии восходит в жизнеописании широкое пользование эпитетами: «борзый конь», «острый меч», «светлое оружие» и многое другое.

Установленное академиком А. С. Орловым¹ влияние компилятивного хронографа на Галицкую летопись имеет важное принципиальное значение. Княжеская власть стремилась найти опору своему возрастающему значению в византийской культуре. В Галицкой Руси это византийское влияние облегчалось при Данииле еще и тем, что Галиция имела общие с Византией границы по Дунаю и издавна находилась с нею в союзных отношениях. Сильные князья стремятся подражать византийским императорам и вводят у себя придворную хронографию, отчасти сходную с византийской. В Византии был распространен обычай, по которому император назначал при жизни историографа, в обязанность которого входило составлять жизнеописание своего монарха. Император сам следил за работой такого историографа. Этот последний свободно пользовался его архивами, записывал многое с его слов и заканчивал свою работу уже после смерти императора. Но жизнеописание Даниила прервалось до его смерти в 1264 году — где-то около 1255—1256 годов. Поводом к составлению жизнеописания Даниила могло быть получение им в 1255 году от римского папы титула короля. Настойчивость, с какою восхваляется могущество Романа и Даниила, должны были утвердить законность титула «короля», даже в глазах тех, кто не признавал права папы даровать титул «короля» русским князьям.

Можно предполагать, что подобные же жизнеописания были составлены в Галицко-Волынской Руси для Владимира Васильковича, Мстислава Даниловича и Льва Даниловича. Все они читаются в Ипатьевской летописи и показывают, как утвердилась в Юго-Западной Руси новая манера исторического повествования. Особенно интересно жизнеописание Владимира Васильковича с подробным и красочным рассказом о его смерти и предсмертной политике его, завещание и заключительная похвала, в которой автор использовал слово митрополита Илариона «О Законе и Благодати», стремясь словами Илариона восхвалить его просветительную деятельность среди вновь крещеных народов.

Галицко-Волынская летопись поразительна по энергии повествования. Меньше одной страницы посвящено в ней опи-

¹ Орлов А. С. К вопросу об Ипатьевской летописи. — Известия Отделения русского языка и словесности АН СССР. М., 1926, т. 31, с. 93 и сл.

санию взятия Киева ордами Батыя, но что за слова отобраны, какая монументальная картина разворачивается перед нами! Кратко изложенное, описание все-таки дает яркое представление о грандиозности и трагичности происшедшего. Слова летописи приобретают былинный строй:

«Приде Батый Кыеву в силъ тажьць многомъ множествомъ силы своей, и окружи град и остолпи сила татарская, и бысть град во объдержаньи велиць. И бѣ Батый у города и отроци обсьдаху град, и не бѣ слышати от гласа скрипання тельтъ его, множества ревенія вельблудъ его, и рѣжання от гласа стадъ конь его. И бѣ исполнена земля руская ратных...»

Не менее поразителен плач летописца и всех окружающих по поводу унижения Даниила в ставке Батыя (под 1250 г.). Само это унижение описано почти как драматическая сцена с диалогом между князем и ханом, с указанием жестов и движений: «...и поклонися по обычаю ихъ, и вниде во вежю его...» Описав, как Даниил выпил «черное молоко» — «кумуз» (кумыс), летописец замечает, что на приеме у ханши Даниил пил уже присланное ему Батыем вино, и пишет: «О злѣ зла честь татарская!» И далее оплакивает унижение своего князя.

Светское «Жизнеописание Даниила Галицкого» послужило образцом для церковного «Жития Александра Невского». И именно это облегчило автору «Жития Александра Невского» задачу создания нового типа церковного жития святого-полководца. «Житие» было, по-видимому, составлено в том же кругу книжников, ибо «печатник» Даниила — Кирилл — стал митрополитом Кириллом, переехавшим на северо-восток и помогавшим Александру. Он сам, этот Кирилл, или кто-то из его окружения составил оба жизнеописания — и Даниила, и Александра. В этом убеждает множество стилистических и лексических совпадений¹. Среди других образцов для «Жития Александра» были «Александрия», «Повесть о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия, «Повесть о Троянском пленении», «Летописец вкратце» патриарха Никифора, «Девгениево деяние» и многое другое. Александр Невский сравнивается в житии с Александром Македонским, Ахиллесом, Девгением Акритом, императором Веспасианом, Иосифом Прекрасным, Самсоном, Давидом, Моисеем, Иисусом Навином. Его деяния и он сам вставлены в величественную раму мировой истории. Сам Александр Невский как бы сознает свою мировую роль и, отвечая папе римскому на

¹ См. подробнее: Лихачев Д. С. Галицкая литературная традиция в «Житии Александра Невского». — ТОДРЛ. М.—Л., 1947, т. 5, с. 36—56.

предложение принять его учение, отвечает: «Отъ Адама до потопа, от потопа до разделения языкъ, от размѣшенія языкъ до начыла Авраамля, от Авраама до проитиа Иисраиля сквозе море, от исхода сыновъ Иисраилевъ до умертвия Давыда царя, от начала царства Соломона до Августа и до Христова рожества, от рожества Христова до страсти и воскресения, от въскресения же его и на небеса възшествиа и до царства Константинова, от начала царства Константинова до перваго збора и седмаго — си вся добръ съвъдаемъ, а от вас учения не приемлем».

Как и в «Повести о разорении Рязани Батыем», в «Житии Александра Невского» рассказывается о героизме простых ратников — о шести «храбрых и сильных мужах», которые совершали подвиги в битве на Неве.

Заканчивается «Житие» описанием народного горя при известии о смерти Александра. Люди рыдали так, что и «земли потрястися». Александр сравнивается с зашедшим солнцем.

Перед нами яркая вспышка того исторического и «космического» монументализма, который был так характерен для домонгольской литературы.

Заключая свой рассказ о нашествии Батыя, новгородский летописец замечает: «Усобная же рать бываетъ от сваженія дьяволя». Это не случайно. В период монголо-татарского ига особое значение приобрели церковные проповеди с моральными наставлениями пастве или отдельным лицам — по преимуществу князьям. Вражеские нашествия и стихийные бедствия (землетресения, неурожай, наводнения и т. д.) всегда считались божьим наказанием за моральные грехи людей. Одним из популярнейших произведений было «Почуение о казнях божиих» Феодосия Печерского, часто цитировавшееся в летописях XII — начала XIII века. Однако после установления монголо-татарского ига были еще и особые обстоятельства, которые придали этим церковным наставлениям особое значение. Бесправие населения и произвол чужеземных властителей вели к мрачному моральному падению многих князей: князья добывали себе благоволение угодливиостью, уступчивостью чужеземной власти, доносами друг на друга. И все это стало жесточайшим бедствием в общественной жизни. Авторитет княжеской власти среди народа никогда еще не падал так низко. Церковь стремилась обуздать пороки паствы и отдельных князей, чтобы укрепить власть последних, а литература брала на себя заботы по возрождению павшего было общественного сознания. Стремление к моральному возрождению и сплочению охватило всю Русь.

Проповеди владимирского епископа Серапиона — живое свидетельство единства русской литературы на всем пространстве Русской земли от Киева на юге, Галицко-Волынской Руси на юго-западе и Владимиро-Суздальской Руси на северо-востоке. А вместе с тем его проповеди свидетельствуют об общем всей русской литературе отношении к страшным событиям иноземного нашествия и ига.

Серапион был до 1274 года архимандритом Киево-Печерского монастыря — монастыря, сыгравшего значительную роль в укреплении общерусского самосознания, самый патерик которого был составлен на основе переписки из двух крайних концов Русской земли — Поликарпа, жившего в самом Киево-Печерском монастыре, и Симона, жившего во Владимире. Серапиона взял с собой из Киева во Владимир митрополит Кирилл — бывший «печатник» галицкого князя Даниила. Самим Кириллом непосредственно или кем-то из его окружения, сопровождавшего его в переезде на север, как мы уже говорили, было составлено «Жизнеописание Даниила Галицкого», включенное впоследствии в состав Ипатьевской летописи, и написано «Житие Александра Невского» — одно из самых популярных произведений древнерусской литературы на всем протяжении ее существования. Кириллу принадлежит «Правило Кирилла, митрополита русского», представляющее собой литературное объединение постановлений церковного собора, происходившего во Владимире в 1274 году. Можно установить непосредственную близость по содержанию, по форме и языку между этим произведением и пятью сохранившимися проповедями Серапиона. Больше того, мы можем заметить живую связь между всеми произведениями русской литературы XIII века как в оценке событий и их причин, так и в правилах того, как следует держаться в новых условиях «томления и муки» чужеземной тирании.

Первое из поучений Серапиона написано им около 1230 года, то есть до катастрофы Руси, связанной с Батыевым нашествием. Оно, как и все другие произведения первой трети XIII века, полно предчувствий надвигающегося. Этим подтверждается тот неоспоримый для нас факт, что внешнее поражение Руси воспринималось как следствие ее внутреннего неблагополучия. И характерно, что самое мрачное из его поучений именно это первое, написанное им еще до того, как он увидел и испытал на себе все последствия длительного ига. Четыре других поучения с удивительной образностью и художественной энергией и лаконизмом говорят о иге и нашествии: гнев божий застиг людей «аки дождь съ небеси», пролитая кровь «аки вода многа землю напои», но тем не менее

он уверен, что, сохранив моральную чистоту и стойкость, не идя ни на какие сделки с совестью, «гнѣвъ божий престанеть <...> мы же в радости поживем в земли нашей».

Иго чужеземцев — это прямое следствие «вражды» князей между собой и безудержного использования труда простого населения — «несытства имения», «резоимства» (ростовщичества), отсутствия патриотизма и гражданской солидарности.

В отличие от знаменитого проповедника XII века Кирилла Туровского поучения Серапиона Владимирского просты по форме, доступны не только «преизлиха насытившейся» «сладости книжности» аудитории и читательской среды, которая была у киевского митрополита Илариона XI века, но самым широким слоям читателей и слушателей. Простота проповедей Серапиона не была, однако, следствием его собственной простоты и необразованности. Он знает сочинения Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Василия Великого и «инѣхъ святитель святыхъ, ими же вѣра утвержена бысть». Он осведомлен в событиях на Далматинском побережье Адриатики, Польши и Литвы. Он выступает против самых грубых суеверий: против расправы с теми «жонками», которым молва приписывала порчу урожая, засуху, падеж скота, мор. Он выступает против испытания водой, которое особенно упорно было принято в Новгороде и часто вело к гибели многих ни в чем не повинных людей. Он убеждает не подвергать самосуду тех, кого толпа считала виновными в чародействе, не считать, что погребение утонувших людей или самоубийц ведет к неурожаю, и многое другое.

Его проповеди отличаются ясностью мысли, ритмической организацией речи, особой лиричностью. В них чувствуется уже приближение той эпохи, когда эмоциональность широко овладеет литературой и обращение к человеческой психологии станет характернейшим явлением не только литературы, но и изобразительного искусства.

К 1281 году относится и «Послание Иакова-чернорица к ростовскому князю Дмитрию Борисовичу». Необходимо отметить, что духовники (т. е. священники, которые исповедовали мирян и отпускали им грехи) обладали известной долей независимости. Это позволяло им не только обращаться к своим «духовным детям» с поучениями, но и разоблачать дурное поведение самих высокопоставленных лиц, а если они обнаруживали свое непослушание, то и выступать с публичными к ним упреками.

Год, в который было написано послание Иакова, был годом начавшейся борьбы между ростовскими князьями. Князь Андрей испросил себе в Орде ярлык на великое княжение и с разными «коромольники» пошел с татарской ратью на Дмитрия

Борисовича. К татарской рати Андрея присоединились Константин Ростовский и другие. Вся земля от Мурома и до Торжка подверглась страшному опустошению: «...множество бесчисленно христианъ полониша, по селомъ скоть и кони и жита пограбиша, высъкающе двери у хоромовъ; и бяше великъ страхъ и трепеть на христианскомъ родѣ» (Симеоновская летопись).

Черноризец Иаков уговаривает Дмитрия Борисовича проявлять любовь к ближнему, причем указывает, что сейчас «год ратен». И действительно, ссора с братьями угрожала перейти в огромное военное столкновение: Дмитрий Борисович стал в Ростове «наряжать полки» и «город весь замяте», но вскоре «замирился».

Воздействие литературы на общественную и политическую жизнь всегда трудноучитываемое. Но можно все-таки предполагать, что оно было немалым и в Древней Руси вообще, и особенно в тяжелейшие годы монголо-татарского ига. Осуждения в письменных произведениях страшились, похвал добивались. Значение литературы в исторической жизни русского народа становилось все выше, а ее отрезвляющий моральный голос звучал все увереннее.

Если можно говорить об идеологической направленности литературного стиля, то теперь эта направленность приобретала все более четкие очертания. Стиль монументального историзма, который раньше заставлял читателей подниматься над суетностью повседневной жизни, видеть жизнь с высот общечеловеческой истории и как бы с птичьего полета, теперь в эпоху нашествия и начавшегося ига направлен прежде всего на моральное оздоровление русского общества.

Литература этого периода как бы слилась с действительностью. Она может быть понята только в органической связи с трагическими событиями монголо-татарского нашествия. Рассказы об ужасах нашествия удесят�ялись в силу своего воздействия на читателей именно потому, что в них не было вымысла. Читатели знали: это все было, и не только было, но продолжало существовать в своих последствиях. Погибли родные, погибли их односельчане и жители их города, продолжала гибнуть вся Русская земля. И, читая, каждый думал о своем, близком, родном ему. Историзм русской литературы, запрещавший рассказывать заведомый вымысел, стал в повествованиях о нашествии больше чем историзмом — он стал требованием писать только о том, что есть, что еще не ушло целиком в прошлое, что существует в своих последствиях и объясняет настоящее. Повести о монголо-татарском нашествии

вии воспринимались не как рассказы о прошедшем, а как сообщения о только что случившемся. Легенда о невидимом граде Китеже была рассказом о том, что теперь, сейчас существует где-то заветный град, не покорившийся врагу, в который могут войти те, кто чист сердцем, не примкнул к неправде. «Повесть о разорении Рязани Батыем» была не только простым рассказом о том, как погибла старая Рязань, как она запустела, но и объяснением этого запустения, а вместе с тем и воздаянием должного памяти ее защитников... Именно поэтому она заканчивалась «Похвалой роду рязанских князей» — как бы светской им «вечной памятью». Писатели «плели» в своих произведениях мученические венки погибшим в сражениях на поле брани и при защите городов, уведенным в полон, убитым в Орде, скрывшимся в невидимом Китеже.

Стиль литературы середины XIII — первой половины XIV века не имел резко выраженных особых черт в своей словесной форме, но все же если бы потребовалось его особое определение по своему содержанию, то монументализм древней русской литературы этого времени мог бы быть условно назван монументализмом нравственным.

Литература этого периода решала вопросы, касавшиеся всех и каждого. События были огромны, и моральные проблемы выступали на первый план, при этом в громадных охватах: как вести себя всем князьям, всему войску, всему населению города или сельских местностей. Нравственные проблемы охватывали не только отдельных людей, а всех в целом, в совокупности. И хотя жизнь заставляла прибегать к компромиссам, литература учила только бескомпромиссности, и только в решительном отказе склонить голову перед врагом видела правый пример для остальных.

Вот почему именно в это время, в XIII и XIV веках, получили особенное распространение сочинения по всемирной истории, описания вселенной, животного и растительного царств. Судьба народа — своего собственного и всех народов мира, всей вселенной — интересовала читателей в этот период с особенной остротой.

Нравственный монументализм был содержанием произведений середины XIII — первой половины XIV века, но в известной мере он коснулся и их формы. Экспрессивность сжатого и лаконичного изложения, столь типичная для многих произведений древнерусской литературы, достигла в это время исключительной силы.

Лучшие произведения этой поры очень невелики по объему, точно их авторам нет времени заниматься многописанием, но они огромны по охватываемому ими простран-

ству. Все они своеобразные реквиемы, за которыми, однако, стоит величайшая жизнеутверждающая сила, вера в жизнь, не страшаясь смерти, убежденность в бессмертии правды и неизбежности победы над врагами.

Учительный и патриотический характер русской литературы, ее нравственная бескомпромиссность определились в XIII—XIV веках с полной отчетливостью и сохранились в русской литературе до нового времени включительно, став одной из важнейших национальных черт русской литературы в ее целом.

ЛИТЕРАТУРА ВРЕМЕНИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПОДЪЕМА

(XIV — СЕРЕДИНА XV ВЕКА)

Главное историческое событие в жизни Руси второй половины XIV века и первой XV — победа на Куликовом поле.

В 1380 году московский князь Дмитрий Иванович, собрав многочисленное войско почти всех русских княжеств, преградил путь на Русь золотоордынской армии Мамаю. Куликовская победа имела огромное национальное значение. Именно Москва организовала сопротивление Золотой Орде. Дмитрий Донской, защищая не одно только свое Московское княжество, но всю Русь, выступил вперед и встретил золотоордынское войско в «диком поле». Именно здесь, у Непрядвы и Дона, решался вопрос о том, вокруг какого княжества объединяться русскому народу. Ни изменившая Рязань, ни медливший с посылкой своих войск Новгород, ни какой-либо другой центр не получили в глазах всего населения такого общерусского авторитета, как Москва.

Куликовская победа «за Доном» подняла политический престиж Москвы, сделав ее подлинной главой русских княжеств. Эта битва подняла русское национальное самосознание и сама явилась результатом не только экономического и военного роста Руси, но и роста духовного и культурного. Литературный подъем предшествовал Куликовской победе и продолжался после.

Несмотря на то что через два года после Куликовской битвы хан Тохтамыш «изгоном» захватил и разорил Москву, а уплата ордынского «выхода» длилась еще целое столетие, рост национального самосознания не замедлялся.

Что же предшествовало в русской культуре главному историческому событию эпохи — Куликовской битве?

Прежде всего отметим начавшееся еще с середины XIV века восстановление культурных связей с Балканскими странами — с Византией, Болгарией и Сербией в первую очередь. Культурная изоляция Руси, существовавшая более века после нашествия Батыя в результате чужеземного ига, закончила на время свое существование. Русская культура включилась снова в культурное развитие Европы. Страна стала выходить из оцепенения чужеземного ига, когда, по выражению летописца, и «хлеб не шел в рот от страха». Явление письменности и искусства об этом свидетельствуют с достаточной убедительностью.

Крупными центрами умственного общения сделались монастыри Афона, Константинополя, Сербии и Болгарии по преимуществу.

Возникло единое умственное направление, единое развитие, не отменявшее, конечно, национальных особенностей, а, напротив, способствовавшее развитию отдельных национальных культур.

Во второй половине XIV и в начале XV века на Русь переносится огромное количество различных новых переводов, сделанных на славянский литературный язык в Болгарии, Сербии, монастырях Греции, Иерусалима, Синая. Здесь и сочинения отцов церкви в новых переводах, сочинения богословские, церковно-канонические, церковно-служебные и, что для нас самое главное, — произведения литературные. Оригинальные южнославянские произведения (главным образом жития) составляют сравнительно небольшую часть появившихся на Руси памятников письменности. Среди перенесенных к нам из Византии через южнославянское посредство произведений отметим новые переводы или новые редакции старых переводов Четвероевангелия, Апостола, Псалтыри, «Служебных миней», гимнографической литературы, «Песни песней», «Слов» Григория Богослова, «Лествицы» Иоанна Лествичника, «Пандектов» Никона Черногорца, «Вопросов-ответов» Псевдо-Афанасия, «Жития Антония Великого», «Жития Варлаама и Иоасафа», Синайского патерика, «Слова» Мефодия Патарского и других, а также переводы ранее неизвестных в славянской традиции сочинений отцов церкви и византийских мистиков: Василия Великого, Исаака Сирина, Григория Синаита, Григория Паламы, Симеона Нового Богослова, Иоанна Златоуста и т. д. Особое значение имело появление в XIV веке переводов Дионисия Псевдоареопажита — философа и богослова, в сочинениях которого ясно ощущаются элементы античной традиции.



*Софийский собор в Новгороде 1045—1050 гг.
Фотография 1900-х гг. (фотоархив ЛОИА).*



Святослав с женой и сыновьями. Миниатюра.
Изборник Святослава 1073 г. (Москва, ГИМ).



Лист с заставкой.
 Изборник Святослава 1073 г. (Москва, ГИМ).



Сказание о Борисе и Глебе.

Борис идет на печенегов.

Миниатюра.

Сильвестровский пергаменный список XIV в.



Повесть временных лет (1078 г.). Осада Чернигова.
Миниатюра. Радзивиловская летопись XV в. (Ленинград, БАН).



Повесть временных лет (1092 г.). Засуха.
Миниатюра. Радзивиловская летопись XV в. (Ленинград, БАН).



*Пятницкая церковь в Чернигове. Конец XII—начало XIII в.
Реконструкция П. Д. Барановского.*



Золотые ворота во Владимире. XII в.



Церковь Покрова на Нерли. 1165 г.



*Летописная повесть о походе Игоря. Первая битва с половцами.
Миниатюра. Радзивилловская летопись XV в. (Ленинград, БАН).*



Церковь Николая на Липне (после реставрации). 1292 г.



*Жилище на Большой Житомирской улице в Киеве,
разгромленное во время нашествия татар.
Раскопки М. К. Каргера.*



И шѣдъше ѡзѣша грѣшѣи . и црѣ
 и ковьѣи ѡубѣи разграбѣша . а про
 чѣе оуоуи

Взятие Суздаля ханом Батыем.
 Миниатюра. Лицевой летописный свод XVI в.
 Голицынский том (Ленинград, ГПБ).



*Белокаменный Троицкий собор Троице-Сергиева монастыря.
1422 г.*



Крепостные сооружения Изборска. XIV в.



И поидоша чрезъ дона . прешеними
 пекми и моестызасокою
 разроушь

Переправа войска московского великого князя через Дон.
 Миниатюра. Лицевой летописный свод XVI в.
 Древний летописец, т. II (Ленинград, БАН).

тѣмъ боудина грѣшъ занимаху по нѣмъ
тѣмъ боудина грѣшъ занимаху по нѣмъ
тѣмъ боудина грѣшъ занимаху по нѣмъ



Куликовская битва. Миниатюра. Лицевой летописный свод XVI в.
Древний летописец, т. II (Ленинград, БАН).



Успенский собор Московского Кремля. 1475—1479 гг.



Грановитая палата в Московском Кремле. 1487—1491 гг.



*Сказание о князьях владимирских.
Рельефы «царского места» Ивана IV Грозного
в Успенском соборе Московского Кремля.
1551 г.*



Церковь Вознесения в селе Коломенском. 1532 г.



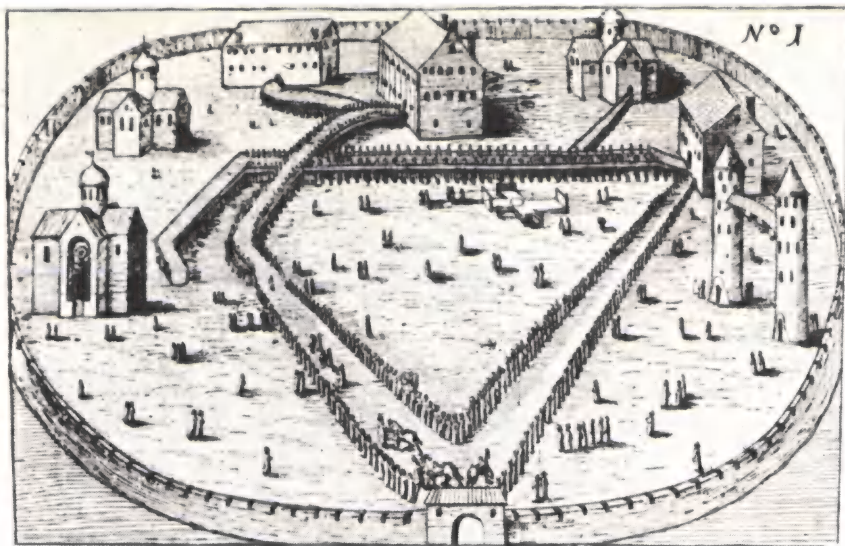
Псковский Кремль. XVI в.



*Барма и Посник.
Храм Василия Блаженного в Москве. 1555—1560 гг.*



Архангельский собор Московского Кремля.



Александровская слобода. Гравюра из книги Я. Ульфельда.



Соловецкий монастырь. Общий вид.



Колокольня Ивана Великого в Московском Кремле. 1505—1600 гг.



Спас Нерукотворный. Икона XII—XIII вв. (Москва, ГТГ)



Св. Борис и Глеб. Икона XIV в. (Ленинград, Гос. Русский музей)



Битва новгородцев с суздальцами. Икона. 1460-е годы. Новгородский музей



Молящиеся новгородцы. Икона 1467 г. (Новгородский музей)



«Троица» Андрея Рублева. Нач. XV в. (Москва, ГТГ)



Дионисий и мастерская. Митрополит Петр с житием. Икона кон. XV—нач. XVI в. (Музей Московского Кремля).

Приблизительно в это время или чуть раньше на Руси появляется «Повесть об Индийском царстве», «Сказание о двенадцати снах Шахаиши», «Хождение Зосимы в блаженную страну рахманов», «Слово о Макарии Римском». Особенно же много делается на самой Руси новых переводов исторических сочинений и редактируются старые. Перерабатывается «Еллинский и Римский летописец» («еллинским» он назван потому, что охватывал языческие времена античности, а «римским» — так как охватывал византийскую историю, считавшуюся историей Римской империи), создаются Иудейский хронограф и Толковая Палая. Переносятся на Русь и славянские переводы болгарских и сербских свя-
тых.

Замечательно, что наряду с болгарскими и сербскими переводами с греческого делаются переводы и на Руси, а также в Константинополе, на Афоне и в болгарских монастырях, где тоже жили русские. Переводами с греческого занимался сам московский митрополит Алексей и многие русские церковные деятели. Преемник Алексея на русской митрополичьей кафедре болгарин Киприан списывал в константинопольском Студийском монастыре «Лествицу» Иоанна Лествичника, а затем в Голенищеве под Москвой «многие святыя книги со греческаго языка на руський язык преложи и довольно списания к пользе нам остави».

Этот далеко не полный перечень переводческой деятельности и проявлений интереса к переводной литературе, свидетельствующих о большом умственном подъеме в XIV—XV веках, должен быть сопоставлен с одновременными фактами южнославянского и особенно непосредственного византийского влияния в русском искусстве, появлением на Руси византийских и сербских мастеров. Связи с Балканскими странами отнюдь не ограничивались письменностью.

Чрезвычайно существен и факт обратного, русского влияния в южнославянских странах. Это влияние отмечено для письменности многими исследованиями.

В чем сущность того единого умственного движения, которое был охвачен восток и юго-восток Европы и которое не знало отчетливых границ между восточнославянскими и южнославянскими народами? В этом умственном движении могут быть отмечены некоторые черты, которые типичны для этого периода и в Западной Европе.

Главная черта этого периода — рост личностного начала.

В отличие от Западной Европы, где этот процесс был связан с общим обмирщением культуры и ослаблением церковности, на востоке и юго-востоке Европы рост личностного начала совершался внутри самой церковной культуры. Церковь здесь продолжала иметь огромное значение — особенно в борьбе с иноверными завоевателями. Борьба с чужеземным игом и нашествиями захватывала народные силы, но общение между странами, восстанавливавшееся во второй половине XIV и первой половине XV века, открывало доступ новым идеям.

Внутренняя жизнь человека — вот что интересует теперь в первую очередь и писателей, и художников и что входит в церковную жизнь. Уединенная молитва, молитвенное самоуглубление, отшельничество, уход от людей в далекие скиты становятся необходимыми элементами монашеского подвига.

Рост личностного начала в культуре имел огромное значение на Руси. В эпоху борьбы с игом выступали вперед личные свойства человека: его преданность князю, его стойкость, неподкупность, независимость, мужество и т. д. и т. п. Поэтому на личные качества человека и обращалось в литературе и изобразительном искусстве гораздо большее внимание, чем раньше.

С развитием личностного начала в определенной мере связано появление в XIV веке, сперва на Балканах, а вскоре и в России, нового литературного стиля — экспрессивного, эмоционального, а вместе с тем и «ученого», усложненного и часто торжественного. Так, на середину XIV века падает на Балканах короткий расцвет Тырновской литературной школы. Расцвет этот наступил в 1371 году, когда главный деятель этой школы Евфимий стал патриархом в Тырнове, и продолжался до захвата Тырнова турками в 1393 году.

Тырновское литературное направление было направлением, развивавшим в литературе торжественный стиль, с помощью которого можно было бы прославить болгарских деятелей. Стиль этот способствовал развитию литературного языка, обогащению его лексики за счет искусственных словообразований. В Тырнове развивалась особая «филологическая» ученость, было реформировано правописание и изменялись даже почерки рукописей. То же самое мы видим и в Сербии, где в Ресавском монастыре производится реформа орфографии и письма.

Реформы языка, усложнение стиля, появление новой орфографии имели своей целью создать единую для всех славян письменность, сблизить эту письменность с письменностью Византии, объединить литературу всех южных и восточных

славян. Действительно, по свидетельству деятеля болгарской литературы этого времени Григория Цамблака, в Тырнове учились и работали «не токмо же болгарских родов множество, но и северная все до океана и западная до Илирика».

Возникший в XIV веке в Болгарии, в Тырнове, панегирический стиль создал чрезвычайно искусную орнаментальную прозу.

Новый сложный стиль, стиль «плетения словес», ответил на Руси потребностям начавшегося перед Куликовской победой подъема национального самосознания. Его торжественность позволяла восхвалять церковных и светских деятелей русской истории. Само название этого стиля — «плетение словес» — следует понимать как плетение словесных венков — венков победных и мученических, — венков славы.

Особенное значение этот новый стиль «плетения словес» имел в Москве.

Это объясняется особой идейной атмосферой, установившейся в Москве уже в середине XIV века и сохранявшейся значительно позже.

В исходе XIV века Москва постепенно становится крупнейшим средоточием литературных сил, еще раньше, чем она стала средоточием русской государственности. Конец XIV и первая половина XV века — время идеологической подготовки создания единого Русского государства. При этом подъем всех духовных сил русского общества идет под знаком возрождения традиций времени национальной независимости — Владимирской и Киевской Руси XI—XIII веков.

Дмитрий Донской первым стал на ту точку зрения, что только Москва является наследницей Владимирского княжества. В Москве возрождаются строительные формы Владимира, традиции владимирской письменности и летописания. В Москву перевозятся владимирские святыни, становящиеся отныне главными святынями Москвы. Из Владимира же перекачывают в Москву и те политические идеи, которыми руководствовалась великокняжеская власть во Владимире. И эта преемственность политической мысли оказалась и действенной и значительной, придав уже в XIV веке политике московских князей необычайную дальновидность, поставив ей цели, осуществить которые Москве удалось после ряда столетий чрезвычайных усилий только во второй половине XVII века. Идеей этой была идея собирания всего киевского государственного наследства.

Московские князья, настойчиво добивавшиеся ярлыка на

великое княжение, так же как и тверские, владимирские, видели в себе потомков Мономаха. В их городе с начала XIV века обосновался митрополит «Киевский и всея Руси», и они считали себя законными наследниками киевских князей: их земель, их общерусской власти.

Постепенно, по мере того как нарастает руководящая роль Москвы, эта идея киевского наследства крепнет и занимает все большее место в политических домогательствах московских князей, соединяясь с идеей владимирского наследства в единую идею возрождения традиций государственности независимой и могущественной домонгольской Руси. Московские князья претендуют на все наследие Владимира I Святославича и Владимира Мономаха, на все наследие князей Рюрикова дома. Борьба за киевское наследие была борьбой с Ордой, поскольку киевское наследие было наследием национальной независимости, национальной свободы. Борьба за киевское наследие была также борьбой за старейшинство московского князя среди всех русских князей; она означала борьбу за единство русского народа, а в будущем — за Смоленск, за Полоцк, за Чернигов, за Киев, она означала также тяжкий труд над образованием единого Русского государства.

Отсюда естественное на первых порах стремление судить обо всем «по старине и по пошлине» — на основе традиций эпохи независимости. В эпоху борьбы с Ордой это стремление к восстановлению старых традиций было явлением прогрессивного порядка. Только в будущем, в XVI и XVII веках, когда Русь была уже полностью независимой, этот первоначально творческий принцип стал препятствием на пути развития русской культуры, явившись как бы знаменем государственного консерватизма XVI—XVII веков.

Стремление к возрождению традиций эпохи независимости Руси характеризует и древнерусскую литературу второй половины XIV—XV века. Мысль обращается к независимому прошлому с желанием увидеть в нем будущее. Русские литературные произведения XI—XIII веков становятся образцами для создания новых. Заимствуются отдельные места, образы и идеи из «Слова о Законе и Благодати» митрополита Илариона, из житий Бориса и Глеба, из «Повести временных лет», из произведений Кирилла Туровского, из Киево-Печерского патерика, из «Слова о полку Игореве», из «Слова о гибели Русской земли», «Жития Александра Невского», «Повести о разорении Рязани Батыем» и пр. На этой основе создаются новые произведения, посвященные современности или ближайшему, не утратившему своего значения прошлому.

В этих условиях обращение к литературе времен национальной независимости с ее высоким и весьма искусным стилем (особенно в произведениях Илариона XI в., Кирилла Туровского XII в. и др.) совпало с аналогичными тенденциями нового литературного стиля, возникшего на Балканах. Новый стиль проник на Русь вместе с многочисленными памятниками письменности, которые были привезены беженцами с Балкан, но его привезли также и живые носители этого стиля — замечательные писатели — болгары по происхождению: митрополит Киприан и Григорий Цамблак. Значительно позже, в XV веке, его распространял на Руси и профессиональный писатель Пахомий Серб, писавший по заказам тексты служб и жития русским святым в Новгороде и Москве.

Переехав на Русь и став московским митрополитом, болгарин Киприан написал ряд сочинений, из которых значительнейшее — «Житие московского митрополита Петра». Митрополит Петр был первым, который окончательно перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву и здесь даже собственными руками построил себе в новом Успенском соборе гробницу, как бы утверждая этим «вечность» своего пребывания в новом церковном центре Руси. Киприан своим «Житием митрополита Петра» так же точно обосновывал свою связь с Москвой, а некоторыми деталями своего произведения подчеркнул общность своей судьбы с судьбой митрополита Петра. Болгарин Киприан на русской митрополичьей кафедре ощущал себя прежде всего главой русской церкви и москвичом.

Уже имевшееся до него житие Петра Киприан значительно переработал в новом стиле. По этой переработке мы ясно можем себе представить, что именно внес Киприан нового в свое «Житие митрополита Петра». Это новое заключалось прежде всего в том, что он добавил в житие чрезвычайно много личного. Никогда прежде биография святого не становилась в такой мере предметом для размышления о своей собственной судьбе. И это «новшество» очень типично для конца XIV века. Говоря о путешествии Петра в Константинополь для поставления в митрополиты, Киприан подчеркивает схожесть своих собственных затруднений в Константинополе с поставлением в русские митрополиты с теми затруднениями, которые встретил там же Петр и по тому же поводу. Далее Киприан прямо вставляет в «Житие» Петра размышления о своих собственных злключениях, когда его не хотел принимать в Москве Дмитрий Донской и он вынужден был жить некоторое время в Литве.

Связь своей судьбы с судьбой Петра Киприан обращает в нечто реальное, когда пишет о том, что, заболев в Царьграде, он

обратился с молитвой к митрополиту Петру и молитва эта помогла ему: исчезли все тяжкие болезни. В Москве он с особенным усердием обращается к гробу Петра и молится Петру — как своему покровителю.

Эпическая тема — биография святого — разрешена в произведении Киприана как лирическая повесть. Это характерно для нового стиля — стиль этот лиричен в своей основе.

Стиль панегирической прозы XIV—XV веков в его русском варианте отмечен какой-то особой напряженностью поисков эмоциональной выразительности. Он понуждал авторов к усиленной работе, к неустанным поискам наилучшего выражения, свидетельствовал о высокой филологической культуре своего времени, был «неспокойным», и в нем ясно ощущалось стремление выразить особое, лирическое отношение к миру. Форма в нем требовательно подчинялась содержанию, он был связан с определенным мировоззрением, вернее — мироотношением, со стремлением взглянуть на окружающий мир со своей особой, индивидуальной точки зрения. Мы можем назвать этот стиль орнаментальной прозой и видеть в нем одно из проявлений усиления личностного начала в литературе.

Характерная черта нового стиля — появление единого «сверхсмысла», извлечение новых значений из сочетания слов, развитие контекста. Создаются различные эффекты ритма, игры словами — особенно словами, имеющими общий корень, или словами синонимичными, близкими по значению.

Встает вопрос: не является ли это стремление к «контексту» выражением общего стремления эпохи к единству, с которым связан и культ троичности — «единства во множественности»? Гармония согласованных усилий, как и нравственные искания разного рода, становятся в это время основной темой и литературы, и изобразительных искусств. Это знание времени, доминанта всего его изобразительного искусства, как и всей литературы.

Если в монументальном стиле предшествующих периодов основой единства было внешнее его оформление, монолитность и спаянность, отражающаяся в силе и тяжести, то теперь на первый план выступают внутренние явления монолитности. Единство как бы растет изнутри, освящает и одновременно освещает объект неким внутренним светом. Это отчетливо заметно в зыбкой, колеблющейся, «играющей» прозе орнаментального стиля, так же как и в особом «сиянии» красок рублевской «Троицы», в пристрастии к «плавии», к различным формам передачи света (особенно в композиции

«Преображения» — одним из излюбленных сюжетов этого времени).

О внутреннем свете очень часто говорят произведения панегирических жанров, и его же пытаются передать художники в своих произведениях. Об этом же говорит и ритмическая устремленность в вышину, которая все больше сказывается в произведениях архитектуры, особенно в XV веке.

Одна из характерных особенностей живописи этого времени — использование различных оттенков одного и того же цвета. Если для предшествующего времени была характерна многокрасочность, то в XV веке появляется использование разных оттенков синего (в «Троице» Рублева), красного (в новгородских иконах).

Не чистый цвет, а оттенки цвета и их сопоставления имеют очень большое значение в живописи XIV—XV веков. Художники второй половины XIV—XV века стремятся к согласованию цвета, к единому ритму, пронизывающему всю композицию. Это мы видим и в произведениях Рублева, и в произведениях Феофана Грека, и во многих других, особенно лучших, созданиях того же времени.

Расцвет русской орнаментальной прозы падает на конец XIV—XV века и связан прежде всего с именем замечательного русского писателя Епифания Премудрого. В его произведениях орнаментальная проза достигла своего высшего и непревзойденного цветения. Ему принадлежат составленные в этом стиле «Житие Стефана Пермского» и дошедшее до нас в позднейшей переработке — «Житие Сергия Радонежского».

Последнее произведение особенно замечательно своим идейным содержанием.

Основатель ставшего самым знаменитым в Московском княжестве Троице-Сергиевого монастыря Сергей Радонежский всю жизнь прожил в монастыре, не только полунищенской, но и трудовой жизнью.

Сквозь драгоценную узорчатость «плетения словес» с тем большим контрастом выступает перед читателем личная скромность Сергия и его тяжелая жизнь труженика и радетеля о Русской земле; ордынские нашествия, насилия московских воевод, жизнь в лесу среди диких зверей, постоянная нехватка пищи.

Сергий властен и силен. Сильный физически («имел силу против двух человек»), он силен и влиянием на народ.

Часто сравнивают Сергия Радонежского с Франциском Ассизским, и это сравнение в какой-то мере оправдано. В обоих есть элементы Предренессанса, — типичного для этого

времени идеала человеческой личности. Однако обращает на себя внимание то, что религиозные «подвиги» Сергия носят в основном крестьянский трудовой характер: он выполняет все крестьянские работы, строит, огородничает, шьет одежду, заготавливает дрова, варит пищу, печет хлебы, носит воду, делает свечи — не стыдится самой черной работы. Вот почему он обладал таким авторитетом среди крестьян. И Дмитрий Донской, нуждавшийся перед выступлением в поход в народной поддержке, едет к нему получить благословение на решительное выступление против Орды.

«Житие Сергия Радонежского» состоит из отдельных рассказов с сюжетной законченностью. Многие из этих рассказов явно восходят к народным легендам о Сергии. Образ Сергия в этих легендах всегда один и тот же: он силен и сдержан, «дерзновенен» к властям и смиренен перед богом, скромен и вместе с тем отличается большим чувством собственного достоинства. В сущности, образ Сергия создан не Епифанием — он заключен уже в народных о нем рассказах. Стиль плетения похвал святому, который так ярко представлен в «Житии Сергия» и который так часто делал неправдоподобными все авторские восторги, здесь у Епифания органически связан с содержанием.

Орнаментальная проза панегирического стиля Епифания не является простой языковой игрой, бессодержательным орнаментом: нагромождение однокоренных слов или слов с ассонансами нужны для усиления экспрессии, нужны по смыслу. Ключевое слово, создающее плетенку, подчеркивает в тексте основное¹.

Вернемся к тем культурным, и в частности литературным, связям, которые были восстановлены начиная с середины XIV века между Русью и Балканским полуостровом.

Реальные связи со странами Балканского полуострова были закреплены в обширной литературе путешествий, интерес к которой особенно проявляли новгородцы, чей великий город стоял на одной из важнейших торговых дорог Европы, хотя временно и прерванной во второй половине XIII века нашествием Батые, а теперь возобновленной благодаря включению Новгорода в Ганзейский союз.

Новгородцы — неутомимые путешественники, люди книжные и ценители искусств. Таким внимательным к культуре иных стран путешественником оказался Стефан Новгородец, составивший подробное описание Константинополя.

¹ См. подробнее: Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979, с. 118—126.

«Хождение Стефана Новгородца в Царьград» относится к 1348—1349 годам. Стефан пришел в Константинополь не один, а с «други осемью». Кто были эти «други», мы не знаем, так же как не знаем и цели, с которой приходил Стефан: был ли он торговым человеком или приходил в Царьград по делам новгородской церкви. Стефан описывает в Константинополе не только религиозные ценности, но и архитектуру, предметы искусства. Он обратил внимание на статую Юстиниана (для русского человека, не знавшего у себя на родине скульптурных монументов, эта статуя была особенно удивительна), описывает знаменитые колонны Софийского храма, отмечает статую Христа в «новой» базилике, колонну Константина Великого, перечисляет украшения и художественную утварь храмов. При этом Стефан прежде всего всюду обращает внимание на то, что отсутствовало у него на родине и что было для него самым необычным: помимо скульптуры — колонны, портики, описывает мрамор — его твердость и цвет, подробно рассказывает об огромной гавани Константинополя и о морских судах.

Стефан, как и другие новгородские паломники, отмечает в своем «Хождении» следы разрушений, причиненных Константинополю крестоносцами в 1204 году. И это невольно выдает в нем осведомленного человека, интересующегося памятниками искусства и их историей.

Кроме «Хождения» Стефана Новгородца от XIV века дошли до нас еще два своеобразных «путеводителя» по Константинополю — «Сказание о Царьграде» и «Беседа о святых Царьграда». Оба эти памятника составлены не очевидцами, а восходят к какому-то не дошедшему до нас третьему описанию Константинополя — может быть, принадлежащему Василию Калике — будущему новгородскому архиепископу Василию, написавшему «Послание к тверскому епископу Федору о земном рае».

И это «Послание» Василия о земном рае характеризует тягу русских людей XIV века к далеким странам и далеким путешествиям. Василий описывает земной рай, который видели его «дети» — новгородцы.

Непосредственной темой «Послания» Василия послужил спор о том, существует ли рай на земле, в котором жили Адам и Ева, или материальный рай погиб и есть только рай «мысленный», то есть идеальный, неземной.

Спор этот, довольно типичный для средневековья, касался одной из основ религиозного мировоззрения той эпохи. Несториане и яковиты, сторонники прямого и непосредственного понимания библейской истории как реально существовав-

шей, верили в материальный рай на земле, доступ в который для людей крайне затруднен, но возможен. В этом споре глава новгородской церкви Василий становится на одну точку зрения с «еретиками».

Василий даже определяет место существования земного рая: «А в Паремии (т. е. в Ветхом завете.— Д. Л.) именуются четыре рѣкы, идуть из рая: Тигр, Нил, Фисонъ, Ефраксъ — со вѣстока, Нил же — под Египтомъ... течеть же с высокихъ горъ, и еже суть от земля и до небеси, а мѣсто непроходимо есть человекомъ, а верху его рахмане живутъ».

Одна из деталей «Послания» Василия делает его рассказ о новгородцах, нашедших земной рай, типично новгородским по своему вниманию к живописи, которой новгородцы славились далеко за пределами своего города. Горы, стеной отделяющие рай со стороны моря, имеют изображение деисуса: «...написанъ дѣисусъ лазоремъ чуднымъ и велми издивленъ паче мѣры, яко не челоувѣчьскыма рукама творентъ, но божиею благодатью». Фантазия новгородцев клонилась, следовательно, к тому, чтобы и горы украсить фресками, написав их драгоценнейшим «лазорем», которого в действительности едва хватало на миниатюры. Тема деисуса тоже не случайна для ограды рая: деисус, или деисис, означает моление, которое возносят богоматерь и другие святые к страшному судии мира Христу с просьбой о прощении грешников,— это тема конца мира, Страшного суда, в результате которого определяется, кто попадет в рай и кто пойдет в ад.

Тема конца мира характерна для времени больших исторических поворотов: читатели хотели судить о настоящем в свете всей человеческой истории — от ее начала и до грядущего конца.

В Москве первое обширное «Хождение» в Царьград относится к 1389 году. Оно было составлено Игнатием Смольянином и описывало русское церковное посольство в Царьград, все перипетии борьбы за место митрополита московского и внутренние события византийской жизни — в частности, борьбу за византийский императорский престол между Иоанном II и Мануилом II. Игнатий присутствовал при восшествии на престол Мануила II и подробно описал церемонию, причем не забыл отметить и мотив бренности существования властителей, так интересовавший русских в XIV и XV веках и отразившийся несколько позже в «Сербской Александрии». После венчания Мануила II первым поздравляют его «мраморницы и гробоздатели», принесшие ему на выбор для его будущей гробницы различные сорта мрамора. Гробовщики напоминают царю, что он смертен и тленен,

что с сильных мира сего больше спросится на том свете, а поэтому царю надо особенно стремиться иметь «страх господень, и смирение, и любовь, и милость».

Из других описаний путешествий отметим «Хождение» Зосимы, побывавшего в Иерусалиме и Константинополе в 1420 годах. Сильнее, чем у многих других путешественников, отразились в «Хождении» Зосимы сочинения его предшественников — в частности, игумена Даниила начала XII века и уже упоминавшееся «Хождение» Стефана Новгородца.

Интерес к Константинополю и другим странам растет параллельно с интересом к всемирной истории. На Русь переносятся переведенные у болгар византийские хроники Иоанна Зонары и Константина Манассии. Последний со своей экспрессивной манерой повествования оказал огромное влияние на русскую историческую литературу XV—XVII веков. В «Хронике» Манассии большое внимание уделялось характеристикам исторических лиц, психологическим мотивировкам их действий, моральным сентенциям и нравоучительности. История предстала перед читателем как огромная школа житейской мудрости. Все действующие лица резко делятся на положительных и отрицательных, и для оценки их действий автор не скупится на самые резкие или возвышенные эпитеты.

В составе «Хроники» Манассии русский читатель получил и новый вариант рассказа об осаде Трои ахейцами, обычно называемый «Притчей о кралех», многие подробности которой восходят к мифологическим поэмам Овидия, а другие взяты из западной средневековой поэзии и сохраняют дух рыцарской куртуазности.

Особое значение в формировании нового исторического стиля на Руси, помимо «Хроники» Манассии, имели биографии сербских «кралей» — Стефана Немани, написанной его сыновьями Стефаном и Савой, и Стефана Лазаревича, написанной Константином Костенческим, а также «Жития и повести кралей Србския поморския земли», сложенные архиепископом Даниилом. Биографии эти были составлены пышно и имели целью приукрасить и возвысить сербскую династию Неманичей, независимость Сербии, прославить воинские доблести сербских «кралей» и их воинов. Это были панегирики сербским властителям, а в их лице и сербскому народу.

В бою сербские воины «женяше (прогонял.— Д. Л.) един тысящу, а два двигнута тмы» (десятки тысяч.— Д. Л.). Сам Стефан Лазаревич именуется «громоименитым царем», смот-

реть на него было так же трудно, как на солнце, врагам он грозил как «молнийная стрела» и т. д.

Стиль этих пышных биографий повлиял и на русские биографии великих князей московских и тверских и продолжал влиять в течение всего XV и XVI веков, отразившись в русской «Степенной книге царского родословия» XVI века.

Интерес к всемирной истории был связан со стремлением осмыслить настоящее, найти философское утешение в размышлениях о превратностях судеб царств — даже самых могущественных, обрести надежду на освобождение. Вместе с тем в какой-то мере размышления над превратностями исторических судеб поднимали национальное самосознание, позволяли видеть судьбы Русской земли в перспективе всей мировой истории.

Появление историчности сознания — одна из характернейших и существеннейших черт Предвозрождения. Статичность предшествующего мира сменяется динамичностью нового. В домонгольский период время космическое; оно исчисляется по временам года, сменам дня и ночи; оно все повторяемо; время — круговорот. В XIV и XV веках появляется сознание неповторимости эпох, событий, личности. Историзм органически связан с открытием ценности отдельной человеческой личности и с особым интересом к историческому прошлому.

Мир как история! — понимание это соединено с антропоцентризмом. Представление об исторической изменчивости мира связано с интересом к душевной жизни человека, с представлением о мире как о движении, с динамизмом стиля. Мир понимается и воспринимается во времени, и показательно, что некий «сербин» устанавливает в Москве первые городские часы, а архиепископ Евфимий в Новгороде строит часозвоню.

Ничто не закончено, а поэтому и невыразимо словами; текущее время неуловимо. Его может лишь в известной мере воспроизвести поток речи, динамичный и многоречивый стиль, нагромождение синонимов, обертоны смысла, ассоциативные ряды.

Если раньше история представлялась человеческому сознанию как цепь событий, то теперь она предстает как смена состояний. Состояние зависимости от иноземной власти резко противостоит прежней независимости Руси.

С конца XIV века на основе летописей других княжеств и существования в самой Москве непрерывавшихся традиций ведения исторических записей усиленно развивается московское летописание. Московское летописание стремится охватить

своими записями все русские земли, иначе говоря — стать летописанием общерусским. Используются летописи Твери, Владимира, Нижнего Новгорода, Ростова, Новгорода и других городов. Московские летописцы не только «записывают», но и осмысливают события, стараются извлечь из событий нраво-учительный смысл, ищут в истории уроки нравственные, политические и даже просто военные. В летописание проникают элементы публицистические, что было так типично для летописания XI—XIII веков. Характерно, что киевская «Повесть временных лет» по-прежнему переписывается во главе русских летописей, подчеркивая тем самым «связь времен», общность исторических корней, происхождения русского народа и княжеского рода.

Наиболее значительное произведение московского летописания — это Троицкая летопись, использованная в свое время Н. М. Карамзиным в его «Истории государства Российского» и сгоревшая в пожаре 1812 года, тогда же, когда сгорела и рукопись «Слова о полку Игореве». Текст Троицкой летописи был восстановлен по частям с разной степенью достоверности известным советским историком М. Д. Приселковым¹.

Интерес к недавней истории отразил замечательный цикл произведений, посвященных центральному событию эпохи — Куликовской битве: две летописные повести о Куликовской битве (краткая и пространная), поэтический отклик на сражение «за Доном» — «Задонщина», очень популярное в Древней Руси «Сказание о Мамаевом побоище», а также «Слово о царе и великом князе Дмитрии Ивановиче».

В «Задонщине» имеется в начале текста такое место: «Снидемся, братия и друзи и сынове руский, составим слово к слову...»². Обычное понимание этого места такое: «...создадим произведение...» Но такого выражения нигде больше в древнерусских текстах не зафиксировано. Написание нового произведения, сочинительство, никогда не представлялось как «соединение слов».

Вместе с тем выражения «приложить слово к слову», «составить слово» встречаются довольно часто (например, в Киево-Печерском патерике), и они означают соединение различных произведений в одно, сочинение произведения («сло-

¹ Приселков М. Д. Троицкая летопись: Реконструкция текста. М.—Л., 1950.

² Цит. по списку Ундольского, но место это имеется и в других списках.

во» означает произведение, а не только слово — единица речи); «оставить слово» — прекратить рассказ¹.

Следовательно, то место в «Задонщине», где говорится «составим слово к слову», следует переводить так: «сочиним «Слово» к «Слову» — на основе одного «Слова» составим другое». Напомним, что «Задонщина» — это научное название произведения о Куликовской битве, а в самом тексте оно называется «Слово о великом князе Дмитрее Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче, яко побѣдили супостата своего царя Мамаю».

Оправдывается такое сопоставление старого слова и нового тем, что Дмитрий Донской — потомок Владимира Киевского и киевских князей вообще.

Автор «Задонщины» последовательно сопоставляет события Донской битвы с событиями поражения Игоря Святославича, как они изображены в «Слове о полку Игореве», «ввергая печаль» на войско Мамаю и воздавая славу Дмитрию и Владимиру Андреевичу словами «Слова о полку Игореве».

В «Слове о полку» грозные предзнаменования сопровождают поход русских войск, которым грозит поражение. В «Задонщине» те же зловещие предзнаменования соответствуют походу войск Мамаю.

В «Слове» «дети бесовы», то есть половцы, кликом поля перегородили, в «Задонщине» же русские сыны широкие поля кликом огородили.

В «Слове» «черная земля» посеяна костями русских; в «Задонщине» — татарскими.

В «Слове» кости и кровь русских всходят тугою по Русской земле; в «Задонщине» восстала земля татарская, бедами и тугою покрывшись.

В «Слове» тоска разлилась по Русской земле; в «Задонщине» по Русской земле простерлось веселие и буйство.

В «Слове» «поганые» приходили со всех сторон с победами на землю Русскую; в «Задонщине» же — «уныло царей их (татар.—Д. Л.) веселие и похвальба на Русскую землю».

«Задонщина» была обращением к духовным и художественным богатствам «Слова о полку Игореве». Русская культура середины XIV — первой половины XV века была вся, как мы уже сказали, обращением к духовным богатствам эпохи независимости: в литературе, в политической и в церковной жизни, в эпосе, в архитектуре, в живописи и т. д.

¹ «Сицева же (такая же.— Д. Л.) бысть вещь по смерти блаженнаго отца нашего Феодосия, от преслушания сътворенное. Иже аще и несть zde лепо исповедати ея, но обаче по въспомынованию того приидохом и сему подобно слово к слову приложим» (Абрамович Д. И. Кievo-Печерський патерик. У Києв, 1931, с. 59; ср. с. 78 — «оставим слово»).

«Задонщина» явилась своего рода символом этих реставрационных тенденций XIV—XV веков, возникших в связи с Куликовской победой. Она была попыткой изобразить победу Дмитрия Ивановича Донского как отплату за поражение Игоря Святославича — в тех же образах и выражениях.

Одно из самых распространенных в Древней Руси произведений — «Сказание о Мамаевом побоище». Оно известно в нескольких редакциях, по существу представляющих собою самостоятельные литературные произведения — обширные, часто иллюстрировавшиеся, включавшиеся в состав летописей.

«Сказание» создано после летописных повестей (краткой и пространной) о Куликовской победе и после «Задонщины», отрывки из которых оно включало в свой состав. Вместе с тем различные редакции «Сказаний» имели и самостоятельные источники, а одна из редакций, условно называемая «Печатной», испытала на себе и непосредственное влияние «Слова о полку Игореве». Многие отражены в «Сказании» и по устным источникам. Только в «Сказании» мы найдем рассказ о гадании по приметам накануне Куликовской битвы. Только в «Сказании» читается эпизод с переодеванием Дмитрия перед сражением, рассказ о поединке Пересвета и татарского богатыря, рассказы о подвигах отдельных воинов, в числе их и о подвиге некоего Юрки-сапожника.

В целом же в «Сказании» очень отчетливо проведена официальная точка зрения на события, на взаимоотношение светской власти и церковной, на роль Москвы и измену рязанского князя Олега.

«Сказание о Мамаевом побоище» замечательно тем, что в нем искусно сочетаются части, написанные в разных стилях. Есть места, в которых заметно «плетение словес» и панегирическая выпренность; есть части в характере народных плачей; есть, наконец, отдельные куски текста, описывающие фактическую сторону событий в летописном стиле.

Несомненно, что «Сказание» — это очень значительное произведение, сравнительно большое по своим размерам, исполненное сознанием важности совершающегося, как поворотного момента в русской истории.

Монументально-исторический стиль, который был так характерен для предшествующей литературы XI—начала XIV века, не исчез ни во второй половине XIV века, ни в XV веке. Он только приобрел иные формы, утратил единство, растворился в панегирическом стиле, в монументальном повествовании огромных летописных сводов, в разнообразии жанров, в которых на первый план выступали разные стороны монументализма и историзма.

После Куликовской победы золотоордынцы продолжали свои наступления на Русь, но эти наступления носили характер набегов, совершаемых быстро — «изгоном» — и подготовляемых втайне. Эти набеги приносили огромные несчастья Русской земле, и рассказы о них отразились в летописи. Характер этих рассказов был совершенно иным, чем произведения о Куликовской победе. В них мало лирики (разве что плачи по погибшим и сетования на причиненное разорение), но зато они рассудительно анализировали поведение русских военачальников и неприятеля, анализировали всю обстановку и придавали своему анализу публицистическую направленность. Объединять произведения о Куликовской победе и произведения о набегах золотоордынцев в единый жанр «воинских повестей», как это часто делается, невозможно. В последних перед нами живая публицистика. Их пафос в исправлении создавшегося положения, при котором русское население часто оставалось совершенно незащитным. Но это и не былые «повести о княжеских преступлениях», каких было много в XII—XIII веках. Повести о набегах золотоордынцев анализируют всю обстановку, тактику наступающего врага, тактику обороны, поведение различных слоев населения, международное положение Москвы и политику отдельных княжеств. Перед нами сложнейшее литературное явление, в котором ощущается опыт многих поколений, оказавшихся под игом монголо-татар.

В 1382 году татарский хан Тохтамыш внезапно подошел к Москве с большим войском. Дмитрий Донской был застигнут врасплох и не смог собрать крупного войска для защиты Москвы. Обращение за помощью к другим русским князьям не имело успеха. Он отступил от Москвы, оставив горожан самих оборонять город, и стал собирать войско на севере. Татары обманом взяли Кремль, разграбили и пожгли всю Москву.

«Повесть о нашествии Тохтамыша» дошла в двух редакциях с двумя различными тенденциями. В одной из повестей, написанной для летописи митрополита Киприана, главная роль в защите Москвы принадлежит литовскому князю Остеху. И это понятно: митрополит Киприан, осознававший себя главой православной церкви как на Руси, так и в Литве, хотел укорить московского князя и воевод, оставивших свое население на произвол судьбы, примером литовских князей. По другой редакции, составленной несколько позднее, город обороняют сами жители, особенно купцы — «суконники и сурожане», то есть купцы, ведущие далекую торговлю с заморскими странами через крымский город Сурож (Судак). Эта послед-

ная редакция «Повести о нашествии Тохтамыша» наиболее интересна.

«Повесть» начинается с указания на небесные знамения: появление «хвостатой звезды» (кометы), предвостановившей «злое пришествие Тохтамышево». Описана рознь князей, не пошедших на зов Дмитрия Донского. Защищают город сами горожане, оказавшиеся без князя. Горожане силой удерживали тех, кто хотел бежать из города, который был «аки море в велице бури». Автор на стороне горожан, которые готовились к обороне с молитвою и надеялись на бога, и не разделяет самоуверенности тех, кто, упившись медом, хвастливо заявляли, что не сдадут города, в котором и «стены камены и врата железа». Тем не менее и автор повести признает, что москвичи не сдали бы города, если бы не поверили лживым посулам врагов. Особенно отмечает он подвиг некоего «суконника Адама», который попал стрелю прямо в «сердце гневливое» сына ордынского хана. С чувством гордости описывает автор сильную стрельбу горожан по осаждавшим из пороков, самострелов и пушек.

С горечью осуждает автор вторичную измену рязанского князя Олега, уже ранее предавшего русское войско перед Куликовской битвой и указавшего путь войску Тохтамыша на Москву. С иронией сообщает он о том, что на обратном пути войска Тохтамыша пограбили Рязанскую землю.

Отдельные формулы «Повести о нашествии Тохтамыша» заимствованы из «Повести о разорении Рязани Батыем», особенно те, в которых передается плач по опустошенной Москве, но общее содержание повести, ее своеобразный нравоучительный тон, попытка глубоко разобраться в исторических событиях вводятся в литературу впервые.

Иной характер носит «Повесть о Тамерлане», или, как его называют русские летописи, о Темир-Аксаке — «Железном Хромце». Здесь повествователя интересует по преимуществу личность легендарного завоевателя, покорившего половину тогдашнего мира, но не дошедшего до Москвы в 1395 году и повернувшего назад.

Впереди Тамерлана разносятся вести о его завоеваниях, бесчисленных победах и всеветном могуществе. Жизнь Тамерлана рисуется как своего рода феномен — игралище судьбы. Он стал фантастическим героем из сына бедного раба. Он был мелким вором, «ябедником», «лютым разбойником», его поймали с украденной овцой, нещадно били,

и он, охромев, принужден был сковать себе железную ногу. Железо — символ жестокости, и вся дальнейшая его судьба как бы выросла из этого несчастного случая. «Железный Хромец» собрал вокруг себя таких же разбойников, а затем и бесчисленные войска, завоевал многие страны и отступил от Москвы только благодаря чудесной помощи богоматери. В Москву перед тем была перенесена икона Владимирской Божьей Матери, и именно она, одетая в багряные одежды, в сопровождении святителей явилась Тамерлану во сне и приказала повернуть назад. «Повесть» полна церковного красноречия, и в ней явственно ощущается религиозный характер.

Третья повесть снова нравоучительного и публицистического характера — это «Повесть о нашествии Едигея в 1408 году».

Хан Едигей скрыто вторгся на Русскую землю и подошел к Москве. Великий князь Василий Дмитриевич, как и Дмитрий Донской при нашествии Тохтамыша, ушел на север. Едигей разорил почти все московские области и, взяв «окуп», ушел назад. Этот внезапный набег опять послужил поводом к обширному нравоучению русским князьям, недостаточно оберегающим русские земли от тайных набегов, и снова в пример беспечности русским ставятся осторожные литовские князья.

По поводу «Повести об Едигее» Н. М. Карамзин писал: «Описанием Едигеева нашествия заключается харатейный Троицкий летописец»¹. Троицкая летопись — это важнейшая московская летопись самого начала XV века, и если она заключалась именно этим произведением, то, следовательно, ему придавалось большое значение: это был как бы вывод из предшествующей московской истории, наставление московским князьям, да и всем москвичам.

По-видимому, «Повесть о нашествии Едигея в 1408 году» была написана несколько раньше составления Троицкой летописи, еще во Владимире, куда в 1408 году удалился митрополичий двор во время нашествия Едигея, а затем использована для заключительной части этого свода. При включении «Повести» в конец летописи она была несколько расширена и обрамлена рассуждениями летописца, повторившими основную мысль «Повести». Эта основная мысль автора «Повести» состоит в том, что исконные враги русской независимости — не Литва, а степные народы. Многочисленные исторические ссылки автора говорят о том, что он

¹ Карамзин Н. М. История государства Российского. СПб., 1892, т. 1. Примечания, с. 71 (примеч. 207).

был внимательным читателем «Повести временных лет»: «...не сихъ ради прежде Киеву и Чернигову бѣды прилучишася, иже имѣюще брань межи собою, поднимающе половци на помощь, наважаху брать на брата, да и первое наимуюче ихъ, сребро издаваше из земля своея. А половци, исмотривше рускый наряд (русское вооружение и расстановку войск.— Д. Л.), по сем самим одолѣша».

Автор протестует против того, что князья пользуются «половецкою», то есть татарскою, помощью, а татары, высмотревши располложение и «наряд» русских, тем удобнее затем на них нападают. Он обращает внимание своих читателей на назидательный смысл истории взаимоотношения русских со степными народами: «...разумѣти же убо нам лѣпо есть на семь и памятовати, хотящим по сих любовь имѣти съ иноплеменники». Когда пограничные отряды Едигея пришли, чтобы помочь русским против Витовта, «старци же сего не похвалиша, глаголюще: «Добра ли се будетъ дума юных наших бояръ, иже приведоша половець на помощь?» Резкому осуждению подвергнуты в «Повести» и нерешительные действия русских войск. По поводу оставления великим князем Москвы перед приходом войск Едигея летописец вставил цитату из псалма, не оставляющую никаких сомнений в цели ее применения: «Добро есть уповати на господа, нежели уповати на князя».

Но взгляд на степные народы как на главных врагов Руси и доказываемая с этой точки зрения необходимость союза Руси и Литвы против их общего врага — ордынцев не помешали автору «Повести» протестовать против оказываемого тем же литовцам чрезмерного внимания в Москве. Особенно осуждению подвергся в летописи князь Василий Дмитриевич за то, что отдал Свидригайлу, «ляху верою» (т. е. католику), кафедральный город митрополита всея Руси — Владимир. В «Повесть» вставлена похвальная характеристика города Владимира как стола Русской земли, «мати градом» русским (термин, заимствованный из «Повести временных лет», где он применен к Киеву), города пречистой богоматери, в котором «князи велиции рустии первосѣдание и столъ земля Русскыя приемлють».

Не случайно, что «Повесть о нашествии Едигея», как и вся Московская летопись, опирается в своих общеисторических рассуждениях на «Повесть временных лет». Примером «великого Селивестра Выдобыжского» оправдывает составитель «Повести» смелость своих обличений князя. Автор заверяет «властодержцев», которые прочтут его труд, что он писал это не ради того, чтобы досадить им, не из зависти к их чести, но по примеру «начального летословца киевского», который

«вся временнобогаства земская не обинуясь показуеть». Автор ссылается на пример первых наших «властодержцев», которые повелевали без гнева описывать все случившееся — доброе и недоброе. Он ссылается на пример того почета, которым окружил Владимир Мономах Сильвестра Выдубицкого, описывавшего события русской истории без прикрас («не украшая пишущего»). Он просит «наших» властодержцев (т. е. в первую очередь московского князя Василия Дмитриевича) последовать примеру древних князей и слушать старцев, «ибо красота граду есть старчество». Таким образом, русская литература времен независимости Руси давала не только образцы для подражания и некий политический идеал, но и моральные уроки, уроки нравственной мудрости.

Несколько обособленно развивалась литература Новгорода. Традиции государственной независимости от Киева, а впоследствии от северо-восточных русских княжеств были в Новгороде чрезвычайно сильны, а умственная жизнь особенно интенсивна, благодаря чему здесь постоянно возникали ереси и расцветал политический сепаратизм.

Обращение к эпохе независимости Руси приобрело в Новгороде особую форму. Если в Москве и окружавших ее княжествах это было по преимуществу обращение к киевской и владими́ро-суздальской старине, то в Новгороде, сохранявшем и оборонявшем свою независимость от северо-восточных княжеств, это обращение к старине направлялось на возрождение только своей, новгородской, старины.

В старых формах восстанавливается Никола-Дворищенский собор (в XIV в.) и церковь Параскевы Пятницы на Торгу (в 1345 г.).

Чем сильнее была опасность присоединения Новгорода к Москве, тем интенсивнее шло возрождение новгородской старины.

Во второй четверти XV века выделяется как энергичный политик, покровитель искусств и письменности архиепископ Евфимий II (годы его архиепископства — 1429—1459). Лихорадочная строительная деятельность Евфимия II свидетельствует о его стремлении утвердить независимость Новгорода, его самостоятельность и могущество. Евфимий II обстраивает новыми зданиями владычный двор новгородского Детинца, строит на Софийской и Торговой сторонах, строит в Старой Руссе, в Вяжищах, в Хутыни и т. д. Некоторые здания он воздвигает с помощью западных мастеров, в других возрождает, иногда даже с некоторой утрировкой (церковь Ильи на Славне), старые новгородские формы XII века.

В письменности Евфимий II укрепляет антимосковские и сепаратистские тенденции, возрождает интерес к новгородской старине, воскрешает различные предания и легенды, стремится создать свой, новгородский, круг святых и организовать свои формы их почитания. Евфимий II учреждает обряд поминовения новгородских князей и святителей, торжественно открывает мощи двух новгородских святых: Варлаама Хутынского и архиепископа Иоанна, известного своею борьбой в XII веке с Владимиром-Суздальским, Рязанским и другими княжествами.

При Евфимии II около 1432 года создается обширный владычный летописный свод Софийского временника — летописи, ведшейся при Софийском соборе. Создаются и другие летописные своды, впоследствии присоединенные к московскому летописанию.

В 1436 году произошло открытие мощей архиепископа Иоанна, при котором в 1169 году совершилось «чудесное» спасение Новгорода от подступивших к нему войск северо-восточных княжеств. Мощи Иоанна были торжественно перенесены в Софийский собор, и почитание этого новоявленного святого приобрело формы почти политической демонстрации. Вокруг архиепископа Иоанна и чуда спасения Новгорода от войск суздальцев в 1169 году создается при Евфимии II цикл легенд: как культ новгородской независимости.

Основание культа новгородских святых и возвеличивание новгородского прошлого несколько позднее обставлено было и другой легендой. Под 1439 годом Новгородская летопись сохранила сказание пономаря Аарона. В одну из ночей пономарь Аарон увидел, как в церковь Софии «прежними дверми», то есть теми, которыми перестали пользоваться, вошли все «преждеотшедшие» новгородские архиепископы, молились в алтаре и перед иконою Корсунской Божьей Матери. Пономарь рассказал о своем видении Евфимию, и тот, «бысть радостен о таковом явлении», велел служить панихиду по всем новгородским архиепископам, а затем устроил и более регулярное чествование своих предшественников. Это чествование привело к тому, что многие устные легенды о новгородских архиепископах были записаны, получили литературную форму.

Из цикла сказаний, связанных с архиепископом Иоанном, особенный литературный интерес имеет легенда о путешествии Иоанна на бese в Иерусалим. В повести много бытовых, натуралистических подробностей, сближающих ее по своему типу с рассказами Киево-Печерского патерика, с одной стороны, и с народными сказками — с другой. Повесть как бы соткана из целого ряда ходячих мотивов. Таковы, например, распространенные мотивы о бese или бесах, которых святой

заставляет на себя работать (например, при построении монастыря), мотив плавания против течения (против течения плывут часто мощи святых, иконы), мотив прибытия святого в монастырь по воде (например, в «Житии Антония Римлянина»), мотив беса, обращающегося каким-либо животным, женщиной (обычно при искушениях), мотив самоотворяющихся дверей и samozажигающихся свечей при появлении святого в церкви, мотив путешествия на бесе (в сказках, из которых он перекочевал, между прочим, в «Ночь перед Рождеством» Гоголя) и пр.

Центральная легенда цикла, связанного с архиепископом Иоанном, — легенда о чудесном спасении Новгорода во время его осады суздальцами в 1169 году. Наибольшую популярность эта легенда получила в обработке югославянского ритора Пахомия Серба, которого Евфимий пригласил в Новгород для своих многочисленных литературных начинаний и для создания церковного почитания новых новгородских святых. Пахомий прибыл в Новгород с Афона не ранее 1429-го и не позднее 1438 года. Простые и непосредственные новгородские рассказы о битве суздальцев с новгородцами Пахомий «удобрил» витиеватым красноречием, искусно добываясь ритмической гладкости слога, необходимого в богослужении, и усилил их назидательный смысл.

Легенда о чуде с суздальцами возникла, очевидно, в XIII—XIV веках и проникла в письменность еще до ее пахомиевской обработки. С скромный рассказ летописи об отражении в 1169 году приступа суздальцев, в котором тема чуда еще отсутствовала, был заменен в Новгородской летописи новым — с особым заголовком: «О знамении святей богородици». Рассказ этот повествует о том, как в Новгороде во время осады его суздальцами оказались лишь «князь Роман молод» да владыка Иоанн и посадник Якун. Для отражения приступа вынесли на забрало острога из церкви Спаса на Ильине улице икону Знамения. Три дня съезжались суздальцы, «попустиша стрелы, аky дождь умножен на острог». Икона оборотилась лицом к городу, спиной к осаждавшим суздальцам, и «паде на них тма на поле, и ослепоша вси». Новгородцы, выйдя из острога против суздальцев, «овых избиша, а другыя изымааше, а прок их zde отбегоша». «И продавааху суздальца по две ногате» (Софийская первая летопись).

Этот краткий рассказ Пахомий Серб дополнил некоторыми, очевидно устными, известиями, а кое в чем развил от себя, воспользовавшись для этого версиями северо-восточных летописей. Летописец-суздеlec не знает чуда с иконою Знаме-

ния на забрале у Десятинной церкви, но он повествует зато о том, как в трех новгородских церквях на трех иконах заплакала богородица, предвидя наказание новгородцам от бога за их грехи. Пахомий в своем «Похвальном слове Знамению» изобразил дело так, что плакала вынесенная на забрала богородица, раненная стрелою суздальцев, а владыка Иоанн собрал слезы ее в свой «мафорий» (омофор). В «Слове» Пахомия события схематизированы и лишены всяких конкретизирующих деталей, местного и исторического колорита. Поход на Новгород соединенных сил суздальцев, половчан, рязанцев и прочих изображен как поход одного великого князя, которого Пахомий называет «лютым фараоном». Походу придана порочащая «психологическая» мотивировка в обычной, традиционной манере: «Завистью разгорелся и, собрав вой от различных стран, покушаешься ити на предъреченный град» — Новгород. Перед походом — опять-таки на литературной традиции — Андрею посылается богом предостережение — болезнь. «Но ума ненаказанного никто же исцелити не възможе». Андрей Боголюбский сравнивается с лютым фараоном, а защитник Новгорода архиепископ Иоанн объявляется мужем совершенным в добродетели. Описание осады заменено общей фразой, что осаждавшие «творяще елика обычнаа пленующемъ делати и грады разрушати». В трафаретном описании приступа («стрелы якоже дождь» и проч.) Пахомий допускает явные анахронизмы, вводя в дело современную ему, но еще отсутствовавшую в XII веке артиллерию («и громы каменных метаний»). Описание самого чуда прерывается лирическим восклицанием: «О чюдного ти посещения, владычице! О неизреченной помощи твоей пречистаа!» Кроме того, введены длинные речи-молитвы Иоанна, ответный «глас свыше» и пр. За фактического частью изложения в «Слове» следовало традиционное «радование» богоматери, заканчивавшееся отнюдь не традиционным радованием Новгороду: «...радуйся и ты Великий Новъград, сподобивыися такового неизреченного таинства». Заканчивается «Слово» молитвой, традиционные слова которой должны были звучать в обстановке половины XV века особенно остро: молитва заключалась прошением об избавлении «града нашего» «от глада, губительства, труса, и потопа, и нашествия иноплеменикъ». Под «иноплемениками», очевидно, разумелись суздальцы...

Кроме произведений, посвященных обороне Новгорода в 1169 году, Пахомий в первый свой приезд в Новгород при Евфимии II написал «Службу Варлааму Хутынскому», «Похвальное слово» ему же и «Житие Варлаама». По утверждению Пахомия, он пользовался при составлении «Жития» устными

рассказами монахов Хутынского монастыря, но на самом деле в фактической части «Жития» лишь перефразировал вторую редакцию имевшегося уже перед тем «Жития», в прочей же части прибег к обычному своему «плетению глагол». «Житие Варлаама Хутынского» сохранилось в большом числе списков, что объясняется, однако, не столько литературными достоинствами труда Пахомия, сколько популярностью святого, имя которого символизировало времена могущества Новгорода.

Во второй четверти XV века произошло событие, снова насторожившее русских церковных и государственных деятелей против всего того, что шло на Русь из Византии и западных стран.

В 1439 году во Флоренции состоялся церковный собор, на котором была провозглашена уния восточной и западной христианских церквей. Русская церковь была представлена митрополитом Исидором, признавшим унию. В Москве эта уния не была принята, и Исидора взяли под стражу, после чего он бежал из России. Ферраро-Флорентийский собор усилил то недоверчивое отношение, которое существовало на Руси к католической церкви, и это сыграло отрицательную роль в развитии русской культуры, накрепко отделив ее от Запада идеологическими преградами. Однако само путешествие на собор вызвало три его описания, в которых не уделялось особого внимания церковным вопросам, но зато описывались немецкие и итальянские города, а в одном из рассказов, принадлежащем суздальцу Авраамию, было дано подробное описание театрального представления. Авраамий восхищенно описал, как в одной из флорентийских церквей представлялась мистерия Фео Белькари «Благовещение». Авраамий понял содержание мистерии, привел переводы диалогов, хотя, по-видимому, не знал языка, но особенно подробно остановился на сценических ухищрениях, костюмах, декорациях, танцах, назвав все представление «чюдным видением и хитрым деланием».

Мы наметили только некоторые темы этого значительнейшего периода в развитии русской литературы и остановились на отдельных литературных жанрах, которыми была столь богата эта переломная эпоха в русской культуре. Перелом совершился не только от упадка к расцвету, но и от статичного монументализма предшествующей эпохи к новому динамическому стилю, стилю эмоциональному, стремящемуся представить внутреннюю жизнь человека, — стилю, в котором

все отчетливее звучало личностное начало и индивидуальные особенности авторства.

Эпоху конца XIV—первой половины XV века было бы легко сопоставить с явлениями Возрождения на юге и севере Западной Европы, увидеть в России конца XIV—начала XV века элементы Возрождения. И они действительно были, но резкое отличие заключалось в том, что сопутствующее Возрождению светское начало вовсе не возросло в России. Объяснялось это прежде всего тем, что борьба за национальную независимость имела отчасти религиозные формы: она выливалась в формы борьбы христианства с мусульманством. Поэтому-то, между прочим, в повестях о Куликовской победе доля церковного элемента значительно больше, чем в «Слове о полку Игореве», а во всей русской литературе этого времени заметно усиление мистического элемента. Но главная черта литературы этого времени — национальный подъем, подъем национального самосознания, подъем глубокого интереса к родной истории и ко времени государственной и народной независимости Руси.

ЛИТЕРАТУРА ИСТОРИЧЕСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XV ВЕКА)

Определение, вынесенное в заглавие, может показаться странным. В самом деле, какая литература не «размышляет», не оценивает, не озабочена будущим своей страны? Да, действительно, литература «думает», но в каждую из эпох она думает о своем, о том, что ей особенно нужно, что волнует народ, что подсказано историческими обстоятельствами.

Во времена Владимира I Святославича и Ярослава Мудрого литература была озабочена будущими судьбами Русской земли, ее предназначением в мировой истории. Были созданы «Слово о Законе и Благодати» и начальная русская летопись. Во второй половине XV века, накануне окончательного освобождения от иноземного ига, эти думы об исторических судьбах снова посетили русскую литературу, овладели умами читателей, но при этом в своих более разнообразных и широких аспектах.

Что такое государственная власть, какие на нее накладываются обязанности перед народом? Почему некоторые из мировых держав сходят с исторической сцены, подпадают под чужеземное иго и как сохранить свою национальную независимость? Кому, какому княжеству принадлежит право возглавить всю Русскую землю? До каких пределов простирается власть государя над своими подданными и в какой мере государь отвечает за их нравы и грехи перед богом?

Еще московский государь не обрел всей полноты власти и независимости в исторической действительности, но литература уже готовилась ответить на вопросы будущего устройства Русского государства. И может быть, потому, что ответы на эти вопросы были излишне категоричны, литература

оказалась в какой-то мере ответственной, как мы увидим в дальнейшем, не только за все положительные, но и за отрицательные деяния и Ивана III, и Василия III, и Ивана IV.

Особый интерес появляется к загадочным предсказаниям исторических катастроф (видение пономаря Тарасия, видение Зосимы на пиру у Марфы Борецкой, предсказывающее падение Новгорода, и т. п.) и не менее загадочным возвышениям властителей, обретению престола, царственных регалий и т. д.

Вторая половина XV века — это время, когда Русь становится одним из сильнейших государств Восточной Европы. Москва завершает объединение великорусских земель и выходит на европейскую политическую арену.

Историки часто повторяют рассказ о том, как в 1487 году на рейхстаге в Нюрнберге император Фридрих III и князя Священной Римской империи с удивлением узнали о существовании Московии и слушали рассказ о ней своего посла рыцаря Поппеля. Но Московию не надо было открывать. К ней и в предшествующие века постоянно обращались за помощью и греки, и балканские славяне. В Русской земле уже в XIV веке начинали видеть будущую опору на востоке и юге Европы от надвигающейся османской опасности.

Окончательное падение трехсотлетнего ордынского ига на Руси совершилось без генерального сражения — «стоянием на Угре» в 1480 году двух войск — московского и ордынского, в результате которого войско хана Ахмата повернуло назад. Это совершилось ровно через сто лет после Куликовской битвы, а перед тем Москва покорила последнего своего опасного соперника — Новгород Великий. Два новгородских похода Ивана III в 1471 и 1478 годы решили судьбу не только Новгорода, но и всей русской страны.

Образование мощного единого национального государства поставило перед русским народом целый ряд политических, исторических и нравственных проблем, разрешать которые должна была в первую очередь общественная мысль и литература.

Что представляла собой русская литература в этот знаменательный период? Несомненно: русская литература развивалась своим путем, но путь этот на всем его протяжении постоянно перекрещивался с путями литератур других европейских стран — Византии, Болгарии, Сербии, Молдаво-Валахии; в меньшей мере, но все же достаточно ощутимо — Моравии, Чехии и Польши. Русская литература вплоть

до XVI века не знала строгих границ, а в то время, к которому мы обращаемся сейчас в нашем очерке, не было ощутимых границ ни с Украиной, ни с Белоруссией в составе Польско-Литовского государства. Три братских восточнославянских народа имели общий литературный язык — в основе своей болгарский по происхождению и мало различавшийся по своим разговорно-национальным и диалектным особенностям во всех восточно- и южнославянских странах.

При всем своеобразии пути русской литературы — своеобразии, определившемся уже в первый век ее возникновения, — русская литература развивалась рядом с европейской. Она имела многие сходные черты со средневековыми литературами Запада, много общих памятников, общие эстетические нормы, сходное (христианское) мировоззрение и сходные общественные проблемы, возникавшие в результате того, что феодализм во всех странах при всем различии в проявлениях был в существе своем именно феодализмом и в общественном строе этих стран не было принципиальных различий.

Вторая половина XV века на Западе — это период Ренессанса в культуре. Чтобы выяснить сходства и различия русской литературы с западноевропейской, необходимо прежде всего дать четкий ответ на вопрос о том — был или не был Ренессанс в России, а если не было его как культурной формации, то коснулись ли России проблемы, поднятые Ренессансом в европейской культуре?

Наряду с итальянским Ренессансом, который считается обычно наиболее идеальным проявлением ренессансных явлений вообще, как известно, существовал Северный Ренессанс — Ренессанс стран к северу от Альп, — Франции, Германии, Нидерландов, Англии, Скандинавских стран. Существовали, кроме того, чешский и польский варианты Ренессанса. Ренессансы отдельных стран далеко не равноценны. Но ведь оценки и не столь существенны: Ренессанс — это не оценочная категория, а историческая. Так называют эпоху, переходную к культуре Нового времени. Новое время в России вступило в свои права значительно позднее — на переломе от XVII века к XVIII. И с этой точки зрения в России Ренессанса в XV и XVI веках не было, но тем не менее не могли не быть отдельные ренессансные явления в общественной мысли, в изобразительном искусстве, в зодчестве и в литературе, вызванные к жизни развитием ремесел, городской жизни, влиянием ренессансного окружения.

В стране классического Ренессанса, Италии, процесс шел путем развития элементов светского гуманистического мировоз-

зрения. В странах севернее Альп — путем развития идей религиозного «обновления». Своеобразие Северного Ренессанса заключалось во внимании к религиозной морали, к попыткам обновления старых норм религиозной и церковной жизни. Элементы русского Ренессанса связаны с попытками исторического осмысления нравственного долга страны и личности в жизни страны, роли личности в государстве. В России ренессансные явления сказывались главным образом в попытках эмансипации искусств, в развитии литературы как искусства и потребностях увидеть в человеке самостоятельную ценность, осмыслить роль и значение человека в истории. Процесс занял длительное время. Вторая половина XV века была только одним из его периодов. Процесс шел незаметно и подспудно. Он не был поэтому резко и определенно выражен.

Русские города, в первую очередь Новгород и Псков, пытались выйти из феодального окружения, развить в себе элементы капитализма и буржуазных отношений, но уже на грани двух веков были подчинены единому русскому централизованному государству.

Точка зрения Хейзинги, рассматривающего Ренессанс как «закат средневековья»¹ и стремящегося найти элементы Ренессанса в позднем средневековье, вполне применима и к русским культурным явлениям XV и XVI веков, обладающим еще более ярко выраженной особенностью — отсутствием строгих границ между отдельными эпохами.

Итак, в России Ренессанс не вступил в свои права, но веяния Ренессанса оставили след в русской литературе, изобразительном искусстве, зодчестве, общественной мысли. Они были ослаблены тем, что церковь не только не уступила своих позиций, но в силу ряда причин усилила их. Поэтому крайне замедлилось и усложнилось главное явление Ренессанса — секуляризация жизни. Усилившийся интерес к личности человека, к его внутренней жизни, как мы можем отметить и для XVI века, продолжал осуществляться в пределах церковного мировоззрения.

При этом светское гуманистическое мировоззрение Ренессанса даже в своих очень незначительных формах проникало на Русь не через изобразительное искусство и не через философию, а главным образом через литературу. Одним из признаков этого проникновения было обращение литературы к проблемам светской жизни и освобождение литературы

¹ Huizinga I. Das Problem der Renaissance. — Wege der Kulturgeschichte Munich, 1930.

и литературных жанров от задач церковно-воспитательных, усиление развлекательности, а с другой стороны — в связи с тем, что вопросы государственного строительства заняли на Руси первостепенное место в эпоху образования централизованного государства, — в литературе стали обсуждаться также и вопросы взаимоотношения личности и государства.

Секуляризация совершалась как бы косвенно. Парадоксальным образом в искусство всех видов входили результаты обмирщения, его последствия, но не само обмирщение — явления вторичные раньше, чем первичные.

Одним из таких интереснейших явлений в литературе было стремление к созданию в произведении загадок, к сюжетности повествования, к почти фольклорной ответно-вопросной форме и т. д.

Наряду с большими историческими произведениями все большее место в исторической литературе начинают занимать повествования, посвященные только одному событию, одной исторической личности, одному явлению, причем эти события, явления и личности составляют как бы повод для размышления о смысле происходящего. Собственно, этот процесс начался ранее, что сказалось в появлении произведений, посвященных Куликовской битве, Дмитрию Донскому, тому или иному вражескому нашествию.

Во второй половине XV века и в начале XVI века наряду с документальной историей развивается историческая легенда («Повесть о Вавилонском царстве»), «историческая басня» («Повесть о Басарге»), рассказы о занимательных исторических событиях в далеких странах («Александрия») — событиях, не имеющих прямого отношения к тем, которые непосредственно касались современников.

Вторая половина XV века — время удивительного разнообразия, разнообразия мировых тем и пятисотлетних (полутысячелетних) традиций — перевернутых, поставленных вверх дном, переименованных, обмененных местами внутри жанров и традиций, примененных заново — к новому содержанию.

Это явление тем более поразительно, что в целом традиционность средневековой литературы — выражение ее творческой силы. Эта традиционность совсем не похожа на традиционность Нового времени. В средневековой традиционности — не вялость творчества, а напротив — стремление облекать резкую и отчетливую мысль в жесткие, прочные формы,

причем иногда формы разнообразны, резко несхожие, готовые пронзить воображение какой-то исступленной нереальностью.

Этикетные формулы, традиционные образы ложатся почти спаянными, соединены друг с другом намертво, и чем больше текст переписывается и соответственно меняется, тем больше они объединяются между собой ритмом — ритмом, за которым следят и переписчики, и читатели, нередко читающие произведения вслух, — то для себя, то для многих слушателей одновременно.

По тексту древнерусских произведений как бы плывут голоса их многочисленных читателей, и этим сглаживаются все шероховатости, вбивается в текст каждое слово, подгоняются его грамматические формы, а иногда заменяются отдельные слова и целые блоки слов, чтобы они плотнее ложились друг к другу.

Литературных традиций в древнерусской литературе — не одна и не две. Их много, они живут рядом — совсем несхожие, контрастируя друг с другом, заставляя читателей перестраиваться каждый раз на новый лад, даже на новую напевную манеру чтения вслух.

Новое потому так легко создается в средневековье, что оно не отменяет старое, а только по-новому его организует. Новый стиль либо переделывает, либо переносит жанровые границы, переставляет стиль из одних жанровых рамок в другие, создает, как мы увидим в дальнейшем, некие антистили и антижанры.

Представляя себе древнюю русскую литературу как литературу малоподвижную и однообразную, мы просто не видим ее, имеем дело с собственными о ней представлениями, из которых часто бессильны вырваться, привыкнув к традициям новой литературы и литературным вкусам Нового времени.

Создавая новый стиль, древнерусские авторы не разрушают прежние традиции, а творят как бы основу для новой традиции на основе старых и создают ее не свободной, а снова жесткой и упрямой, сильно ритмизованной и как бы готовой существовать вечно. Готовность к вечному существованию — это готовность не только выкованной формы, но и закованного в нее громадного содержания — содержания, которое сразу и жестко себя выражает, и посвящает себя самому важному в жизни не только отдельного человека, но и народа, страны.

Два явления, на первый взгляд противоположных, характерны для литературы второй половины XV века: усиление в ней чисто литературной занимательности, перестройка традиций именно в этом направлении и усиление интереса к

историческим судьбам народов, к историософским проблемам. И то развитие, которое происходит в области формы, соответствует расширению содержания. Новые проблемы могли решаться только в условиях новой, более широкой формы.

Обратимся к памятникам.

В «Сербской Александрии» русского читателя привлекало сознание значительности совершаемых исторических событий. Перед читателем разворачивалась гигантская картина мировой истории, охватывающая весь известный тогда мир — от «Окиан-реки» на западе до Индии на востоке. Эта мировая история была полна рокового смысла, роковой предопределенности, в ней действовали нравственные силы. Моральная правота Александра, его прямодушие и отсутствие бессмысленной жестокости обеспечивали ему победу над сильнейшим врагом — персидским царем Дарием. В сознании читателя появлялись исторические аллюзии. Дарий отождествлялся с ордынскими ханами, а Александр, на стороне которого было сочувствие автора и читателей, — с русскими князьями. Это отождествление, как и во всяких аллюзиях, не было и не могло быть полным, но чем загадочнее, тем заманчивее оно выступало через строй сказочных деталей, фантастических образов и подробностей. Читатели видели, что любимый герой неизменно побеждает сильнейшего противника, сами мечтали о такой же победе над своими врагами, и при этом победе, сопровождаемой великодушным прощением врага — особенно рядовых пленников, которых Александр отпускает с единственным наставлением: никогда против него не сражаться.

Вера в вещие сны, во вмешательство чудесных сил не была в «Александрии» проявлением простого суеверия — это была прежде всего вера в осуществление мечты и в торжество исторической справедливости.

В «Александрии» читателя интересовывали всевозможные фантастические подробности, экзотика, своеобразие Востока, с которого двигались на Русь завоеватели и которые сами когда-нибудь должны были быть побеждены.

Фантастика «Александрии» и в самом деле была изумительной. Разве не интересовало, например, читателей волшебное платье Поликсены, которое менялось в зависимости от того, на какой камень она смотрела. Не менее интересовало их одеяние персидского царя Сескерсена, украшенное змеиными глазами, или скатерть Дария из сапфира-камня, за которой кто ел — «никогда в унынии не бывал». Или

перстень египетской царицы Клеопатры, который делал Александра невидимым и позволял ему дерзко смеяться над своим врагом.

Разве могли также не утешать русских читателей слова Дария: «Кому боги противятся, тому честь на бесчестие заменяется, того близкие и любимые друзья оставляют»? Хорошо было сказано в «Александрии»: «За возвышением в круге времени следует падение, и всякий возвышающийся унижится». Мысль об изменчивости счастья в истории особенно утешала тех, кто был внизу колеса фортуны, тем более что признаки начинающегося на Руси возвышения были уже налицо.

Слова Дария о том, что «персы многие годы дань брали с македонян, ныне же головами своими македонянам платят», могли восприниматься как пророчество о будущем величии Руси, тем более что они напоминали хорошо известные слова хазар о полянах в «Повести временных лет»: «Станут они когда-нибудь собирать дань и с нас, и с иных земель».

Интересовали читателя в «Александрии» волшебники, мудрецы, мудрость исторических действующих лиц, фантастические и удивительные народы, их нравы и многое другое.

В другом роде, но не менее значительной для русского читателя была «Повесть о взятии Царьграда турками». Эта повесть отличалась сравнительно с «Александрией» большой фактичностью.

Если сравнить две повести о взятиях Константинополя — одну начала XIII века о взятии его крестоносцами в 1204 году и другую конца XV века о захвате его турками в 1453 году, — то сразу становится заметным их принципиальное различие по своим повествовательным приемам. Первая, начала XIII века, о взятии Константинополя крестоносцами, стремится достоверно передавать события в их реальной последовательности, ее интерес — в ее документальности. Вторая, конца XV века, о взятии Константинополя турками — построена на единой эмоциональной волне и держит читателя в ожидании рокового конца. Героизм защитников и ожесточенность нападающих в этой последней повести введены в рамки исторической предопределенности падения Константинополя. Читатель постепенно входит в курс событий и их значения.

«Повесть о взятии Царьграда турками» построена как сюжетное повествование, в котором главное внимание уделялось боевой деятельности обоих войск — нападавших и защитников, — длившейся около полугода.

Штурм сменяется штурмом с нарастающим ожесточением

нападающих и нарастающим ощущением безнадежности положения защитников. Штурмующие применяют все новые и новые средства, вводят в действие невиданной величины пушку, а осажденные продолжают сражаться с прежним ожесточением.

С самого начала повести читатель догадывается, что защитники города обречены. Рок навис над городом. После четвертого штурма, окончившегося победой защитников, в то время когда турки готовят пятый штурм, из храма Софии исходит пламя и подымается к небесам. Казалось бы, все указывает на предстоящую гибель, но защитники, вопреки указаниям судьбы, сражаются со все большим и большим упорством. Один из главных героев повести — военачальник Зустуня сбит ударом каменного ядра в грудь, но, несмотря ни на что, встает все же на ноги и нечеловеческим усилием воли продолжает руководить защитой. Когда Зустуня вторично выведен из строя, сам царь Константин бросается в бой и выбивает турок из города. Но кровавый дождь вновь свидетельствует о неминуемой гибели Царьграда. В день падения Царьграда Константин сражается с турками на улицах города и погибает под мечами нападающих. Сбывается древнее пророчество о том, что Константин создал Царьград и при Константине же Царьград погибнет.

Рок, судьба, историческое предопределение не только доминируют в рассказе, но определяют и его острую сюжетную завязку, и трагическую развязку.

Характерно увеличение в рассказе литературной занимательности и рост ощущения роковой предопределенности исторических событий вообще. И то и другое — типичные явления исторического повествования и восприятия истории как таковой — даже вне письменных произведений. Может быть, этому способствовало ожидание в XV веке конца мира.

«Слово похвальное инокa Фомы тверскому князю Борису Александровичу», по существу, представляет собой три отдельных произведения, возможно и одного автора (инока Фомы), но написанных в различной манере. Эти три произведения знаменуют собой появление идеологии и психологии абсолютизма еще до реального возникновения его в русской жизни — его как бы «идейную подготовку». Все три произведения восхваляют тверского великого князя как абсолютного и безупречного во всей своей политике монарха. Первое произведение — «Смирненного инокa Фомы слово похвальное о благоверном великом князе Борисе Александровиче» восхваляет Бориса в традициях похвальных слов

святым. Во втором произведении — «О том же великом князе Борисе Александровиче» — найдены уже помимо житийных какие-то особые светские приемы восхваления. Третье произведение — «Слово о том же великом князе Борисе Александровиче» представляет собой не просто похвальное слово, а «похвальную историю» его царствования, в которой явственно проступают черты будущей «Степенной книги» и «Летописца начала царства» XVI века. Поиски новых жанровых форм неизбежно были связаны с тем, что в поле зрения авторов попадали такие стороны жизни, которые оказывались вне его при использовании иных жанров.

Сохранившиеся в единственной рукописи произведения Фомы или нескольких авторов, если они принадлежат различным лицам, — единственный в своем роде триптих не только литературного, но и чисто источниковедческого характера. Описание строительства городов во втором произведении носит исключительно интересный характер, особенно для историков русской архитектуры.

Опытному глазу заметны и некоторые общие сдвиги в самом летописном повествовании: большее внимание к простым людям, непосредственно принимавшим участие в событиях, более реальный взгляд на ход событий и большее место, уделяемое истолкованию значения событий в ходе исторического процесса.

События мировой истории соединялись в сознании русских людей с русскими событиями.

Когда огромное войско хана Ахмата, в ответ на отказ Ивана III платить ему дань, подошло к реке Угре, а с другой стороны к той же реке подошло русское войско и стояли оба войска друг против друга сорок дней, не решаясь начать битву, — стало ясно, что наступили решающие дни: быть или не быть Руси в иноземной зависимости. Может, именно этим — значительностью и судьбоносностью события — и объяснялось то, что прежде столь решительные противники теперь стояли и не начинали битвы, и в конце концов Ахмат ушел без боя, придя к решению, что попытка принудить Русь к прежней зависимости ни к чему не приведет.

Но пока оба войска стояли друг против друга, напряжение с обеих сторон достигло крайних пределов. Московский митрополит Вассиан Рыло¹ от имени всего русского народа

¹ Прозвание «Рыло» происходит от глагола «Рыть» и подчеркивает в Вассиане его строительную деятельность — главным образом по устройству запруд и прудов.

и всей русской церкви ободрял Ивана III, побуждая к активным действиям, напоминая ему всеми примерами мировой истории и решимостью пращура его Дмитрия Донского о необходимости сбросить чужеземную зависимость. Когда в конце концов войско Ахмата ушло, значение совершившегося не было все еще достаточно осознано. Казалось, что окончание зависимости от Орды могло бы явиться только результатом решительного сражения. Уход ордынского войска представлялся еще только временной передышкой, и поэтому составленная вскоре же после события «стояния на Угре» повесть о них продолжала решительно призывать Ивана III и всех его воевод к свержению ига. Как это иногда бывает в истории, современники не во всем и не до конца осознают значение совершившегося. Поэтому «Повесть о стоянии на Угре» завершалась энергичным призывом не только к современникам, но и ко всем потомкам современников сохранить Русскую землю от иноземного ига: «О храбри мужествении сынове рустии! Подщитесь свое отечество, Рускую землю, от поганных сохранить, не пощадите своих глав, да не узрят очи ваши разплечения и разграбления домов ваших, и убьяния чад ваших, и поругания над женами и дѣтми вашими, яко же пострадаша инии велицыи славнии земли от турков».

И в самом деле: в призывах Вассиана Рыло и автора «Повести о стоянии на Угре» была своя доля правды, хотя в обоих произведениях не было еще осознано, что столь давно ожидаемое освобождение Руси уже совершилось. Но была осознана ценность национальной свободы, государственной независимости, и в этом главным образом и заключалось значение обоих произведений. Неверие в совершившееся в силу особой веры в грандиозное, невероятное его значение! Хотелось еще и еще утвердить великого князя в необходимости продолжать борьбу, когда борьба, по существу, была уже окончена без особых усилий и когда великий князь уже «перестоял» без боя хана Ахмата! В истории есть события, наступление которых неизбежно. Именно таким неизбежным было столетиями ожидаемое национальное освобождение Руси. Может быть, именно поэтому, в силу осознания неизбежности конца ордынского господства, ушел от берегов Угры и хан Ахмат?

Историческое повествование смешивается в историко-литературном процессе XV века с баснословием и исторической легендой. То и другое включает в себе как бы предчувствие будущего абсолютизма с его жестокостью и произволом.

В повести о валашском деспоте Дракуле, возникшей как

запись народных рассказов об этом румынском тиране, основная проблема — это проблема жестокости и произвола главы тиранического государства. Нет никакого сомнения в том, что образ тирана в «Повести о Дракуле» однозначный — это только отрицательное действующее лицо, поражающее читателей изобретательностью своих казней. В нем нет положительных качеств. И не случайно в начале повести он назван дьяволом. Как дьявол, мучитель, изверг он и изображается в повести.

Каждую свою жестокость Дракула сопровождает ироническим нравоучением. Это не восстановление справедливости, как думают некоторые современные читатели повести; это насмешка, издевательство над жертвой или жертвами, глумление над ними, отрицание самого принципа, нравственной нормы, ради которой якобы они — эти мучения — производятся. Было бы совершенно неправильно видеть в этих насмешках Дракулы какое-либо оправдание автором его поступков. «Шутки» Дракулы подчеркивают полную бесчувственность мучителя по отношению к своим жертвам. Дракула как бы возлагает вину за мучения на самих жертв. Не сняли послы перед ним шляп — «утвердил» этот обычай — приколотил шляпы к головам послов гвоздями. Захотели нищие избавиться от нищеты — запер их в доме и сжег: избавил и их, и страну от бедности. Сказали монахи Дракуле, что люди его, которых он сажал на кол, мученики, — посадил и их на кол, — причислил к мученикам. Так же точно поступал позднее и другой тиран средневековья — Иван Грозный. Когда Грозный приказал казнить игумена Псково-Печерского монастыря Корнилия, он якобы сказал, что Корнилий ангел и следует его послать к ангелам на небо.

Казни, которым подвергает Дракула свои жертвы, напоминали, кроме того, об особом характере средневекового законодательства, в котором очень часто характер наказания соответствовал характеру преступления. Дракула глумился над своими жертвами, пародируя нормы средневекового законодательства. Но в описании «шуток» Дракулы нет и тени оправдания его жестокостей; есть только ужас перед всемогуществом тирана. Впрочем, в жестокостях Дракулы есть элемент занимательности. О них не без интереса должен был читать средневековый читатель. В жестокости средневековые люди видели элемент рока, какой-то непонятной высшей предопределенности. К тому же столь распространенная в средние века вопросно-ответная форма эпизодов повести заставляла задумываться, ставила перед читателем как бы загадки. Повесть о Дракуле казалась средневековым читателям историческим

повествованием и заставляла читателей задумываться над смыслом трагических судеб людей в истории.

Элемент загадочности, вопросно-ответной формы дает себя знать и в другой повести XV века — «Повести о купце Дмитриии Басарге и сыне его Борзосмысле». Но в «Повести о Дмитриии Басарге» есть еще и своеобразное преодоление излюбленной средневековой вопросно-ответной формы. Царь-язычник в некоем царстве, где живут христиане, загадывает купцу, а вернее его малолетнему сыну, загадки. Но только на две из них дает ответ малолетний сын. Третью же загадку он как бы опережает, воспользовавшись доверием к нему царя-язычника. Малолетний сын обманом овладевает престолом доверившегося ему царя, а затем совершает все свои добрые дела: освобождает народ, выпускает из темниц иноземных купцов и патриарха той страны, а затем утверждает свое царство, получив поставление на престол от освобожденного им патриарха и женившись на принявшей христианство дочери свергнутого и убитого им царя-язычника.

Русские читатели с особым интересом читали повесть о Басарге, видя в ней как бы доказательство легкой возможности избавления от тирании.

Сквозь все произведения второй половины XV века как бы брезжит надежда на лучшее будущее страны.

Прием, по которому повествование начинается не с начала событий, а с их середины и уже одним этим ставит перед читателями как бы загадки, распространяется на все повествовательные жанры. Собственно, неожиданные начала повествований появились уже в середине XV века. В середину событий вводили жития новгородских святых, написанные при архиепископе Евфимии II, отдельные летописные повести, повести о смерти того или иного исторического лица и т. д. Повествовательные жанры тем самым как бы эмансипируются от реального хода событий и приобретают собственные внутренние закономерности развития сюжета. Характерно, что то же самое появляется и в агиографии. Правда, необходимо заранее сказать, что этот прием отразился лишь в некоторых произведениях, большинство же «средних» агиографических произведений пишется еще по старым классическим канонам агиографических жанров. Однако частичное нарушение этих канонов жанра было уже чрезвычайно знаменательно.

Необычно в жанровом отношении «Житие Михаила Клопского». Житие начинается не со сведений о родителях святого и его детстве, а прямо с таинственного появления святого в монастыре в ночь на Ивана Купалу.

Вчитайтесь внимательно в «Житие Михаила Клопского».

Разве не нарушены в нем основные каноны житийного жанра? Оно начинается так, как никогда не начинается и не могло начинаться житие святого. С самого начала оно открывается загадкой: появлением в монастыре неизвестного лица — не то человека, не то духа.

Таинственно попав в монастырь, Михаил продолжает себя вести в нем не менее таинственно: не отвечает, кто он, лишь повторяя обращенные к нему вопросы. Старцы монастыря примиряются с его присутствием только тогда, когда убеждаются, что он не бес. Только после того, как в монастыре побывал сын Дмитрия Донского, князь Константин Дмитриевич, узнавший в таинственном пришельце своего «свойтина», стало известно его имя — Михаил. Благодаря исследованиям В. Л. Янина выясняется, что Михаил Клопский действительно был «своином» московских князей — он был родственником воеводы Дмитрия Донского, Дмитрия Боброка, женатого на сестре Дмитрия Донского Анне.

Все это совсем не похоже на житийные этикетные каноны, но во всем поведении Михаила есть многое от других канонов — фольклорных. В частности, вопросно-ответная форма диалога и мудрые, вернее, мудреные ответы, которые заставляют задуматься не только присутствующих при этой сцене в повествовании, но и самих читателей. Читатель следит за разгадкой появления таинственного незнакомца с таким же любопытством и заинтересованностью, как и сами монахи, в монастырь которых попал Михаил.

«Чудеса», которые производит Михаил Клопский, тоже не очень агиографические по своему характеру. Они напоминают собой скорее действия колдуна, чем святого. Он не исцеляет, а наказывает, «напускает порчу».

Все это говорит о том, что «Житие Михаила Клопского» прошло через народную трансформацию. Уйдя от литературного канона, оно обратилось к каким-то мало для нас ясным фольклорным канонам XV века¹.

Таким же необычным с точки зрения агиографического жанра представляется и «Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» Иннокентия. Смерть святого, изолированно от всего остального его жития, описывалась в средневековой литературе только в мантиях — произведениях, посвященных страданиям святых за веру. Но Пафнутий не мученик, и описание его тихой и скромной смерти отнюдь не мантий. Однако построено это описание смерти отдельно от всей его

¹ Фольклорные каноны хотя и медленно, но меняются так же, как меняются и каноны литературные.

остальной жизни, ведется так, что читатель ждет развития событий с захватывающим интересом.

«Рассказ о смерти Пафнутия Боровского» совсем не так безыскусствен и прост, как это обычно считается. Это вовсе не простая запись событий, случившихся в последние дни жизни Пафнутия. Напротив, это очень искусное литературное произведение, в котором литературность круто замешена на бытовом материале, введена в ткань повествования и сказывается во множестве мелочей. И любопытно: чудо также стало материалом литературной интриги, предсказание вызывает не столько религиозное благоговение, сколько литературную заинтересованность в чтении.

Поведение Пафнутия Боровского с самого начала повествования загадочно. Его слова непонятны его келейнику — Иннокентию. Только потом выясняется, что Пафнутий предчувствует свою кончину. Повествование Иннокентия поразительно именно с точки зрения литературного умения, а вовсе не безыскусственной простоты записей о последних днях жизни святого. Впервые в русской литературе предстает перед читателем образ рассказчика, как бы не понимающего того, что происходит, как бы «не догадывающегося» о значении слов святого, намекающего на свою предстоящую кончину. Пафнутий говорит не прямо, а как бы недоговаривая или прибегая к загадкам. Когда Иннокентий просит Пафнутия поучить его с братией, как предотвратить размыв плотины, Пафнутий отвечает: «Нѣсть ми на се упражнення, понеже ино дѣло имамъ неотложно...» По существу, с этого ответа и начинается повествование. Перед читателем встает вопрос: какое же дело может быть более неотложно, чем начавшийся размыв плотины, грозивший погубить мельницу? Ответ на этот вопрос следует вскоре. Пафнутий зовет к себе Иннокентия и объясняет ему свое «неотложное дело», но объясняет опять-таки иносказательно, не прямо: «Нужу имам, ты не вѣси, понеже съуз хочеть раздрѣшиться». Каким же узам надлежит порваться? Снова не понимает его Иннокентий, и снова один за другим следуют «необычные глаголы» Пафнутия и непонимание их значения Иннокентием.

Пафнутий делает вид, что вкушает пищу, даже хвалит ее, чтобы не заставлять братью по его примеру отказываться от еды: «Ядите, а я со вами, понеже добра (хороша. — Д. Л.) суть». Как разъясняет Иннокентий: «...видящим... чрѣвообъястна себе показоваше». В этом уже какое-то небольшое проявление юродства: не только скрывать свои подвиги христианского аскетизма, но и показывать обратное, скрывать свое благочестие, даже прибегая к обману.

В поучениях Пафнутия звучат новые идеалы: не брать на себя больше своих возможностей,— это не только не на пользу, но и во вред душе, не возноситься над немощными братьями — ни в мыслях, ни в поступках, быть милосердным к ним, как и к собственной плоти своей. Но прежде всего — спешить делать добро. Не просто делать, но спешить, не откладывать.

Только постепенно перед читателем начинает раскрываться загадка всего поведения Пафнутия. Интерес читателя постепенно переходит в ожидание столь торжественно, длительно и значительно подготовляемой Пафнутием своей кончины. Перед нами своеобразный церемониал: церемониал в жизни и церемониал в литературном изображении. Все земное и суетное отходит в сторону. Самое важное отстраняет от себя Пафнутий, не принимает посланцев князя и самого князя, не вкушает пищи и питья.

В этом отвержении старцем всех сует мира сего постепенно раскрывается перед читателем вся его мудрость. И если в начале повествования старец Пафнутий предстает перед нами как простой человек в окружении скромного монастырского быта, то под конец, когда он умирает, читатель ясно видит, каким великим он был. Весь град, «не точью игумени, и съвященници, и мниси, но и содержащии того града намѣстници и прочий общий народъ» при известии о смерти старца направляются в монастырь поклониться его гробу.

Иннокентий знает в тот момент, когда пишет свою «Записку», что означают все слова Пафнутия и что вообще означает его поведение, но он не сообщает раньше времени об этом читателю, возбуждая его интерес и доводя до предельного напряжения свое повествование.

Мистическое предчувствие используется Иннокентием как главный стержень литературной занимательности повествования. Повествователь знает, но не говорит раньше времени, изображая себя наивным и недоумевающим. Это прием литературы Нового времени, как бы проникший раньше времени в литературу древнюю.

Появление в литературе внешней занимательности — это факт чрезвычайной важности в литературном развитии. Это один из самых значительных признаков начавшейся литературной эмансипации от ее подчинения дидактическим и «общающим» задачам.

Иннокентий пишет: «Отцы и братья! Пусть никто не осудит меня за то, что часто себя называю. Увы моему окаянству! Но если про себя умолчу, то ложь напишу». Последние слова замечательны: правда стала ощущаться

по-новому. Если прежде правда была неким идеальным осмыслением действительности, то теперь она стала слепком с действительности, из которой ничто не могло быть исключено — в том числе и сам автор, и даже — автор по преимуществу.

Тема смерти чрезвычайно характерна для всего европейского искусства XV века. Но именно на ней, на теме смерти, на том, как она предстает перед людьми этого времени, наиболее ярко может быть представлено различие между русским и западноевропейским «видением» мира и жизни.

Если в позднеготической или, скорее, раннеренессансной книге, изданной в Нидерландах в 1460 году, которая учила людей счастливо умирать, на гравюре изображена явившаяся к постели умирающего мужчины толпа посетителей, среди которых и души умерших, и ангелы, задача которых отогнать от умирающего демонов, стремящихся унести душу умирающего в ад¹, то смерть русских праведников совершается в тиши уединения. Пафнутий всячески стремится отдалить от себя людей, уединиться, скрыться от людей, желающих принять от него благословение. Пафнутий умирает, зная о приближающейся смерти, иногда намекая на готовящееся событие окружающим, но только для того, чтобы ему не докучали с мирскими заботами, оставили его спокойно приготиться к смерти.

Естественная смерть в русских житиях святых вовсе не страшное событие, а скорее радостное.

«Хожение за три моря» как будто бы принадлежит к жанру хождений: и в хождениях в «Святую землю», и в хождении в не названную в заглавии страну «за три моря» (в некую неизвестность) одинаковым образом описываются достопримечательности, расстояния между ними и пути к ним, но «достопримечательности» эти диаметрально противоположны: в хождениях в «Святую землю» — это святыни, в хождении в языческую страну — это в основном то, что может интересовать «грешного» купца: товары и условия путешествия. И если в хождениях в «Святую землю» укреплялась вера, то в «Хожении» Афанасий Никитин с горечью пишет: «Ино, братии рустии християны, кто хощет поити в Ындѣйскую землю, и ти остави вѣру свою на Руси, да воскликнув Махмета да поити в Гундустанскую землю».

Не случайно Афанасий Никитин называет свое хоже-

¹ См. Бенеш О. Искусство Северного Возрождения: Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973, с. 58.

ние — «грешным хождением». Соблазны подстерегают его на каждом шагу. И самый главный из соблазнов — соблазн необычной для средневекового сознания религиозной терпимости. Пример этой терпимости подали Афанасию сами индусы, и такой, что он не мог не оценить его в полной мере. Индийцы неоднократно предлагали Никитину перейти в свою веру, но был и такой эпизод: когда Афанасий открыл им свою веру, — они доверились ему, не стали от него ничего скрывать — ни о еде своей, ни о торговле, ни о своих молитвах, ни о вере. Доверие настолько установилось, что и жен своих индийцы перестали от него прятать.

В своем длительном хождении Афанасий Никитин запутался в церковном календаре. Он забыл, когда пасха, когда пост, и стал поститься вместе с местными жителями. Иными словами, он частично признал их веру. Он даже молился на их языке и в своих записках священные слова молитв пишет на тюркских наречиях. Это воистину своеобразное «антихождение» — «хождение наоборот» и «Святая земля» «навыорот». Парват в Индии — все равно что Иерусалим для русских, пишет он, а для магометан — Мекка. Статую бута он сравнивает со статуей Юстиниана Великого в Константинополе, которую знает, очевидно, по описанию ее в хождении Стефана Новгородца. Он проводит аналогии между религиями и приходит к заключению: «...а правую веру один бог знает».

Составляя свое произведение как «грешное хождение» — хождение по смыслу своему прямо противоположное хождению в «Святую землю» — Афанасий чувствовал себя вполне свободным от литературного этикета церковных хождений. Он пишет, как думает: записывает, очевидно, во время самого путешествия, записывает для себя и для своих товарищей, кто вздумает последовать его примеру и отправиться «за три моря». Брал он, по-видимому, товары с родины в долг и первое время описывал свои злоключения, чтобы оправдаться по возвращении перед своими заимодавцами, не очень доверяя своей памяти, а потому записывая имена и названия, потом становится заметно его стремление собрать полезные сведения для своих купцов-товарищей, а под конец он пишет и для себя — только для себя, а потому на тюркских наречиях, чтобы никто не смог прочесть на родине то, что он записал.

Его записки поражают поэтою своей простотой и безыскусственностью, но они и искусны, ибо пишет он, хоть и не следуя традиции, но все же отталкиваясь от нее.

Одно из самых «продвинутых» в историко-литературном отношении произведений конца XV века — «Повесть о Хмеле». Это своеобразное литературное «предчувствие» сходного про-

изведения конца XVII века — «Повести о Горе-Злочастии». И тут и там рок персонифицируется, пьянство или горе становятся двойниками человека, преследующими его и доводящими до гибели.

«Повесть о Хмеле» — одна из первых персонификаций отвлеченного начала в русской литературе, благодаря которой в литературу властно входит фантазия.

«Повесть о Хмеле» очеловечивает Хмель. Хмелю предоставляется авторское слово. Хмель говорит похвальное слово самому себе, подчеркивая свое могущество, первенство, славу — и ничтожество тех, кто в его власти. Хмель красуется и играет перед читателем или слушателем.

«Тако глаголетъ Хмель ко всякому человеку, и ко священническому чину, и ко князем и бояром, и ко слугам и купцамъ, и богатым и убогим, и к женамъ такоже глаголетъ...»

Ритмическая организация речи переходит в стихи. Это нечто среднее между высокой литературой, повернутой иронически на низкую тему, и скоморошьям раешником.

Литература не стоит на месте. Развивается ее содержание, система жанров, стили, язык. Самые пути ее развития — и те также меняются в зависимости от исторической обстановки, социального расклада сил и культурной ситуации. Следовательно, каждая эпоха в той или иной степени является переходной. Переходной являлась и литература второй половины XV века. У каждого переходного периода есть свое «будущее». Было это будущее и для литературы XV века. Чтобы понять до конца литературу любого периода, необходимо знать ее будущее — «будущее» своего времени. Но к будущему той или иной эпохи принадлежит только то, что является закономерным, что продолжает наметившиеся в предшествующий период тенденции. Но случайности тоже играют свою роль в развитии литературы. Появление талантов с ярко выраженной индивидуальностью может быть своего рода общественной закономерностью. Может быть закономерной и направленность талантов, их характер. Однако все же создание того или иного произведения, даже его сохранность, отдельные темы часто обусловлены причинами случайными.

Кратко остановимся только на тех явлениях первой половины XVI века, которые были продиктованы всем развитием литературы второй половины XV века и не явились простой случайностью.

XVI век в литературе продолжил ту линию развития, которая сформировалась в XV веке. Все больше и больше начинает в литературе проявляться государственная тема и

светские заботы, огромную силу набирает публицистика, вера в возможность разумными мерами преобразовать страну, создать общество на основах рационального распределения обязанностей среди всех слоев населения. У публицистов XVI века формируется стремление найти «вечные», разумные, логические, незыблемые основания для новой социальной справедливости. Публицистическая мысль наполняет собой произведения любых традиционных литературных жанров этого периода, а вместе с тем продолжается и процесс жанрообразования на основе «деловых» видов документов — челобитных, писем, постановлений церковного собора, ставленых списков и т. п. Публицистический задор заставляет в XVI веке братья за перо рядового монаха и митрополита, холопа и боярина, мелкого служилого дворянина и самого царя. Значение литературы настолько возрастает, что появляется стремление в письменном виде обобщить весь предшествующий литературный опыт и все предшествующие литературные произведения: исторические — в «Степенной книге царского родословия» и Лицевом своде, ежедневное чтение — в «Великих Четвях-Минеях», где каждому дню года соответствовал бы свой подбор произведений, и притом немалый, все наставления к повседневной жизни — в «Домострое», все церковные наставления — в «Стоглаве» и т. д. и т. п.

Под огромным небом русской действительности литература все растет в своем общественном значении, все больше занимает места в жизни страны, становится одной из самых влиятельных сил в государстве.

ЭПОХА РЕШИТЕЛЬНОГО ПОДЪЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVI ВЕКА)

Первая половина XVI века — эпоха, когда развивается вера в социальное переустройство общества на основе принципов «правды», то есть «истины-справедливости».

На первый план начинает выступать новое сословие — сословие дворян — служилых людей, выдвигаемых не по родovitости и заслугам предков, а по личным достоинствам и стремящихся укрепить свое положение различными проявлениями преданности государству и его главе — великому князю московскому.

Как и всякий новый общественный слой, дворянство стремится идеологически обосновать свои права и притязания, верит в силу разума. Впрочем, вера в доводы разума характерна не для одного дворянства. Во всем русском обществе поднимается вера не только в рассудок, логику, разумную целесообразность, но и в силу человеческого слова, в книгу. Роль и значение литературы поднимается необыкновенно. Сама литература меняет свой характер, становясь все более и более философичной, и проникается духом публицистической полемики.

Никогда прежде не спорили так много в Древней Руси, как в первой половине XVI века. Развитие публицистики — политической и философической — идет на гребне общего подъема веры в разум, характерной и для ренессансной Европы XVI века. О значении книжного слова неоднократно пишется в сочинениях, приписываемых приехавшему с Запада дворянину Ивану Пересветову. В «Сказании о царе Константине» Пересветов считает, что основной причиной неудач Константина было то, что вельможи его — «ленивые богатые» — дали ему прочесть неправильные книги, в которых проводилась мысль, что царь не должен ходить войной «на иноплеменническую землю», в результате чего «царь кни-

ги прочел, да укротел». С другой стороны, успехи султана Магмета Пересветов объясняет опять-таки влиянием книг — на этот раз правильных и мудрых: «Царь турецкой Магмет-салтан сам был философ мудрый по своим книгам по турецким, а се греческия книги прочел, и написав слово в слово по-турски, ино виликия мудрости прибыло у царя». Рассказав о той «правде», которую ввел Магмет в своем царстве, Пересветов заключает: «А ту мудрость царь снял з греческих книг, образец — таковым было греком быти»; «А то царь Махмет списал со христианских книг ту мудрость»; «Махмет списал со христианских книг ту мудрость и праведный суд»; «А все то Магмет-салтан, турецкой царь, снял образец жития света сего со христианских книг».

Пересветов придает исключительное значение «речам» волошского воеводы Петра. Он стремится пересказать их царю; сообщает царю то, что пишут о нем в Литве «философи греческия и дохтуры латынския». Наконец, в особом «Сказании о книгах» Пересветов рассказывает, как Магмет-салтан повелел у константинопольского патриарха Анастасия взять и перевести на турецкий язык христианские книги, с которых «снял образец жития света сего», то есть заимствовал образец общественного устройства.

Вера в возможность установить социальную справедливость с помощью убеждения и доброй воли просвещенного законодателя-князя отличает и сочинения другого замечательного писателя — протопопа кремлевского Благовещенского собора Ермолая-Еразма. Ермолай-Еразм предназначал свои сочинения для государя. К государю обращена его «Правительница» и «Моление к царю», его «челобитные», а отчасти сочиненные им на основе местных сказаний жития — «Повесть о Петре и Февронии Муромских» и «Повесть о Василии Рязанском», в которых он в косвенной форме поучает государя социальной справедливости и выступает против своеволия и спеси боярства.

В связи с этой верой в силу личного убеждения следует поставить и общее Пересветову и Ермолаю-Еразму желание, чтобы царь лично прочел их писания. Об этом Пересветов просит царя в первой своей челобитной; об этом же просит Грозного Ермолай-Еразм в своем «Молении к царю».

Вера в силу книжного слова была характерна в это время не только для представителей дворянской литературы. Однако эта вера имела свои оттенки в каждом из сословий. Представители церкви, обращавшиеся к государю со своими посланиями, надеялись в основном не только на силу своих доводов (как Пересветов и Ермолай-Еразм), но и на авторитет церкви. Митрополит Даниил самое свое слово считал как

бы данным ему богом: «даде нам господь бог от слова помощь». Представители же боярства редко предназначают свои сочинения непосредственно для царя. Они излагают свои взгляды не только для того, чтобы кого-то убедить, но и чтобы просто выразить свое негодование окружающими непорядками. Впоследствии Вассиан Патрикеев говорил, что его называли «дерзким языком». Он жаловался, изливал свои недовольства. «Что убо безмилостивно и спротивно Святым Писанием сътворяю, аще о сицевых беседую с боголюбивыми князи, *плачася и рыдая* церковное нестроение».

Вера в книги была присуща и оппозиционному кружку, собиравшемуся вокруг приехавшего на Русь ученого-гуманиста Максима Грека. Участник кружка Берсень-Беклемишев спрашивал Максима, «как устроить государю землю свою, и как людей жаловати, и как митрополиту жити». Максим отвечал ему: «...У вас *книги* и правила есть, — можете устроится».

Мировоззрение дворянских публицистов проникнуто максимально действенным началом. Это сказывается не только в обращениях к царю и воинству с «коня не сседати», «на инопленники ходити воевати», в призывах к коренным преобразованиям в социальной и государственной сфере, но и в общепублицистских посылках всей их публицистической деятельности. В этом отношении особенное значение имеет учение Ивана Пересветова о превосходстве «правды» над «верою». «Правда» — это исполнение веры, это практика, действительность, справедливость, устроенная самими людьми — волей государя в первую очередь. Одной веры, по представлениям Пересветова, недостаточно. Необходимо воплощение этой веры в «правде», то есть «истине-справедливости». Без «правды» вера не нужна. «Коли правды нѣтъ, ино то и всего нѣту»; «правда богу сердечная радость»; «бог не веру любит — правду»; «бог любит правду лутчи всего» и т. д. Следовательно, только практическое осуществление добра есть ценность. Это резко противостоит лютеранским представлениям о примате над всем именно веры, которая одна якобы спасает человека.

Идея по пути признания первенства практики над «верою», Пересветов дошел до крайних границ отрицания «веры». Он высказывает чрезвычайно смелую мысль о том, что православные греки, которые «Евангилие чли, а иные слушали, а воли божия не творили», оказались менее угодны богу, чем магометане турки, которые хотя и не имели истинной веры, но «правду» осуществляли. С изящной смелостью формулируя свои мысли, Иван Пересветов заявляет о русском царстве: «Есть ли к той истинной вере христианской

да правда турецкая, ино бы с ними ангели беседовали!» Бог отдал греческое царство в руки магометан за то, что в нем власть императора оказалась ограниченной вельможами, за то, что вельможи творили неправый суд, томили народ рабством. «Обленившиеся» вельможи своею леностью «богу лжут и государю». Отсюда требования Пересветова самой сильной, самой неограниченной и самой деятельной власти: «Царь — кроток и смирен на царстве своем — и царство его оскудеет, и слава его низится. Царь на царстве грозен и мудр — царство его ширеет, и имя его славно по всем землям».

Чтобы ввести в царстве своем «правду», нужна «гроза»: государь должен быть грозен для своих подданных. Без грозы «правды в царство не мощно ввести. Правда ввести царю в царство свое, ино любимого не пощадити, нашедши виноватаго. Как конь под царем без узды, так царство без грозы». Здесь почти что обоснование будущих жестокостей Ивана Грозного.

Таким образом, максимальная собранность всех сил государства для введения «правды», наибольшая активность, отрицание «веры» без «правды», неуклонное до беспощадности проведение в жизнь всех мероприятий государственной власти — таково деятельное и бескомпромиссное мировоззрение поднимающегося сословия — дворянства, заинтересованного в реформах, во внедрении нового и в искоренении старых порядков феодальной раздробленности и самого боярства как сословия, опирающегося на заслуги предков, а не на собственные способности и дела.

Культ разума, деятельного проведения разумных начал в жизни фактически ведет в мировоззрении Пересветова к требованию последовательной и постепенной секуляризации, обмирщению всей жизни. Пересветов выступает против церковного провиденциализма. Не бог, но сам человек творит свою судьбу, а бог только «помогает» тем, кто стремится ввести в жизнь «правду» — справедливость и разумность. «Богъ помогает не ленивым, но кто труды принимает и бога на помощь призывает, да кто правду любит и праведный суд судит. Правда богу сердечная радость, а царю великая мудрость».

Мировоззрение дворянских публицистов проникнуто духом реформаторства, стремлением активно преобразовать общество на «разумных» или казавшихся разумными основаниях, не считаясь ни с чем.

Литература приобретает публицистический характер. Публицистика же требует немедленного вмешательства в жизнь, немедленного ее «исправления». Публицистика в XVI

веке с ее челобитными, ставшими своеобразным литературным жанром, с ее проектами, была наиболее действенной формой литературы. Она не только поучала и убеждала — она порой как бы приказывала, распоряжалась (так стало вскоре с произведениями Грозного, так было и в посланиях митрополитов), вносила на рассмотрение общества разработанные до мелочей деловые проекты (Ермолай-Еразм и Иван Пересветов).

Однако Пересветов выступает и за свободу страны. Он пишет: «Которая страна порабощена, те люди не храбры». Против чьего же насилья выступает Пересветов и чью свободу он отстаивает? Из всего контекста его сочинений ясно: против насилья и притеснения «вельмож», бояр.

Итак, с одной стороны — убежденность, что только от одного человека, государя, от его ума и просвещенности зависит благосостояние страны, а с другой — проповедь свободы и «добровольного» начала даже в военной службе. Противоречие это характерно для идеологии так называемого «просвещенного абсолютизма», в разных формах и вариантах проявившего себя в XVI веке по всей Европе.

Противоречие между требованиями абсолютной власти монарха и стремлением к свободе сказывается прежде всего в вопросе об организации вооруженных сил Русского государства. Вопрос о свободе возник в сочинениях Пересветова в связи с необходимостью заменить феодальное ополчение регулярным войском. Первое собиралось по принуждению, второе находилось на жалованье (денежное жалованье, пожалование поместьем, натуральное довольствие). Иван Пересветов постоянно подчеркивает, что воевать нужно за награду, а не по принуждению: «Воинника держати, как сокола чредити: и всегда сердца имъ веселити». Авторы публицистических произведений связывают свои предложения социальных реформ с необходимостью укрепить русское войско, реорганизовать его. Авторы аргументируют необходимость этих реформ тем, что они сделают русское войско более мощным, позволят быстрее созывать ратников во время военной опасности, укрепят их дух и т. д. Образование централизованного государства на востоке Европы было ускорено интересами обороны. Следовательно, интересы обороны диктовали многие государственные реформы. Войны на востоке, юге и западе России создавали необходимость в такой государственной системе, которая отвечала бы нуждам военным.

Как рассказывает о себе сам Иван Пересветов в своей «Малой челобитной», он выехал в Россию из-за границы

«на царское имя» и вывез с собой образец гусарского щита, который хотел распространить в русском войске. Это не было безделкой, мелким военным изобретением. От такого рода изобретений зависел исход сражений. Гусарский же щит Пересветова представлял собой серьезную защиту пешего войска от атак степной конницы. Щит был одобрен, и через боярина Михаила Юрьевича Захарьина Пересветов получил крупный заказ на такие щиты. «И Михайло Юрьевич образцы посматрив, и тебѣ, государю, службу мою похвалил и обо мне тебѣ, государю, печаловался. Дѣлати было, государь, мнѣ щиты гусарския добраго мужа косая сажень, с клеєм и с кожею сырицею, и с ыскрами, и с рожны желѣзными,— а тѣ, государь, щиты макидонсково обрзца. А дѣлати их в ветляном древе, легко, добрѣ и крѣпко: один человек с щитом, гдѣ хочет, тут течет и на конѣ мчит. И тѣ щиты в поле заборона: из ближняго мѣста стрела немет, а пищаль из дальные цѣли неймет ручныя. А из-за тѣхъ щитов в поле с недругом добро битися огненною стрельбою из пищалей и из затинных, з города».

Эти сведения о себе Ивана Пересветова, сообщаемые им в «Малой челобитной», чрезвычайно существенны для понимания его публицистической деятельности. Иван Пересветов был военным. Он заботился об укреплении военного могущества Русского государства в первую очередь. История с гусарскими щитами очень показательна. Иван Пересветов как писатель делал то же, что он делал как профессионал военный: он и делом и словом стремился к переустройству русского войска. Его вооружение он пытался улучшить, создавая производство нового типа щитов; его организацию он пытался усовершенствовать, предлагая реформы в своих публицистических сочинениях.

Заканчивая свою «Большую челобитную», Пересветов подчеркивал, что приехал он служить царю «с тѣми речми и з дѣлы с воинскими» потому, что услышал, что русский царь имеет «от бога мудрое приращение и счастливое к воинству». Ради этого Пересветов оставил «службы богатыя и безручинныя». Публицистические сочинения Ивана Пересветова далеко перешагнули основную волновавшую его тему устройства русского воинства и имели гораздо более широкое значение, но об исходной теме всей деловой и публицистической деятельности Пересветова не следует забывать. Забота о военных силах Русского государства не раз сказывается в его сочинениях. О «воинской мудрости» царя, раньше чем об «управѣ во царствѣ своем» и «уставе жития царьского», говорит Пересветов в «Большой челобитной». Богатство и знатность ослабляют воинов. «Хотя и богатырь обогатѣть, и обле-

нивеетъ. Богатый любит упокой». Мысль эту Пересветов повторяет дважды, настойчиво подчеркивая, что вельможи плохие воины. Он приводит в пример греческое царство, в котором вельможи царством «обладали... и изменяли и царство измытарили своими неправедными суды», собирали богатства «от слез и от крови христианския», а сами «обленивели, за вѣру христианскую крѣпко не стояли», царя отвлекли от военных дел и тем погубили страну. Он советует царю приближать к себе тех воинов, которые «люто» могут «против недруга государева смертною игрою играти», возвышать их имена, раздавать награды, выслушивать жалобы и любить их, как отец любит своих детей. Пересветов предлагает огнем жечь и иными «лютыми смертями» истреблять тех, кто отвращает царя от его воинских дел. «А царю без воинства не мочно быти,— говорит Пересветов,— ангели божии, небесныя силы, и тѣ ни на един час пламенного оружия из рукъ своих не выпускают, стрегут рода христианского от Адама и до сего часа, да и тѣ службою своею не скучают. А царю как без воинства быти? Воинником царь силенъ и славен. Царю быти благодатию божиею и мудростию великою на царстве своем, а до воинников быти ему аки отцу до детей своих щедрю. Что царская щедрость до воинников, то его и мудрость. Щедрая рука николи же не оскужает и славу себѣ великую збирает». Пересветов не только предлагает царю укрепить свое воинство, но и поощряет его к завоеванию Казанского царства. Он передает слова, сказанные Петром, волошским воеводой: «Да тому велми дивимся, что та земля (речь идет о Казанском царстве.— Д. Л.) не велика и угодна велми у таково у великово у силеново царя под пазухою в недружбе, а онъ ей долго терпит и кручину от них великую принимает».

Те или иные наставления о «воинской мудрости» заключают в себе и «Сказание о царе Константине», и «Сказание о Магмете-салтане», и «Предсказание философов и докторов», и «Малая челобитная», и «Сказание о книгах», то есть все те произведения, которые традиционно приписываются Пересветову. В сущности, предложения Пересветова можно рассматривать как предложения воинских реформ в первую очередь. Они соответствовали интересам дворянства и не случайно частично осуществлялись впоследствии Иваном Грозным при содействии Адашева. Это объясняется тем, что воинские реформы мыслятся Пересветовым с необычной для своего времени широтой, как реформы всего государственного и социального строя, исходящие из интересов и идеологии дворянства.

Но не только Пересветов занят идеями этих воинских

преобразований. Стремлением к укреплению армии отмечена и «Правительница» Ермолая-Еразма. Он предлагает регламентировать ратные повинности помещиков количеством отводимой им земли. С каждой территориальной единицы — «четверогранного поприща» — выходит на военную службу сам помещик и его слуга в бронях. Помещик и слуга живут в городе, чтобы в случае нужды немедленно явиться по призыву. И самые размеры «четверогранного поприща», устанавливаемые Ермолаем-Еразмом, и повинности крестьян в отношении помещиков определяются в известной мере этой воинской организацией.

Сочетание строжайшей дисциплины и добровольности, личной заинтересованности представляются обоим реформаторам — Пересветову и Ермолаю-Еразму — наиболее разумным решением вопроса. Жизнь, однако, показала, что такое сочетание не всегда бывает возможным: в феодальной Руси либо одно, либо другое берет верх, и тогда возникает или деспотизм вместо дисциплины, или же бунт вместо свободы.

Стремление найти «вечные», разумные, логические, неизблемые основания в самой жизни, провозгласить общие принципы, которые устанавливали бы основы социальной справедливости, в широкой степени характерны не только для воинских проектов Ермолая-Еразма. Он говорит об обязанностях царя заботиться о благе своих подданных, исходя из воззрений на Русское государство как на единственное православное государство во всем мире. Благо подданных Ермолай-Еразм понимает, стремясь найти общие принципы его в самом мироздании. И в этом отношении огромный философский интерес представляет созданная им концепция. Он утверждает: в основе всего социального порядка находятся крестьяне, так как производимый ими хлеб — главный источник жизни. «В начале же всего потребни суть ратаеве (пахари.— *Д. Л.*); от их бо трудов есть хлеб...» Хлебом питаются все — от царя и до крестьянина; хлеб — свят, он возносится в таинстве евхаристии. Хлеб — основа благосостояния людей и государства. Следовательно, крестьяне, непосредственные производители хлеба, — главный слой населения. И он называет крестьян необычно и торжественно — «ратаи».

Как и Пересветов, Ермолай-Еразм выступает против знатности. Неравенство может основываться только на неравном труде. Большой надел должен соответствовать большим обязанностям. «Аще же будет гдѣ поприще по поприщу землю неравно, есть бо тако и людие: суть въ едином удобствии,

сирѣчь равенствѣ, имут же нѣкая отстояния, межю себе суще неравна, по человеку убо разсмотримъ, и поприще раздѣляетъ лучшимъ лучешая». Дворянский характер этого внешне демократического принципа ясен. По существу, он обосновывает право на предоставляемые поместья и отрицает право на наследственные вотчины. Ермолай-Еразм пишет про вельмож, что они «ни от коих же своих трудов доволствующе», и противопоставляет им служилое дворянство, которое, по его мнению, несет службу не бездельно и за эту службу получает землю и крестьян. О награждении последних землей Ермолай-Еразм умалчивает.

Ермолай-Еразм заявляет в «Молении к царю», что он ставит себе целью своими предложениями достигнуть «благоугодия земли и умаления насильства». Однако Ермолай-Еразм озабочен по преимуществу тем, чтобы владение крестьянами передать из рук боярства целиком в руки дворянства. Он стремится также упорядочить эксплуатацию крестьян.

Наставлять подданным царя, а царю подданных стало одним из важнейших дел культа разума, столь характерного для европейского XVI века. К этому же роду наставительных произведений принадлежат и сочинения Максима Грека, обращенные к игуменам и простым инокам. Наконец, и обычные исторические сочинения, и повести клонились к этому наставительному пафосу, пафосу исправления нравов, привычек, поведения и управления начальников и монархов. «Повесть о царице Динаре» — это произведение о мудрой управительнице. И мудрости своей сама царица Динара учится из опыта истории и исторических книг: «Первѣе — показа любовь ко властодержавцемъ своимъ, и милость к народомъ, и праведный суд. И паче всего имѣаше прилежание к божественному Писанию, и о преднихъ царѣх и властодержавцех, како бѣ пребывание в нихъ и временное прехождение, и от того навиче воиньской храбрости. Якоже пчела събираетъ от цвѣтовъ медъ, тако и сиа Динара от памятныхъ книгъ».

Не случайно и увеличение значения переводных произведений, обращенных с наставлениями именно к главам государств. Таковы, например, нравоучения Аристотеля Александру Македонскому, собранные в замечательном памятнике «Тайная тайных». В наставлениях Аристотеля звучит тот же призыв выбирать людей не по их происхождению, а по их способностям. В главе «Об управлении слугами своими, и боярами, и вителями (глава 6. Пятница)» Аристотель говорит Александру: «А не смотри на отчину (происхожде-

ние.— Д. Л.) их, но на дела их» — и о том же напоминает в связи с советами стеречь правду, справедливость и закон: «И досмотряй достоинства каждого человека к службе своей, ни земли его, ни роду его». «Тайная тайных» внимательно читал и Иван Грозный, как это видно из многих рассуждений в его посланиях.

На несколько иных позициях стоит философ и публицист XVI века Федор Карпов. С общеморальных позиций Федор Карпов протестует против «терпения», то есть безусловного подчинения подданных царской власти. Он утверждает, что «терпение» приводит к неограниченному произволу властителей, что покорность развращает власти, и постоянно сетует на современность, на безнравственность современного ему общества. Мировоззрение Федора Карпова, в сущности, пессимистично. Его идеал покой, и он ищет этот покой в потустороннем мире. В конце своего послания к митрополиту Даниилу Федор Карпов пишет об обетованной земле живых, о рае, в котором «часы не начинают дней, восхода и захода не имѣють, годового предѣла не стяжут, старость младенства не пременяеть, немощь здравия не озлобляеть, смерть живота не скончаваеть; времена несчастья тамо не чаются, тамо вся красна, ничто неблаго, вся добра, ничто спротивно, нѣсть труда телеснаго или мысленаго, но всегда бес конца тихий покой, никоего неразумия, но всевѣчна премудрость».

Огромная роль, которая отводилась в мечтах и чаяниях людей первой половины XVI века Русскому государству, побуждала к созданию особой теории его национального и мирового значения, которая обосновывала бы право этих надежд. Русское государство становится «идеологическим государством» — со своей теорией общемировых обязанностей и права на эти обязанности.

Чем решительнее и чаще обращались публицисты и проповедники к государям всея Руси с требованиями внутренних реформ и укрепления власти, тем больше возрастала убежденность самого государства в своем общерусском и мировом значении. Это было решительное изменение во взглядах русских государей и князей отдельных княжеств на самих себя. Ничего подобного не было в предшествующие века. В предшествующие века главы отдельных русских княжеств ощущали свои права как права владельцев, обязанности же свои ограничивали самозащитой и защитой населения своих княжеств от внешних вторжений. Объединив отдельные русские княжества под своей властью, московские государи стали воспринимать свои обязанности прежде всего

как некое служение — служение православию во всем мире, а себя — как единственных после падения Византии защитников православия во всем мире.

Права и обязанности в средние века были прежде всего правами по наследованию и удостоверялись определенными знаками, пророчествами, регалиями, генеалогическими «свидетельствами» — родословными и «сказаниями». Поэтому все теории власти о мировой роли Русского государства, которые начали возникать в XV и XVI веках, строились прежде всего на обоснованиях права по наследству — от Рима Восточного и Рима Западного, или Первого.

Три теории привлекли к себе внимание русских государей и были ими восприняты для обоснования своих неограниченных прав на вмешательство в судьбы мира: теория, изложенная в «Повести о Вавилонском царстве» и обоснованная там обретением царских регалий, теория, высказанная «попутно», как сама собой разумеющаяся, в посланиях старца псковского Елеазарова монастыря Филофея о Москве — Третьем, и последнем, Риме — и третья теория, основная часть которой была создана бывшим московским митрополитом Спиридоном-Саввой и изложенная им в «Послании о Мономаховом венце», а затем переработанная и официально принятая в «Сказании о князьях владимирских», где власть московских государей рассматривалась как унаследованная от римских цезарей.

Что было между ними общего и в чем они различались?

«Сказание о Вавилоне-граде» («Повесть о Вавилонском царстве») — наиболее ранняя из попыток заявить и обосновать права Русского государства. Она относилась к XV веку и рассказывала легенду о том, как равные права получают одновременно для своих царств грек, грузин и русский. Они проникают в заколдованное и таинственно охраняемое Вавилонское царство, где и получают венцы царя Навуходоносора, драгоценные камни и кубки.

Важно отметить, что, несмотря на весь свой сказочный характер, «Сказание» было включено в XVI веке в официальный сборник.

Сказочный характер «Сказания о Вавилоне-граде» не мог, однако, удовлетворить читателей, искавших более деловитых и бесспорных исторических оправданий прав русских государей на власть. Сказка не претендует на достоверность — скорее на занимательность. Поэтому вскоре рядом со «Сказанием о Вавилоне-граде» появляется другая легенда — «Сказание о князьях владимирских».

«Сказание о князьях владимирских», ставшее в конце концов официальной концепцией исторических прав Русского

государства в XVI веке, прошло несколько стадий в своем развитии. Создал историческую легенду тверской монах Спиридон-Савва, посвященный в XV веке в Царьграде в митрополиты всея Руси, но не признанный в Москве и сосланный московским великим князем в Ферапонтов монастырь. Ему первому принадлежит идея связать родословие московских князей с римскими цесарями. Он составил «Послание о Мономаховом венце», в котором утверждал, что от Августа-кесаря его потомок Прус получил свою часть на востоке Европы. Это его наследство перешло затем к его потомку Рюрику, а от него к русским князьям рюриковичам. Вторая часть того же послания излагает историю получения в Царьграде «шапки (венца) Мономаха» Владимиром Мономахом, а с ним вместе и других даров, удостоверяющих его царское достоинство. Третья часть послания — родословие литовских князей гедиминовичей, свидетельствующее о том, что Спиридон-Савва, создавая свою легенду, не собирался непременно связать ее лишь с московскими князьями и их правами на царский венец. Этому послужило уже другое произведение, сохранившее тот же легендарный характер, — «Сказание о князьях владимирских». Неизвестный нам автор специально приспособил легенду, изложенную Спиридоном-Саввой в его послании для доказательства правомерности притязаний потомков Даниила Александровича московского через его сына Юрия Даниловича на возглавление Руси. Примечательно, что заканчивалось оно упоминанием победы Дмитрия Донского на Куликовом поле, как бы закреплявшим окончательно его права.

Именно это «Сказание» и было принято в качестве официального обоснования прав московских великих князей на возглавление всех русских княжеств, а затем и Русского царства. В 1547 году Иван Васильевич IV был коронован «шапкой Мономаха» на русский престол. На основе «Сказания» был составлен и самый «Чин венчания» московских государей. Идеи «Сказания» излагались в дипломатических документах, в официальных летописях, в «Степенной книге царского родословия». Отдельные сцены из него и самый текст «Сказания» были вырезаны на дверцах царского трона, стоявшего в московском Успенском соборе.

Более же широкое историческое обоснование прав Москвы на первенствующее положение в мире было изложено в неофициальных посланиях псковского старца Филофея. Сперва в «Послании на звездочетцев» 1524 года, а затем еще в двух посланиях, адресованных, судя по относительно поздним спискам, Василию III и Ивану IV, Филофей упоминает о

Москве как о Третьем, и последнем, Риме. Но в официальную мысль представление о том, что Москва является третьим и последним мировым государством — Третьим Римом, вошли не ранее XVII века, и то как бы «под сурдинку» — без помпезного провозглашения своих прав. Согласно этой теории старца Филофея, не представлявшей ничего исключительного для средневековой Европы, где большинство царствующих династий связывали свое происхождение либо с римскими императорами, либо с участниками Троянской войны, мировая история представляет собой последовательную смену мировых держав. Первой мировой державой был Рим Древний (основателями которого иногда выступали герои Троянской войны). Второй мировой державой, пришедшей на смену первому, являлся Рим Второй, или Византия. После же отпадения Второго Рима от православной веры в результате Флорентийской унии и захвата Константинополя магометанами, Третьим Римом, защитницей и центром истинного православия стала являться Москва. «Четвертому же Риму не быть», — утверждала легенда, пока еще, в XVI веке, утвердившаяся в среде сторонников Москвы в Пскове.

Самостоятельная русская общественно-политическая и философская мысль, несомненно, отражала знакомство с переводными философскими произведениями общемирового значения. К таким принадлежали, например, сочинения ранневизантийского богослова Дионисия Ареопажита и «Диоптра» инока Филиппа. Произведение это принадлежит к жанру так называемого «сократического диалога», известного в мировой литературе со времен античности. Поразительна в этом диалоге та роль, которая отводится в нем телу. Тело хотя и признается «служанкой» души, но именно оно учит душу, ибо оно познает мир, познает Писание и сочинения отцов церкви. Без тела душа слепа, нема и бездеятельна. Тело читает, переворачивает листы книг, вникает в суть дела, рассуждает, ибо обладает органами памяти, мысли и восприятия (три части мозга). И хотя душа бессмертна, а тело смертно, но именно оно умеет утвердить свое значение как познающего начала. Душа же слепа и во всем сомневается. Тело разъясняет душе и чисто богословские понятия, учение церкви и, может быть, помимо воли самого автора, утверждает свое превосходство над душой. Спор души и тела создает и своеобразную средневековую гносеологию, в которой чувствам задолго до возникновения философского сенсуализма отводится роль познающего и определяющего познание начала.

Значение «Диоптры», как и сочинений Дионисия Ареопагита, состояло еще и в выработке многих отвлеченных понятий и философской терминологии.

Большое место в «Разговоре Души и Плоти» уделено вопросам воскресения мертвых. Из этих сомнений, одолеваящих душу, мы узнаем о том, в чем были главные сомнения средневековых людей, в чем видели они противоречия церковного учения и как стремились ответить на естественно возникающие вопросы и недоумения. Любопытно, что в роли сомневающегося выступает душа, а в роли утверждающего церковную истину — тело, которое признается основным познающим и размышляющим началом. «Разговор Души и Плоти» явился, таким образом, как бы философским обоснованием той веры в разум, о которой мы говорили в начале этой статьи.

Своеобразным философским произведением была и переводная повесть «Стефанит и Ихнилат». Повесть «Стефанит и Ихнилат» представляет собой собрание басенных поучений глупому царю Льву, объединяемых общим сюжетом. Смысл этих басенных рассказов в том, что одолевать врагов следует не силой, но умом и хитростью: «мудрость больше, чем сила». Опять-таки на первый план выступает разум, мудрость, а порой и простой обман, но обман хитро обдуманый. Повесть «Стефанит и Ихнилат» пришла на Русь с Востока через Византию, по-видимому, еще в XV веке. Не все в этой повести, особенно в ее басенной, нравоучительной части, соответствовало тому, что хотелось русским читателям. Восточная хитрость и обман были явно не по душе русским читателям, озабоченным желанием иметь сильного, мудрого, прямодушного и справедливого царя. Этим объясняется сложная судьба ее текста на русской почве: русские переписчики переставляли ее текст, перетолковывали смысл отдельных рассказов, пропускали некоторые и даже вносили новые.

Развитие публицистической мысли вызвало появление новых форм литературы, новых жанров. Первая половина XVI века отмечена сложными и разносторонними исканиями в области художественной формы. Устойчивость средневековых жанров нарушена. В литературу проникают деловые формы, а в деловую письменность — элементы художественности. Мы видели уже, что темы литературы XVI века близки к публицистике, — это темы живой, конкретной политической борьбы. Многие из тем, прежде чем проникнуть в литературу, служили содержанием деловой письменности. Вот почему формы деловой письменности становятся и литературными фор-

мами — это прежде всего касается введения в литературу формы челобитных и писем.

Пересветов пишет челобитные. Их содержание близко к содержанию обычных, деловых челобитен. В них, как и во всяких челобитных, есть конкретный адресат (у Пересветова — великий князь, царь). Есть в них и обычные личные просьбы: о допущении его «речей и дел перед государя», о своей защите от сильных людей и о заказе ему изделий (щитов). Однако наряду с обычными для челобитных просьбами есть и необычные. Основная тема челобитных Пересветова — отнюдь не личная. Личная — лишь прикрытие, дань деловой условности. Он обращается не с просьбами, а предлагает государственные проекты. При этом в челобитных Пересветова имеются элементы легенды, развитой рассказ. Перед нами очень важный процесс претворения деловой литературы в литературу художественно-публицистическую, обогащение жанровой системы древнерусской литературы за счет деловых жанров. Процесс этот способствовал секуляризации литературы, протянувшись на целые полтора-два века.

В литературе XVI века часто трудно решить, где кончается литература и начинается деловая письменность. Трудно решить: в деловую ли письменность проникают элементы художественности, или в литературе используются приемы деловой письменности. Литература широко обращается к формам устной, ораторской речи, к формам диалога, философской прозы. Литература не столько показывает, сколько рассуждает, размышляет, спорит, доказывает, приводит широкую аргументацию. В форме диалога написано «Того же инока пустытника Васьяна (Вассиана Патрикеева.—Д. Л.) на Иосифа, игумена Волоцкаго, собрание от свя-тых правил и от многих книг собрано, и на его ученики и различные межъ себя ответы от книг». Произведение построено как диалог между Вассианом и Иосифом. Поддержку этой диалогической форме русская оригинальная литература находит в переводной (см. «Разговор Души и Плоти» или «Стефанит и Ихнилат»).

Многие приемы церковной литературы используются в литературе светской и частично изменяют ее характер. Так, например, широкое развитие в литературе XVI века приобретает аллегория, в прошлом теснейшим образом связанная с традиционной церковной символикой и с жанром притчи. В публицистической литературе первой половины XVI века аллегория используется очень часто, но характер ее становится светским. В форме аллегории написана «Повесть некоего боголюбивого мужа». Характерно, что и в этой повести, как и во многих произведениях XVI века, исторические собы-

тия служат основой для назиданий и рассуждений. Между тем в предшествующее время, в XI—XV веках, на первом месте всегда стояла историческая сторона, а назидательная была как бы дополнительной. В повести действует «некий» (этим словом подчеркивается, что не важно кто именно, какое историческое лицо) «благочестивый, боголюбивый и милостивый царь». Отсутствие имен исторических действующих лиц облегчает возможность применений этой повести к тогдашней действительности. Освобождение аллегории от церковности было связано с обращением ее к сказочности — на месте церковной аллегории появляется аллегория, пользующаяся сказочными, басенными формами. И снова поддержку этому явлению русские авторы находили в переводной литературе, в частности в уже упоминавшейся замечательной повести «Стефанит и Ихнилат». Характер средневекового мировоззрения требовал и в светских сочинениях обращения к авторитету древних изречений. Эти изречения и давались в светских полемических и философских произведениях, но они приводились без ссылок на авторитетных авторов: сама форма афоризмов, изречений подкрепляла их убедительность. Афористической формой пользуется Пересветов, Ермолай-Еразм и многие другие авторы первой половины XVI века. Авторы облачают свою мысль в форму, близкую народным пословицам и поговоркам. Перед нами любопытная деталь секуляризации, поисков новых форм убедительного изложения аргументации.

Литература первой половины XVI века опережает свое время. Она не следует слепо за действительностью, а исходя из нужд и забот своего времени указывает и подсказывает пути, по которым эта действительность станет развиваться, неся в себе добрые тенденции, но отчасти и зародыши будущих злоупотреблений властью, когда государь утвердится в своих идеях вседозволенности для него.

Перед нами в первой половине XVI века один из высших подъемов сознания литературой своей ответственности перед судьбой страны и народа. Многие в этом подъеме опережали свое время, много было и правильного и ошибочного, ибо писатели судили на уровне своего времени, исходя из его представлений и ошибаясь в пределах опять-таки своего времени, однако вместе с тем они постоянно поднимались над своей эпохой, стремились не только заглянуть в будущее, но и предопределить ход истории. Одно положительное явление совершенно несомненно и бесспорно: в литературу вошли новые общественные и отвлеченные темы, новые мысли, новая терми-

нология — особенно политическая и философская, множество новых понятий, расширилась жанровая система — в сторону ее обмирщения.

Уже в первой половине XVI века мы можем заметить многие явления, которым суждено было стать типичными для литературы второй половины XVI века и всего XVII века. Одним из таких новых явлений было появление в литературе имен светских писателей. Как правило, до XVI века литература светского характера была в основном безымянной. Мы не знаем имени даже автора «Слова о полку Игореве». По именам мы знаем по преимуществу писателей церковного направления — авторов проповедей, поучений, житий святых, изредка летописцев. Сейчас, в первой половине и середине XVI века, в связи с ростом личного начала, становятся известными и значимыми имена авторов светских публицистических произведений.

ЛИТЕРАТУРА «ГОСУДАРСТВЕННОГО УСТРОЕНИЯ»

(СЕРЕДИНА XVI ВЕКА)

Литература — духовный организатор мира культуры. Она противостоит хаосу антикультуры, изначальной дисгармонии мира. Ее организующая роль тем сильнее, чем обширнее страна, чем больше в ней региональных, социальных, внутрифеодальных различий, бытовых особенностей — социальных и местных. Литература — огромное органическое целое, носящее активный, действенный характер. Именно потому в такой большой и пестрой стране, как феодальная Россия, литература играла в культурной жизни особенно важную связующую роль. Она создавала идеалы поведения, идеалы личности, идеалы быта и государственного устройства.

Эти идеалы носили собирательную, объединительную функцию, и нужда в них проявлялась тем острее, чем больше развивалось объединение государственное.

Середина XVI века была эпохой величайшего государственного торжества на Руси, исконно русские земли были собраны воедино, присоединено Казанское царство, присоединено Астраханское царство, Волга стала целиком русской. Был открыт путь на Восток, в Сибирь и Среднюю Азию. Предстояло открыть границы на Запад через Ливонию. Государство стало единым под властью одного сильного монарха вместо десятков слабых князей. Церковь, церковный обиход, законы, книги, быт, искусство, казалось, вот-вот станут полностью едиными на всей огромной территории. Россия была близка к выполнению своей официальной исторической миссии: стать новым Римом. Преодолеть осталось совсем малое. «Стоглав» и книгопечатание, «Домострой» и «Степенная книга», казалось, упразднят культурные различия в государстве. «Четьи-Минеи» соберут всю читающуюся литературу, даже расположат ее для чтения по дням

года. Чтение войдет в годовой цикл: каждому месяцу года, каждому дню месяца — свое, предназначенное. Сама история вот-вот закончится, ибо в мире полной политической и культурной упорядоченности не останется места для событий, случайностей, различий. А в непогрешимости монарха сомневаться не приходилось, ибо к монарху-то согласно официальной теории все и сводится. Его воля укрепляет все. Он над церковью и над государством. Он над людьми и над всеми их думами.

В эпоху образования единого Русского централизованного государства литература становится не просто изображением действительности, но изображением неких идеалов, господствовавших в жизни, глашатаем жизненных ценностей, устройтелем идеального единого распорядка и уклада жизни.

Если в предшествующую эпоху создавалось то, что должно было стать идеалом, то в середине XVI века идеал был создан и создана была почва для его, казалось бы, быстрого осуществления: русская территория была собрана, самостоятельность отдельных княжеств уничтожена, земли и церковь объединены.

Литература середины XVI века занята «устройством жизни». С одной стороны, продолжается присоединение к Русскому государству новых областей. Однако, с другой стороны, эти новые области сами вносят разлад в быт, обычаи, искусство, письменность, даже в церковное устройство. Вожделенное единство ускользает, особенно в связи с присоединением нерусских областей — Казанского и Астраханского царств. Необходимость удержать и укрепить прочность быта, прочность и единство культуры возрастает все в большей мере.

Академик А. С. Орлов называл эпоху, начинающуюся с середины XVI века, эпохой «обобщающих предприятий». «Стоглав» крепит единство и устойчивость церкви, «Домострой» вводит быт в регламентированные и идеализированные формы, «Степенная книга» и Лицевой летописный свод создают стройную концепцию русской истории: как бы целеустремленную к тому, чтобы стать опорой вселенского православия. Эта последняя концепция стала осуществляться в литературе уже в предшествующую пору, когда возникла идея Москвы как Третьего Рима — третьего и последнего, мирового царства, предназначенного Провидением выполнить мировую роль, дать завершающее торжество православию и православному государству. В эпоху же, о которой идет речь, расширяется «Легенда о Белом Клобуке» — знаке непятанного ересями православия, который удостоиваются носить наследники первого Рима и Царьграда — новгородские мит-

рополиты, многие из которых переходили затем из Новгорода на Москву.

Итак, в 50—60-х годах проводятся многочисленные реформы, направленные на укрепление централизованного государства, на унификацию всей культурной, политической, экономической жизни страны. Унификация эта — подведение всей страны под некие нормы, создавшиеся в представлениях правящего класса отчасти под влиянием широкой полемики, разгоревшейся в литературе в предшествующий период. Хотя сама полемика в этот предшествующий период велась довольно широко и различные точки зрения были в ней представлены с относительной свободой — результаты полемики свелись к тому, что монархическая власть сочла оправданным свое вмешательство во все стороны жизни своих подданных, и создававшиеся произведения, в большинстве своем огромные и пышные, приобрели характер предписаний и установлений, официальных историй и поучений к созданию единообразия во всех сторонах жизни: «Стоглав», «Домострой», «Чин венчания на царство», «Великие Четьи-Минеи», «Казанская история» и даже издания первопечатника Ивана Федорова с точно проверенным текстом, лишенным опечаток.

Во всем порядок и строгость. Регламентируется не только то, *что* следует читать, но и *когда* читать. При этом вот на что следует обратить внимание. Предполагается единый быт всех слоев общества, единый круг чтения для всех, единое законодательство — как и единая денежная система. У одних побогаче, у других победнее, но в целом одинаковая. «Домострой» предлагает общие нормы семейной жизни для всех классов и сословий. Различие, которое допускается, — только в числе, количестве, богатстве. Двор одинаковый у крестьянина, купца, боярина — никаких отличий по существу. Все хозяйство ведется одинаково. «Великие Четьи-Минеи» предлагают общее чтение для всех. Тут и сложнейшие богословско-философские сочинения Дионисия Ареопажита, и сравнительно простые жития русских святых. Разумеется, если не понимаешь, то можно и не читать, но если понимаешь — то только то, что предлагается, и в надлежащие дни года. Совершается словно возвращение к годовому кругу жизни, который оставался действенным в земледельческом и церковном обиходе. Изменения крупного исторического плана не предусматривались. Все казалось уже достигнутым или достижимым в самом ближайшем будущем. Россия становилась последней мировой державой: третьим Римом, и четвертого не предполагалось. Не предполагалось потому, что все к тому времени окаже-

тся достигнутым. Остается только славить историю, приведшую к утверждению Москвы как центра человечества, и настоящее, которое можно улучшать в частности, но нельзя изменять в целом. Происходит возвращение к монументализму, характерному для литературы и искусств Киевской Руси, но только утверждающегося на другой основе. Перед первым монументализмом открывался мир во всем его величии и грандиозности. Перед вторым монументализмом он закрывался и застывал как достигнутый идеал. Первый жил, второй мертвил. У первого было все впереди, у второго — позади. Этот второй монументализм отличался особым консерватизмом, сочетавшимся с верой в совсем близкое достижение идеала.

Идеал, доведенный до деталей, требует церемониальности. Эта любовь к церемониальности во всем чувствуется в XVI веке и во всем приобретает свои формы. Может вызвать недоумение: какое отношение могут иметь к литературе чин свадебный, чин венчания на царство? На самом деле в этих на первый взгляд сухих указаниях есть такая сила любви к церемониальности, которая поднимает их до уровня своеобразной поэзии. Это документы художественного творчества — творчества в области житейской, бытовой, но тем не менее не совсем обычной, ибо нельзя думать, что свадьбы справлялись всегда и всюду именно по одному чину. Скорее всего, это художественный идеал, свод рекомендаций, следовать которым можно было лишь посылно.

Стиль, который следует признать господствующим в XVI веке, — это стиль церемониального монументализма, который может быть назван также стилем второго монументализма, учитывая, что первый монументализм — это стиль XI—XIII веков.

Господствующий в XVI веке стиль характеризуется не только пышностью традиционных форм, но и особым отношением к миру — в высшей степени действенным, стремящимся все подчинить определенным идеалам поведения и мироустройства. Стиль этот в известной мере деспотичен, ибо он не только *обнаруживает* в мире определенные стороны, особенности, но и *навязывает* эти особенности миру, исходя в основном из нужд феодального государства, впервые осуществившего на определенном уровне свое единство на огромной территории. Вместе с тем литература все больше обращается к действительности. Само по себе это обращение может быть различным: к большей ее изобразительности и наглядности, к светскому осмыслению, к документированности или к мелочевидению, к вниманию к подробностям событий, к строгой выдержанности последовательности рассказа, к жиз-

ненной наблюдательности, к связности рассказа как к некоему своеобразному повторению жизненного процесса и т. д.

«Повесть о болезни и смерти Василия III» стремится изобразить подробности событий. Эти подробности выстраиваются в некую цельную картину болезни, беспокойных передвижений, метущегося поведения, предсмертных распоряжений великого князя. Это одна из многих в русской литературе картин смерти, для своего времени замечательная, но привлекающая внимание по преимуществу деталями и самим нарастанием событий приближающейся кончины.

Автор выражает свое отношение к событиям, жалеет великого князя, а по поводу прощания умирающего с женой замечает: «Жалосно же бѣ тогда видѣти, слез, рыдание исполнено в то время».

Некоторые подробности очень оживляют рассказ. Так, например, оказывается рассказ о том, как в спешке вырвали чернеческую мантию, которую несли для пострижения в опочивальню к великому князю, и пришлось положить на него только переманатку и ряску. Реалистическая деталь вырастает из нарушения церемониала. Это значительно и в известной мере символично: отдельные элементы реалистичности противостоят церемониалу — все равно жизненному или литературному.

И вместе с тем «Повесть о смерти Василия III» — это не простая фактография. «Повесть» хотя и описывает реальные события, действительно происшедшие, — памятные, известные, но она незаметно придает всему характер «действия». Перед нами смерть великого князя, а не рядового человека. Эта смерть могла бы быть и «чином кончины» — чем-то вроде чина свадебного или венчания на царство. Автор повести видит не только факты, но и величие фактов, их постепенность и степенность. Умереть внезапно, без покаяния, без прощания с близкими, без осознания самим умирающим значительности происходящего с ним — считалось в Древней Руси величайшим несчастьем. Описывая нарастание болезни, медленное движение к концу, автор «Повести о смерти Василия III» делал кончину достойной великого князя, подчинял ее некоторому «идеалу смертного конца».

Вместе с тем церемониальное обряжение событий уже не удовлетворяет читателей, и писатели начинают вносить в свое повествование разнообразные детали, делающие изображаемое легко представимым. Повествование благодаря этому разрастается, усложняется и приобретает отдельные черты реалистичности.

Стремление к соединению истории в единую причинно-следственную связь, к стилистическому объединению рассказа, к связному повествованию было настолько волевым, что

выражалось даже в грандиозной попытке к иллюстрированию истории в единой манере в многотомном Лицевом летописном своде XVI века. Единые приемы миниатюрных изображений должны были подчеркнуть единство истории. Если раньше в летописном повествовании прерывистость повествования, скачки от одного эпизода к другому, переходы повествования из одного княжества в другое должны были изобразить незначительность того, что совершается в этом мире, в противоположность единственно значительному — вечности, то теперь наступила пора, когда подчеркивалось обратное — значительность всего того, что совершается в этом мире, целенаправленность мировой истории, устремляющейся к вечности. Раньше все земное было незначительно, а значительным считалось лишь то, что свидетельствовало о вечности. Теперь выявлялось обратное: земное стало значительным, как содержащее в себе вечное, божественную волю, вечное же находило себе выражение в мелочах и случайностях исторического процесса.

Если раньше прошлое представлялось как некая россыпь событий, а исторические сочинения (и в первую очередь летописи) излагали историю фрагментарно, то теперь, в XVI веке (а отчасти и раньше), историю стремились превращать в связное и сюжетное повествование. Это вызывало необходимость в ее делении на историю княжеств, городов, стран, отдельных князей. Жизнь человека также стала иметь свою «судьбу», целенаправленность. Появилась потребность в создании истории как цепи биографий и биографий соединять в историю страны («Степенная книга»), излагать историю княжений или царств.

В последующее время — в начале XVII века, в годы «Смуты», поняли, что в истории есть борьба — соединение судьбы и воли людей, появились представления о роли народа, народных масс, восстаний, земских соборов и пр. Появилось и представление о двойственности натуры человека, о совмещении в нем злых и добрых черт. Пока же, в середине XVI века, это движение к новому историческому сознанию совершалось в относительно простом.

Середина XVI века была ознаменована в русской истории присоединением Казани, а в истории литературы — в основном созданием такого эпохального произведения, как «Казанская история». «Казанская история» не только самый значительный памятник середины XVI века по своим художественным достоинствам и достоинствам исторического источника, не знающего себе равных по количеству сведений, сообщаемых им о присоединенном Казанском царстве, но и памятник, вобравший в себя многие новые черты литературы.

В истории литературы мы можем наблюдать периоды, которые проходят как бы под сенью одного какого-либо автора или одного какого-либо произведения. Так, например, «Повесть временных лет» осветила собой целую эпоху. Возникла она в начале XII века, но разошлась по произведениям всей Руси и жила в списках, переработках, цитатах — пять веков по крайней мере.

Конечно, «Казанская история» не может сравниться с «Повестью временных лет», но в ней самой жила литература предшествующих четырех с половиной веков в цитатах, заимствованных формулах, а главное — в идеях. При этом «Казанская история» «заглянула в будущее»: она ярко представила все те прогрессивные особенности литературы, которые разовьются в литературе второй половины XVI и XVII века.

Что же это за особенности? Во-первых, развивается личностное, авторское начало в произведении. Автор сообщает о себе биографические данные, что раньше делалось исключительно редко и скупое. Во-вторых, происходит усложнение рассказа и усложнение авторского отношения к описываемому. Эти усложнения частично объясняются необычной судьбой автора «Казанской истории», но в целом они становятся в какой-то мере характерными для русской литературы и знаменуют собой более широкое и более свободное видение мира.

Какие же события в жизни автора «Казанской истории» способствовали появлению в ней новых черт, характерных для литературы его эпохи?

Автор был пленником в Казани, принял магометанство и получил почетное положение при дворе казанского хана Сапкирея. Он пишет: «И взять мя к себѣ царь с любовью служити во дворѣ свой, и сотвори мя пред лицомъ своимъ стояти. И удержану ми бывшу тамо у него двадесять лѣтъ в пленении. Во взятие же казанское изыдохъ ис Казани на имя царя и великаго князя. Онъ же мя ко христовѣ вѣре обрати и ко святей церкви приобщи, и мало земли удѣла даде ми, яко да живѣ буду служа ему».

Двадцатилетнее пребывание в Казани не только в приближении ко двору, но и «при бесѣде со мною и мудръствующих честнѣйшихъ казанцевъ», дало ему знание истории Казанского царства, осведомленность во всех дворцовых делах и интригах, в бытовой обстановке, хорошую ориентировку в расположении Казани и окрестных мест.

Заметно различие в осведомленности автора. То, что происходит в Казани, он знает в большинстве случаев как свидетель или долголетний житель Казани. То же, что происхо-

дит в Москве, он по большей части сочиняет по литературному этикету своего времени.

Автор давно интересовался историей Казани. Еще находясь на воле, на Руси, он расспрашивал «искуснейших (т. е. наиболее осведомленных.— Д. Л.) людей, русских сыновъ», но одни «глаголаху тако, инии же инако, ни един же вѣдая истинны». Только попав в плен и служа при дворе у «царя казанского», автор получил возможность удовлетворить свою любознательность, и не только, по-видимому, на основании устных источников. Его сведения отличаются относительной точностью — поскольку эта точность вообще была возможна при состоянии исторических знаний в XVI веке¹.

Наконец, соучастие в казанской жизни и дружеские связи с казанцами позволили ему судить о них более объективно, чем судили обычно русские книжники о врагах Руси. Он и сочувствует казанцам по-человечески, и восхищается красотой города, и с полной лирической самоотдачей передает или даже сочиняет от себя слова плача о Казани казанской царицы Сююмбеки. Этот плач приурочен автором к тому моменту, когда Сююмбеку выводили из Свияжска, чтобы отправить в Москву, и перед нею открылся потрясающий по красоте вид на Казань. Плач в виду Казани должен был производить особенно сильное впечатление на тех читателей, которые знали этот открывающийся обзор.

Автор «Казанской истории» все время колеблется между сочувствием казанцам и необходимостью признавать их врагами Русского государства. Иногда он прибегает даже к житийным шаблонам в отношении Казани и казанцев. Вот характерный пример. Подобно тому как в житиях основателей монастырей воспевается красота места, выбранного святым для монастыря, так и в «Казанской истории» говорится о поисках подходящего места для строительства города царем Саином Болгарским: «И поискавъ царь Саинъ, по мѣстомъ преходя, и обрѣте мѣсто на Волге, на самой украине Руския земли, на сей странѣ Камы рѣки, концемъ прилежащи х Болгарстей земли, а другимъ концемъ к Вятке и къ Перми, зело пренарочито: и скотопажно, и пчелисто, и всякими земляными сѣмяны родимо, и овощами преизобилно, и звѣристо, и рыбно, и всякого угодия житейскаго полно — яко не обрѣстися другому такому мѣсту по всей нашей Руской земли нигдѣ же точному красотою и крѣпостию и угодиемъ человеческим, и не вѣмъ же аще будетъ как и в чюжих земляхъ».

¹ См. рецензию на издание Казанской истории Г. Н. Моисеевой в 1954 г. М. Г. Сафагалиева (Вопросы истории, 1955, № 7, с. 148—151).

Освобождение Василия III из плена казанским царем Мамотьяком за большой выкуп автор комментирует как благое деяние казанского царя: «Милуетъ бо и варваринъ, видя державнаго злостражуща».

Автор восхищается Казанью и казанцами: «Град же Казанъ зѣло крѣпок, велми, и стоитъ на мѣсте высоце...» Казанцы же «умѣние велико имущи ратоватися во бранѣх. И не побѣждени бываху ни от киих же, и мало таковых людей мужественных и злых во всей вселѣнной обрѣташеся». Выделенное слово могло бы и отсутствовать, оно этикетно, но без него вся характеристика могла бы быть обращена к русским, а не к их врагам. Воздав хвалу касимовскому, а затем казанскому царю Шигалею, автор пишет: «Да никто же мя осудит от вас о семъ, яко единовѣрных своих похуляюща и поганых же варваръ похваляющи: тако бо есть, яко и вси знают его и дивятся мужеству его, и похваляют». Автор ссылается и на собственные к Шигалею чувства — «жалость бо ми душевная и сладкая любви его ко мнѣ глаголати о немъ и до смерти моя понужает».

В одной и той же фразе автор «Казанской истории» называет Казань и «презлым царством сарацынским» и «предивной Казанью» — без единой оговорки.

Знание истории Казани, событий последних лет, топографии города и его окрестностей оказалось тем более ценно, что автор «Казанской истории» был весьма образован и в русской литературе. В его произведении ясно ощутимы реминисценции из «Слова о Законе и Благодати», «Повести временных лет», «Жития Александра Невского», «Слова о погибели Русской земли», «Повести о разорении Рязани Батыем», «Сказания о Мамаевом побоище» и многого другого. Его военная терминология и отдельные образы близки с тем, что знакомо нам по «Слову о полку Игореве». Здесь и сравнения с пардусами, и отдельные выражения, близкие тем, что встречаются только в «Слове» («под меч подклонити», «намоститъ дебри и блата и езера и реки... костми», «чаша, сетованием растворяема» и пр.).

Характерно и следующее. Автор «Казанской истории» определяет и тех, кому предназначено его произведение, и характер своего исторического произведения. Адресаты его — это «братия наша, воины» и «простые» читатели. «История» обращена откровенно и прямо прежде всего не к служителям церкви, а к светскому читателю. Он надеется, что читатели его «от скорби своя применятся», то есть, очевидно, перестанут сожалеть о потерях своих родных и друзей, положивших головы свои за присоединение Казани. Произведение же свое он определяет как «сладкую повесть». Что значит «сладкая»?

Означает это прежде всего то, что повесть эту «сладко читать», — она интересна, и она литературно хорошо написана. Это не самооценка, это только определение характера повествования, к которому он стремился. «Казанская история» сюжетна и украшена — украшена прежде всего введением драматических ситуаций, блестяще переданными или сочиненными длинными речами действующих лиц (в этих речах прежде всего сказалась вымысленность, авторское воображение).

То обстоятельство, что автор «Казанской истории» воздает должное казанцам, их мужеству, любви к своему городу, уму и сообразительности (хотя в конечном счете они в основном ошибаются, не идя на добровольное подчинение Москве), лишь усугубляет драматизм повествования.

Значительность события присоединения Казанского царства к России определялась значительностью самой предшествующей истории Казани. Это не просто присоединение к России стратегически важного пункта: это слияние историй! И с этой точки зрения, чем многозначительнее была история Казани, тем более пышным и важным оказывалось и само присоединение. Церемониальное по своей сути литературное произведение, «Казанская история» сама становилась частью гораздо большей церемонии — церемонии присоединения Казанского царства. Она была так же важна в этой церемонии, как и построение в честь взятия Казани церкви Василия Блаженного. И если последняя своей нарочитой и необычной пестротой как бы подражала Востоку, выражала своей архитектурой представление Москвы о стиле Востока, то «пестрая» в своем отношении к казанцам и Казани «Казанская история» выражала противоречивые чувства автора: радость от присоединения Казани и уважение к ее истории, как бы признание ее исторической самостоятельности.

Другой памятник, который чрезвычайно характерен для середины XVI века, — это «Домострой». Перед нами предельная унификация, идеализация и поэтизация быта. Это не просто сборник по большей части мелких практических советов — как солить рыжики, или наказывать слуг и детей, или как класть чистую посуду, ложки и плошки, — обязательно «опрокинуто ниц». Нет, это и более широкие рекомендации — как устроить свой дом так, чтобы в него было «как в рай войти» (§ 38). В «Домострое» перед читателем разворачивается грандиозная картина семейного идеального быта и идеального поведения хозяев и слуг.

В отличие от своего предшественника — «Измарагда», возносившего идеал человека до требований, которые могли относиться только к святому, «Домострой» рассказывает и о

поварне, и об укладках, и о хранении запасов: о делах и быте вполне светских и жизненно конкретных.

Идеал «Домостроя» — это идеал чистоты, порядка, бережливости, почти скупости, и вместе с тем гостеприимства, взаимного уважения, а одновременно и семейной строгости — запасливости и нищелюбия. И это в целом идеал трудовой жизни. И слуги, и сама «государыня» (госпожа) должны не сидеть без дела — даже когда «мужъ придет, гостя ли обычная» — «всегда бы над рукоделиемъ сидѣла сама». Иное дело — гость «необычный», то есть знатный, — тут уж сами обязанности хозяйки становились трудом, и подчас тяжелым.

Упорядоченность быта оказывалась почти обрядовой, даже приготовление пищи — почти церковным таинством, послушание — почти монастырским, любовь к родному дому и хозяйствование в нем — настоящим религиозным служением.

Степенность во всем! Нарушения домашнего обряда — почти церковный грех. Случаи недорода, дороговизны смягчены вовремя сделанными домашними запасами. Домашняя жизнь не замкнута своим двором, ибо предусмотрена помощь соседям и соседская помощь. В «Домострое» пишется и о том, как давать в долг, как сохранить ношеное, чтобы отдавать сиротам — особенно детям. Важное место в «Домострое» занимали статьи «Какъ всякое платье кроити и остатки и обрески беречи» или «Какъ платья всякое жене носить и устроить». Старые вещи надо беречь, хранить их чисто и «поплачено», то есть в заплатанном виде, — «ино сироткам пригодитца». Осуждается в «Домострое» злоупотребление правом неволи (не само право неволи в его разных видах, а лишь та бесчеловечность, которая может быть с ним связана). Этому посвящена особая статья — «Аще кто слугъ держит без строя». Нельзя, чтобы служанка, «у неволи заплакав», стала «лгать и красть, и блясть», а «мужик» «и розбивать, и красть, и в коръчме пити, и всякое зло чинити». В быту без слез не обойдешься, но «в неволе заплакать», видимо, считалось особенно тяжелым.

Указывал «Домострой» и как наказывать, а после наказания непременно пожалеть и простить, чтобы наказываемый не затаил в душе обиды. А побить его следует «не перед людьми», а тайно, чтобы не оскорбить особенно. «А по всяку вину по уху, ни по видѣню (т. е. по глазам. — Д. Л.) не бити, ни под серцо кулаком, ни пинком, ни посохомъ не колотить, никакимъ железнымъ или дѣревянымъ не битъ» (§ 38).

Если помнить об общей грубости тогдашних семейных нра-

вов, то нельзя не признать, что «Домострой» стремился к смягчению этих нравов,— стремился умно, давая тонкие, психологически обоснованные советы, прибегая к примерам и формулируя советы просто, а иногда и пословично (конец § 38).

Идеал — это, конечно, не реальность. Но идеал — великий и бесценный регулятор жизни. А если этот регулятор доведен до дома, до семейной жизни, входит во все мелочи быта, личного поведения в семье и в доме и во всем требует «знать меру» — то идеал, им проповедуемый, становится уже почти реальностью. Перед нами почти «поваренная книга» русского быта.

В художественном же отношении «Домострой» рисует быт русских людей XVI века во всех мелочах, ибо, рассказывая о том, какой должна была быть жизнь, он давал понять и о том, в чем заключались ее нарушения—очевидно, не такие уж редкие.

Спрашивается — жизнь каких классов населения пытается регламентировать «Домострой»? Конечно, в первую очередь — имущих, зажиточных и даже весьма зажиточных. Двор, который описывается и устраивается в «Домострое», — это двор и боярский, и купеческий, и, может быть, даже еще выше — княжеский. Но «Домострой» обращен и к тем, «у кого сель нет» (§ 42).

Привлекает к себе внимание и указание по крестьянству, как кормить корову, как ее доить, «а самой руки умыть чисто», «и вымя и соски вымыть у коровы, и потиралцем чистым вытереть, и в чистомъ мѣсте издоить, и во всякомъ бережении» корову сохранить (§ 82). То же пишется и о «лошадках» (оцените это ласкательное слово!), и о кобылах, и о телятах, и о ягнятах, и о курах, и о гусях, и о свиньях, и об утках.

Заботой о неимущих людях проникнуты и советы «Домостроя»: как добыть запас, чтобы он был не «втридорога, а не милой кусъ». «Милой кус» — это тот товар, что действительно надобен и по вкусу (§ 43).

Древняя Русь знала разграничения между классами не в характере быта, как это стало в послепетровской Руси, а главным образом в степени накопленных богатств, в наличии слуг и величине хозяйства. Поэтому кое в чем идеал, нарисованный «Домостроем», мог быть и идеалом крестьянства, хотя и успешного сильно обнищать при централизованной власти.

Как бы чувствуя недостаток духовности в «Домострое», составители заканчивают его наставлением для души. Автор «Домостроя» понимал, что жизнь не может ограничиваться заботой о материальных и бытовых благах, о доме и о хозяйстве, а потому присоединил к своему сочинению нас-

тавления благовещенского попа Селивестра возлюбленному его сыну Анфиму. Наставление это служит как бы духовной параллелью к остальному сугубо материалистическому тексту «Домостроя» и, возможно, составлено одним и тем же автором: уж слишком много и в основной части «Домостроя», и в его заключении общих тем и выражений. Селивестр нет-нет да сбивается на хозяйственные темы «Домостроя», хотя и пытается перевести их в план духовности.

Литература в средние века живет в полной мере произведениями, созданными и в предшествующие века. Эти произведения изменяются, дополняются, редактируются — приспособляясь к требованиям эпохи. Одним из таких произведений, жившим в течение нескольких столетий, был «Измарагд», созданный, по-видимому, еще в XIV—XV веках. «Измарагд» был первым систематическим наставлением, «как жить», но наставлением по преимуществу духовным. Он расширился, дополнялся, и одно из его наиболее интересных «расширений» относится как раз к рассматриваемому времени. «Домострой» оказался уже «Измарагда» как духовного наставления, зато гораздо шире в своих бытовых рекомендациях. И это очень типично. Жизнь должна была быть регламентирована во всех своих мелочах и бытовых подробностях. Даже опечатки и разночтения в рукописных книгах были опасны в культурной жизни, и вслед за попытками исправления текста священных книг, к которым был в предшествующий период привлечен афонский ученый — Максим Грек, теперь в целях предотвращения каких-либо расхождений в тексте учреждается книгопечатание.

Главная заслуга первопечатника Ивана Федорова в том, что он достиг идеала в книгопечатании: он выпустил книги, в которых был проверен и исправлен весь текст и в которых никто еще не находил опечаток: главное достоинство книг — достоинство, которого после Ивана Федорова никто уже не достигал. И это характерно для эпохи: единство, к которому устремлялась эпоха, было здесь — выражено, может быть, определеннее всего. Иван Федоров достаточно хорошо понимал свою роль в истории русской культуры, снабдив свои главные издания послесловиями, в которых он говорит как бог и обращается к богу как равный. Никогда после него (а до него вообще не было таких людей) ни у одного печатника не было такого высокого самосознания, как у Ивана Федорова. Он был и остается первым и по тому, что первым создал печатные книги с таким безупречным искусством, и по тому, что он первым оказался на высшей ступени своего мастерства: первым среди всех русских печатников.

Чтобы понять середину XVI века, мы должны заглянуть и в близкое будущее этого движения к идеалу, к той модели, по которой должна была течь вся русская жизнь в эпоху безграничной монархии и безграничной власти единых представлений о жизни.

Мнимая близость идеала к осуществлению, конкретная подробность этого идеала, выраженная во внешних и внутренних успехах, создавали нетерпение и нетерпимость, и обе они вместе вели к деспотизму, который тем более оказывался жестоким, чем меньше его понимали подвластные люди — современники, а впоследствии историки. Грозный свирепел от бессилия как можно скорее и полностью провести в жизнь идеал и от непонимания того — почему это ему не удастся, хотя все казалось таким ясным и необходимо понятным. Его подданные тем более были раздражающе пассивны, чем больше они не понимали того, чего от них хотят. Грозный же в конце концов не столько желал осуществления идеала — он его почти и забыл, — сколько стремился проверить свою власть над подданными — всеми: холопами и боярами, крестьянами и дворянами. Он обманчиво видел причину своих неудач в недостатке повиновения. Пассивность населения его раздражала больше, чем любое открытое восстание. Карающий меч Грозного каждый раз увязал в тине несопротивления, не встречая препятствий, которые могли бы оправдать силу его размаха. Грозный ломал то, что было мягко; он рвал то, что было несопротивляющимся; он с силой гнул то, что на самом деле гнулось легко. И при этом он постоянно считал, что неудача происходит от недостатка примененной силы. Было от чего стать неуравновешенным и сходить с ума.

Но жестокость и нетерпимость не были личными и случайными свойствами одного только Ивана Грозного, как часто думают. Эта жестокость лежала в порядке вещей: эпоха подошла к воплощению полной унификации — подошла, но не могла ее до конца осуществить. Унификация же казалась крайне необходимой после мучительных столетий политических разладов и культурной раздробленности.

Оставшееся для достижения идеала малое, казалось, уже не имело реальных сил для сопротивления. Но вот в этом-то и крылась ошибка. Сопротивление личности, всякое проявление хотя бы небольшого произвола злило, вызывало жестокое подавление и вместо идеала усиливало деспотизм, а вместе с деспотизмом — произвол, дробление еще худшее, чем раньше, отделение и бегство из центра на окраины — на Север в леса и на Юг в степи, на Восток — для освоения Сибири, на Запад —

для продления в Польско-Литовском государстве той культурной работы, которая оказалась невозможной в центре. Иван Федоров продолжает печатать книги в Остроге и Львове, Андрей Курбский — охранять и насаждать православие в Польско-Литовском государстве и полемизировать с Грозным, упрекая его за жестокость по крупным и мелким поводам.

Мелочи стали мстить за себя и превратились в крупнейшие препятствия на пути к идеалу всеединства, к которому стремился не один Грозный, но и вся страна в целом.

НА ПУТИ К НОВОМУ ЛИТЕРАТУРНОМУ СОЗНАНИЮ

(ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVI ВЕКА)

Литература никогда не прекращает своего поступательного движения, однако в этом своем поступательном движении она различно соотносится с действительностью. Иногда литература идет в ногу с ней, а иногда, и это бывает значительно реже, сохраняет инерцию, откликаясь все же на все основные события.

Если литература предшествующего времени приобретала государственное значение благодаря общественной весомости поднимаемых ею вопросов, то во второй половине XVI века государство, подчинив себе литературу, организовав огромные литературные предприятия — летописные своды, «Великие Четьи-Минеи», «Степенную книгу» и пр., сделало литературу служанкой государства, создало официальный стиль второго монументализма, отличавшегося пышностью, парадностью, традиционностью форм и главной целью: прославлять, возвеличивать, оправдывать прошлое и настоящее. Так, например, «Степенная книга» была посвящена росту и восхождению Русского государства и русской церкви по ступеням лестницы, ведущей к росту значения русской истории в мировой. Другое большое собрание книг середины XVI века — «Великие Четьи-Минеи» предлагали читателям годовой круг ежедневного чтения, создавая из огромного числа включенных в этот круг произведений как бы венок и венец благочестивых размышлений протяженностью в год, с окончанием которого этот круг чтения должен был повторяться. Третье большое литературно-историческое и живописное предприятие середины XVI века — Лицевой летописный свод выходил за пределы только чтения и создавал из мировой и русской истории единый грандиозный зрительный ряд, придавал наглядность историческим событиям. Читателям надлежало не только по-

нимать происходившее в его официальных толкованиях, но даже зрительно представлять себе историю в определенных и единообразных образах, в которых каждое событие было запечатлено в стилистически едином ряду во многих своих моментах (одна миниатюра могла в единой композиции изображать несколько эпизодов: приготовление к походу, выступление войска, путевые происшествия войска и пр.).

При всей грандиозности сочинений и их книжных собраний, созданных в стиле и идеях «второго монументализма», темы их оказались довольно быстро исчерпанными, а Лицевой свод пришлось даже неоднократно исправлять в его последней части — в зависимости от официального отношения к тем или иным последним событиям и их участникам.

Есть эпохи, в которые литература, казалось бы, слабо развивается, — нет признаков «большой литературы», заметно уменьшается число произведений и писателей. Как будто бы силы общества отвлечены на другие заботы. Но при этом в литературе никогда не бывает простого отступления назад. Старая литература не забывается, и в тех немногочисленных жанрах, которые еще живут, продолжается подспудное движение вперед.

Культура не может отступать, ибо она движется вперед путем накопления ценностей. Накопления же не пропадают. Они становятся иногда менее доступными, но и только. Так было в эпоху монголо-татарского нашествия на Русь. Летописание в этот период, кажется, свелось к отдельным местным записям, но зато развился жанр воинских повестей и житийный.

Во второй половине царствования Грозного круг созданных в ней произведений также сузился до минимума, но зато громко звучали два голоса: царя Ивана и его противника, скрывшегося за рубежом, — князя Андрея Курбского. Глухо, размеренно и властно раздавались тяжкие голоса этих двух полемистов, но замолк перезвон мелких.

Именно эта полемика рельефнее всего представила в литературе особенности ее времени. Остальные голоса и не могли быть значительны. Грозный принял на себя ответственность за решение всех политических и нравственных вопросов своего времени. Рядом с Иваном Грозным не могло быть других взглядов. Грозный полагал, что только он один, как «помазанник божий», может судить людей и историю. В его царстве никто не смел высказывать иных суждений, — суждений, не согласных с тем, что утверждал Грозный.

Культура во всех своих проявлениях приобрела монологический характер. Только за границами России бежавший из нее и там волей или неволей переставший себя ощущать русским князь Курбский решился полемизировать с Грозным. Однако, находясь вне России и даже командуя одно время войсками против Грозного, он лишил себя твердой моральной позиции и принужден был выступать не столько за народные интересы, сколько выразителем своих личных обид.

Тем не менее развитие литературы шло своим путем, и у обоих полемистов, сколь ни сложно наше к ним отношение как к личностям, определились черты будущего в литературе. Главное, что обнаружилось по обе стороны государственной границы,— это развитие личностного начала в русской литературе. Оно сказывалось и в политических, и в идейных позициях, и в стиле произведений обоих.

Несмотря, однако, на то, что напряженность споров и их эмоциональность сильно возросли, уровень споров резко снизился, а темы их значительно сократились. О чем, в сущности, спорили Грозный и Курбский? Грозный доказывал свое право казнить и миловать своих подданных. Доказательств этого права он почти не предъявлял. Он требовал верить ему в этом и бранил противников. Никакой особой новой, чем-либо замечательной концепции своего самодержавного права создано им не было. Все аргументы его примитивны и однообразны. Курбский, опровергая это право Грозного и упрекая его в грубых жестокостях, хотя и был с моральной точки зрения более убедителен в этих упреках, не противопоставил Грозному своей собственной теории государства. Он утверждал лишь, что в первый период своего царствования, слушая умных советников, Грозный не совершал зверств и даже одерживал победы над внешними врагами. Однако концепция его не может сравниться с прежними превосходно аргументированными «программными» предложениями Ивана Пересветова или с философией Ермолая-Еразма и многих других публицистов и философов первой половины XVI века.

Продвижение вперед в литературе может быть усмотрено лишь во второй, «формальной» сфере литературы — в сфере господствующих стилей. Сфера эта содержала идеологические стороны, идеологическую подоплеку, но подоплека эта была скрытой; как бы невысказанной, подсознательной — как и все, что совершается при изменениях «стиля эпохи». Главное явление, на которое в этом отношении следует обратить внимание,— это значительный рост индивидуального начала в стиле произведений. Индивидуальность еще сла-

бо осознавалась в действующих лицах, либо она была выражена односторонне (например, тиранство Грозного, подчеркиваемое в произведениях Курбского), но индивидуальные особенности стиля, поднявшиеся над жанровыми особенностями, были уже в достаточной мере ясны у обоих главных антагонистов эпохи — Грозного и Курбского.

Переписка Грозного с Курбским часто трактуется как выражение борьбы нового со старым. При этом Грозный оказывается выразителем нового, государственного начала, а Курбский — старого, родового. Но политические взгляды обоих были лишены сколько-нибудь четкой ориентации на будущее. Что же касается их места в истории литературы, то черты будущего ярко сказываются у обоих, как мы уже сказали, в усилении личностного начала, но не в появлении новых сильных идей.

Стиль Грозного — как бы часть его поведения в жизни. В жизни Грозный то переодевался со своими опричниками в монашеское платье и глумился над церковными обрядами, то благочестиво пел на клиросе в церкви. Он то отказывался от своей царской власти и сажал на престол татарина Симеона Бекбулатовича, зловеще напоминая этим о трехсотлетнем чужеземном иге, и писал Симеону Бекбулатовичу лицемерно-униженные челобитные, то упивался властью и массами казнил людей. Он постоянно переходил от одного чувства к другому: от торжества к крайнему раскаянию, от веселья к горю, то дразнил, то впадал в ярость и т. д. Поразительно, что в своих произведениях Грозный был таким же, как и в жизни. Изумительный мастер языка, то до крайности резкий и гневный, то лирически приподнятый (как, например, в своем завещании 1572 года), то подавленный страхом смерти и манией преследования (в своем каноне Ангелу Грозному), то изощрявшийся в «кусательном стиле», спускавшийся до грубой брани, то мастер высокого церковнославянского стиля, стремящийся подавить своего читателя эрудицией, — таков Грозный в своих произведениях, — это самовозбуждающийся и ни с чем не считающийся тиран как на троне, так и в облики писателя.

Свое «Послание» игумену Кирилло-Белозерского монастыря Козьме Грозный начинает очень книжно, а затем постепенно, как бы не выдерживая своей роли наставника, переходит в тон самой непринужденной беседы: беседы страстной, иронической, почти спора. Он призывает в свидетели бога, ссылается и на живых свидетелей, приводит факты, имена. Его речь становится нетерпеливой. Он сам называет ее «суесловием». Как бы устав от собственного многословия, он прерывает самого себя: «что же много насчитати и глаголати»,

«множае нас сами весте» и т. д. Грозный не стесняется бранных выражений, обычно им употребляемых: «собака», «собачий», «пес» и пр. Он употребляет разговорные выражения: «аз на то плюнул», «а он мужик очюнной врет, а сам не ведает что». Он пользуется поговорками, пересыпает речь восклицаниями: «ох!», «увы!», «горе, ей!» Он часто непосредственно обращается к читателям: «видети ли?», «а ты, брат, како?», «ты же како?» и пр. Разнообразие его лексики поразительно.

Те же черты литературной манеры Грозного мы наблюдаем и во всех других его произведениях. Во многих письмах к иностранным государям, частично явно написанных не им, можно определить, однако, немало страниц, принадлежащих самому Грозному. Эти страницы опознаются по властному тону, по живой игре характерного для Грозного остроумия, по стилю грубой, сильной и выразительной речи. Одним словом, в произведениях Грозного мы ясно видим все признаки индивидуального стиля.

Характерно и следующее. Пародия появляется в литературе тогда, когда ясно определяются признаки жанрового или индивидуального стиля. Появление пародии — знак появления осознания стиля как явления, существующего в какой-то мере независимо от содержания, как бы присоединяющегося к содержанию, ибо в пародии главный ее смеховой эффект состоит в несоответствии содержания форме, стилю, содержанию жанра. У Грозного есть послания, целиком выдержанные в тоне пародии. Таково, например, его знаменитое послание Симеону Бекбулатовичу. Послание это — только одно из звеньев политического маскарада, который Грозный организовал, передав свой титул касимовскому хану Симеону Бекбулатовичу. Грозный в подчеркнуто притворном униженном тоне называет себя «Иванцем Васильевым», просит разрешения у новопоставленного «великого князя всея Руси» Симеона «перебрать людишек», то есть совершить один из самых жестоких актов своего правления.

При чтении послания Грозного иногда приходит на ум предположение, что яркостью индивидуального стиля Грозный как бы прикрывал отсутствие убедительных и аргументированных, чем-либо замечательных идей. В самом деле, что за «идея» — неустанно, многократно и однообразно твердить о своем полном праве творить все, что угодно, со своими подданными, — даже если поводы к этим жестокостям явно несправедливы. Доводы только те, что творятся эти несправедливости «по прародителей своих обычаю» и что право на них утверждено якобы Писанием: «Се бо есть воля господня — еже, благое творяще, пострадати. И аще праведен еси и благочестив, почто не изволили еси от мене, строптиваго владыки,

страдати и венец жизни наследити?» Долг, следовательно, подданных — страдать и терпеть даже несправедливые наказания от своего владыки, а воздаяние получать на том свете: там можно за эти муки и «венец жизни наследити», то есть стать святым мучеником.

Было бы неправильно сводить всю проблему появления индивидуального авторского стиля у Грозного к тому, что он как своенравный самодержец позволял себе не считаться ни с литературным этикетом, ни с канонами жанров. Владимир Мономах также обладал главенствующим положением в государстве, однако если и отступал от особенностей поучения, или от летописного стиля в своей автобиографии, или от типа посланий в своем письме к Олегу Свято-славичу, то как бы помимо своей воли. Между тем Грозный часто менял свой стиль, принаравливаясь к случаю, к адресату, к своим собственным намерениям как можно больнее ужалить своего противника.

С князем-изменником Курбским он властный самодержец, с участником его потех Васюткой Грязным, попавшим в плен и требующим выкупа, он — глумливый хозяин, с игуменом Кирилло-Белозерского монастыря Козьмой он — сперва монах, потом — жестокий разоблачитель, с проповедником лютеранства Рокитой он — дерзкий спорщик и защитник православной веры, с посаженным им «царем» Симеоном Бекбулатовичем он — притворный челобитчик, в своей молитве к Ангелу Грозному он — преисполненный страха смерти молящийся, в посланиях к Елизавете Английской или шведскому королю Иоганну III он — многоопытный властитель могущественного государства. И всюду он издевается, зло шутит, иногда даже бранится. Он актер — всегда иной и всегда тот же самый. Особенность его литературной манеры — в умении создавать свой собственный образ, каждый раз иной и одновременно в чем-то прежний.

Он пишет то от себя, то от имени бояр, то под псевдонимом Парфений Уродивый. Обычные жанры, в которых Грозный выступает в литературе, — послания, письма, «челобитные», то есть жанры прямого обращения к читателю. Это жанры с относительно свободной формой, и в них лучше всего выражается его требовательная манера держаться в своих писаниях. Это жанры, в которых на первый план выступает спор, обличение, утверждение своей правоты. Письма и послания входили в его арсенал как правила.

Если индивидуальный стиль произведений Грозного был частью или одной из форм его поведения, то стиль произведений Курбского был как бы производной его жизненных

обстоятельств. Различие, казалось бы, небольшое, но существенное по результатам. Индивидуальный стиль Курбского не так резко менялся. Он был индивидуально стабилен и связан с его стремлением найти свою «позицию» в жизни.

Курбский стал писателем, бежав за рубеж и изменив родине. Курбскому надо было оправдать себя в глазах общественного мнения в России и в Польско-Литовском государстве. Больше того — ему надо было оправдать себя в своих собственных глазах, ощущать свое право на позицию моралиста и нравоучителя. Его писания были самооправдательными документами, в которых он позировал перед другими, перед своими читателями, но прежде всего перед самим собой. Различие заключалось не столько в меньшей «гибкости» стиля Курбского, сколько в разной степени талантливости обоих: Грозный был несомненно талантливее Курбского и соответственно более смел в выборе стиля, языка и в нарушениях жанровых традиций, чем Курбский.

Читатель вправе спросить: если в выборе стиля у этих двух писателей, Грозного и Курбского, играли такую роль их поведение и их жизненные позиции, то разве не было до того писателей с такими же яркими (или сугубо мрачными) судьбами, и почему не выработались у них эти индивидуальные черты стиля? Все дело, конечно, в том, что в истории литературы внешние обстоятельства начинают играть решающую роль тогда, когда они подготовлены всем предшествующим процессом развития литературы и когда они оказываются поэтому способными выполнить свою роль. Литература шла по пути индивидуализации к развитию индивидуальных стилей. Несколько позднее этот же путь индивидуализации приведет литературу к появлению в ней индивидуальных характеров персонажей, к возникновению в литературных произведениях ярких человеческих образов.

Князь Курбский был плодовитым писателем. Однако не все им написанное выявлено и еще меньше издано. Среди наиболее известных его сочинений — его письма к Грозному и своеобразное продолжение этих писем — его «История о великом князе Московском», где в основном продолжают те же темы и где Курбский уже обращается не только к Грозному, но и к многим читателям в Польско-Литовском и Русском государствах. Известны несколько писем Курбского в Псковско-Печерский монастырь. Писал Курбский и Константину Острожскому, и к Марку, ученику еретика Артемия, и к Кузьме Мамоичу, и к Кодиану Чапличу, и к пану Федору Бокею, и к княгине Чарторыйской, и многим другим. Он переводил Цицерона, Иоанна Златоуста, Дионисия Ареопажита (что совсем сложно), в особых сочинениях защищал правосла-

вие от униатства в Литве, составлял богословские сочинения и пр.

В известной мере Курбский был «перевертнем», вынужденным приспособляться к меняющейся обстановке, изменить характер своего стиля и языка, систему аргументации и пр. Один свой лик он являл русским читателям, другой — западнорусским. По отношению к Грозному он стремился занять позу человека более образованного, изобразить себя человеком утонченной западной культуры. Курбский упрекал Грозного не только в «варварстве», но и в литературной неумелости, необразованности и отсутствии литературного вкуса. Себя Курбский стремился изобразить человеком западной просвещенности и цитировал для этого не только отцов церкви и церковно-авторитетные тексты, но и античных авторов. В своем Втором письме к Грозному Курбский явно придерживался правил латинских риторик и эпистографии гуманистов. Он знал, очевидно, учебники эпистографии, и в частности руководство Эразма Роттердамского. Исходя из предлагаемых им правил он и упрекал Ивана. Одним из главных достоинств писем считалась, например, их краткость. Он насмехался над Грозным за то, что он этой краткости не придерживался и его послание явилось «широковещательное и многосумящее». С высот своей новой образованности он поучает Грозного, что не следовало бы ему писать такие неискусные письма «на чуждую землю, иде же некоторые человецы обретаются, не токмо в грамматических и риторских, но и в диалектических и философских ученые».

Со свойственным многим эмигрантам стремлением подчеркнуть свое бывшее высокое положение на родине, Курбский хвастает и своей родовитостью, и своим прежним значением в России при Грозном. Отсюда и его концепция: пока Грозный слушал советников вроде его, Курбского, все шло хорошо. Но перестал слушать, и наступила эпоха неудач и жестокостей: Россия озарилась пожаром лютой.

По мере того как Курбский осваивался со своей новой родиной, он пишет о России как о посторонней для него стране: «тамо есть у вас обычай», называет русских бояр «великие гордые паны, по их языку боярове» и т. п. При этом в язык Курбского постоянно входят полонизмы, а великорусскую речь он называет «их языком» — языком москвитов. Следовательно, появление полонизмов в его речи вполне сознательно.

Характерна его биография Грозного, изложенная им в «Истории о великом князе Московском». В русской литературе до Курбского не было жизнеописания обличительного характера. Были жития святых, ставившие себе целью прославление

своего героя. В поисках способов обличительного изложения жизни Грозного он отталкивается от житийного жанра и строит его жизнеописание как своеобразное антижитие. Курбский начинает «житие» Грозного с привычных для него московских агиографических трафаретов, только перевертывая их значение, демонстрируя в «житии» Грозного прямо противоположные святому начала. Все начало жизнеописания Грозного — это житие по жанру, но перевернутое, как бы опрокинутое в зло. Сам типичный перевертыш, Курбский и это свое произведение строит в «перевернутом» строе, — стиле антижития. Он как бы «паразитирует» на традиционном жанре, разрушает его. «Разрушительная работа» Курбского в известной мере была необходима в историко-литературном процессе. Доказательства этому мы ясно определим в следующем периоде, когда писателям приходилось характеризовать деятелей Смутного времени не только как святых и героев, но во всей их сложности. Но об этом в дальнейшем... В истории литературы иногда расшатывание старых литературных форм имеет значение для созидания новых. Даже не стремясь к новшествам, Курбский разрушал жанровую систему древнерусской литературы. «История о великом князе Московском», начатая вначале как своего рода антижитие, затем переходило от одного жанра к другому, и в результате невольно создавалось произведение, выходящее за пределы любого из древнерусских жанров. Курбский и в своей «Истории» обращался то к одному жанру, то к другому. Задача, поставленная себе Курбским, заставляла его охватывать жизнеописательную тематику, послания, воспоминания, историю царствования Грозного и просто перечень его преступлений, ставший вместе с тем как бы и перечнем мучеников тирании Грозного. Немалую роль в создании этого многопланового и многожанрового произведения сыграла и постоянная перемена того воображаемого читателя, к которому обращался Курбский. То это был западнорусский читатель, которому он хотел разъяснить, почему он выехал из России, то это был сам Грозный, которого он разоблачал за глаза из своего безопасного зарубежного укрытия, но как бы и в глаза, прямо обращаясь к нему во втором лице. В моменты этих обращений Курбский, наверное, чувствовал себя очень смелым, нелিপеприятным и прямым...

«История о великом князе Московском» не участвовала в русском литературном процессе. Она не была известна на Руси в XVI веке, но тем не менее она явилась ярким свидетельством тех явлений, которые подспудно совершались в русской литературе — в первую очередь показателем ломки традиций.

Хотя основные произведения эпохи сосредоточиваются вокруг двух авторов — Грозного и его противника Курбского, — литературная жизнь продолжается в тиши монастырских келий, по большим общежительным монастырям и провинциальным городам. Велась работа переписчиков, составлялись новые редакции произведений — главным образом житийных, церковные службы. Сам Грозный был не чужд работы над второстепенными, не обращенными к политике произведениями. Грозный составлял церковные службы, сочинял к ним музыку, составил под псевдонимом «Парфений Уродивый» (этим псевдонимом Грозный пользовался и в других случаях) молитву «Ангелу Грозному», то есть ангелу смерти — Михаилу Архистратигу. Это произведение полно страха смерти и страха преследования: оно в высшей степени личное. В какой-то мере личные произведения писал и сын Грозного — царевич Иван Иванович. Ему принадлежат некоторые жития святых.

Жития святых, имевшие местное значение, писались и по монастырям. Они имели локальное значение. Однако на периферии в связи с военными событиями создавались произведения и широкого общегосударственного значения. Такова была составленная в 80-е годы XVI в. в Пскове «Повесть о нахождении на град Псков семиградского воеводы Стефана Батория». Повесть эта описывала удачное отражение осады Пскова многонациональными войсками Стефана Батория и была в этом отношении очень важна для подъема духа русского народа (не только псковичей), упавшего в обстановке тиранического гнета Грозного.

Характер повести в значительной мере продолжает «Казанскую историю» с тем только различием, что истории города здесь не требовалось и русские занимали позиции осажденных, а не осаждавших.

«Повесть о нахождении на град Псков», обширная и многоречивая, составленная, как и «Казанская история», очевидцем событий, медленно и обстоятельно разворачивает действие в духе второго монументализма. Она превращает события осады и обороны Пскова в своеобразное действо, церемониал. Ход событий разбивается на эпизоды, и каждому эпизоду дается свое оформление, свое название. Подобно тому как во время осады по стенам города совершался торжественный крестный ход, останавливавшийся на каждой башне для совершения молебна, так и в описании событий псковской обороны повествователь останавливается на каждом эпизоде, снабжая его отдельным заголовком и превращая каждый из этих эпизодов в своего рода молебное действо. Автор ведет свое повествование в настоящем времени, стремясь этим

достигнуть наибольшей наглядности, представимости совершавшегося, как бы заставляя вглядываться и вслушиваться во все бывшее. Это новое представление о повествовательном времени, которое в будущем получит особое развитие в повествовательных жанрах конца XVI—начала XVII века.

Вся повесть включается в ритм: ритм эпизодов, ритм повторяющихся синтаксических отрывков, ритм глагольных рифм и просто ритм настроения военных событий — и медленных и сокрушительных одновременно, больших масс войска и больших масс производимых наступательных и оборонительных работ.

Война — это прежде всего тяжелая работа, гигантская организация этих работ, смерть на посту. Это новое представление о войне, начало появления которого связано со «Сказанием о Мамаевом нашествии» и «Казанской историей».

«Повесть о нахождении на град Псков» явилась своего рода связующим звеном между воинскими повестями прошлого времени (в первую очередь такими, как «Казанская история» и «Сказание о Мамаевом побоище») и повестями начала XVII века о крестьянской войне и польско-шведской интервенции. Обращаясь назад к традиционным формам исторического и воинского повествовательного жанра, «Повесть о нахождении на град Псков» подготавливала вместе с тем тот жанр повествования, который окажется в силу ряда обстоятельств наиболее действенным в последующую эпоху.

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОГО ЛИТЕРАТУРНОГО СОЗНАНИЯ

(НАЧАЛО XVII ВЕКА)

Основная тема литературных произведений начала XVII века — историческое осмысление современности — событий Смутного времени.

Исторические сочинения первой половины XVII века, посвященные «Смуте»¹, резко отделяются от предшествующих летописей, исторических повестей, хронографов и «Степенной книги» рядом особенностей, и в первую очередь — повышенным интересом к человеческому характеру и новым к нему отношением. Изображение характеров исторических лиц составляет отныне одну из главных целей исторического повествования. Эти характеристики не только увеличиваются в объеме, но и изменяются по существу. По сути дела, «Временник» дьяка Ивана Тимофеева представляет собой собрание характеристик деятелей «Смуты» и событий «Смуты». Это своеобразная портретная галерея, соединенная с галереей картин исторического жанра. Вследствие этого автор не стремится к фактической полноте и последовательному хронологическому изложению событий. Иван Тимофеев не столько описывает факты, сколько их обсуждает. Его «Временник» не отличается в том, что касается событий после правления Шуйского, последовательной связью изложения: это очерки и характеристики — в особенности последнее.

Равным образом и «Словеса дней и царей и святителей московских» Ивана Хворостинина состоят в основном из характе-

¹ Здесь и ниже пользуюсь выражением «Смута» постольку, поскольку оно принадлежит самим писателям начала XVII в., так именно определявшим эпоху, послужившую предметом их исследования. В современной научной литературе принято более громоздкое определяющее название: «Эпоха крестьянских войн и польско-шведской (иногда говорят «иностранный») интервенции».

ристик деятелей «Смуты», начиная с Бориса Годунова. Во вступлении к своему труду Иван Хворостинин разъясняет цели своего произведения: он желает описать «пастырей наших детели» (деяния. — *Д. Л.*), подвиги «великодушных муж и бескровных мучеников и победоносцев».

То же самое может быть сказано и о «Повести» князя Ивана Михайловича Катырева-Ростовского, в конце которой помещено даже особое «Написание вкратце о царех московских, о образе их (т. е. о их внешности. — *Д. Л.*), и о возрасте, и о нравех».

В известной мере тем же стремлением к обсуждению характера исторических личностей отмечено и «Сказание» Авраамия Палицына, и «Иное сказание», и «Повесть» Семена Шаховского, и многое другое.

Этим интересом к интерпретации событий, а не к их фиксации, и в особенности к характеристикам участников этих событий, отличается вся литература о Смутном времени. Однако с наибольшей четкостью эта новая черта исторического сознания сказывается в русских статьях (т. е. статьях, посвященных русской истории) второй редакции Хронографа (1617 года). Литературные достоинства этих новых русских статей второй редакции Хронографа и значение их в развитии исторического знания на Руси до сих пор еще недостаточно оценены.

Самый состав Хронографа второй редакции обнаруживает в его авторе человека с незаурядной широтой исторических интересов. Предшествующая всемирная хронография в пределах от XI и до XVII века в гораздо большей степени, чем русское летописание, была подчинена религиозным задачам. Всемирная история трактовалась в значительной степени, хотя и не целиком, как история православия в борьбе с ересями. Вторая редакция Хронографа — первый и крупный шаг на пути секуляризации русской хронографии. Это отчетливо выступает в тех дополнениях, которыми распространил автор второй редакции основное, традиционное содержание Хронографа. Здесь и новые статьи из Елинского летописца (преимущественно выдержки из Хроники Иоанна Малалы, касающиеся античной истории), здесь и сочинения Ивана Пересветова, и дополнения из католических хроник Мартина Бельского и Конрада Ликбстена. Из этих последних выписаны статьи географического содержания (например, об открытии Америки — первые на Руси о ней известия), статьи об античной мифологии или общие статьи о магометанстве, по истории пап, по истории западноевропейских стран, по истории Польши. Все это не имело отношения к истории православия и даже иной раз противоречило официальной точке зрения на историю православия. Не меньший интерес имеют и вновь включенные статьи, посвященные описанию наружности

богоматери (из слова Епифания Кипрского «О житии пресвятыя владычица наша Богородице») и наружности Христа («Описание же божественныя Христовы плоти и совершеннаго возраста его»). В них сказывается интерес к реальному «портрету». Благодаря всем этим дополнениям Хронограф второй редакции (1617 г.) отличается значительно более светским характером, чем предшествующий ему Хронограф первой редакции (1512 г.). Однако наиболее отчетливо этот светский характер второй редакции Хронографа обнаруживается в его подробном повествовании о событиях русской «Смуты».

Давно уже было отмечено, что рассказ Хронографа 1617 г. о событиях русской истории XVI — начала XVII века представляет собой единое и стройное произведение. Это ощущается не только в стилистическом и идейном единстве всего повествования, но прямо подчеркивается автором путем постоянных перекрестных ссылок: «о нем же впереди речено будет в Цареградском взятии», или просто — «о нем же впереди речено будет», «о нем же писах в царстве блаженныя памяти Феодора Ивановича», «о нем же писах и прежде» и т. п.

Важно при этом отметить, что и само это произведение, как и вся композиция второй редакции Хронографа, идет по пути той же секуляризации исторической литературы. В нем нет ссылок на Священное писание, нет религиозного объяснения событий. Автор не приписывает «Смуту» наказанию божию за грехи всех русских людей, как это еще делают некоторые другие сочинители исторических произведений первой половины XVII века. Этот светский дух пронизывает собою и всю систему характеристик деятелей русской истории. Перед нами в Хронографе второй редакции действительно «система» характеристик: теоретически изложенная в кратких, но чрезвычайно значительных сентенциях и практически примененная в изображении действующих лиц «Смуты». Эта «система» противостоит средневековой, она подвергает сомнению основные принципы агиографического стиля. В ней нет резкого противопоставления добрых и злых, грешных и безгрешных, нет строгого осуждения грешников, нет «абсолютизации» человека, столь свойственной идеалистической системе мировоззрения средневековья.

В предшествующее время человек, особенно в житийной литературе, выступает по преимуществу либо совершенно добрым, либо совершенно злым. Исследователь творчества Пахомия Серба В. Яблонский пишет, например: «Подвижники рождаются у Пахомия такими же святыми, какими и умирают. Эта несообразность с законом естественного развития всякой человеческой жизни не препятствует трудам Пахомия быть поучительными панегириками: в жизни подвижников мы не находим ни едино-

го темного пятна от раннего детства до блаженной кончины в старости глубокой...» Правда, в литературе исторической эта идеализация и абсолютизирование нарушались сплошь и рядом, но эти нарушения были бессознательными, они не входили в художественный замысел автора, они происходили под воздействием самой действительности, дававшей материал для изображения человека, или под влиянием тех литературных образцов, которые писателю служили. Противоречивые черты могут быть замечены в изображении Дракулы в «Повести о Мутьянском воеводе Дракуле» (он справедлив и одновременно извращенно жесток), в изображении отдельных летописных героев и т. д. В «Повести о Дракуле» последний — «дьявол», но, поскольку и в богословских представлениях того времени на дьявола возлагается обязанность возмездия за грехи людей — он одновременно и справедлив: наказывает преступников тем, чем они провинились. Однако противоречивость характера исторического деятеля никогда еще не отмечалась в письменности особо. Она не осознавалась, не декларировалась авторами, хотя невольно уже и изображалась. Никогда исторические писатели сознательно не ставили себе целью описать эту противоречивость. Она слагалась как бы стихийно, слагалась в сознании читателя, а не в намерениях и тем более не в декларациях авторов.

Впервые исторические писатели открыто заговорили о противоречивости человеческого характера только в начале XVII века. Особенно ярко это опять-таки сказалось в Хронографе второй редакции. Человеческий характер объявляется автором второй редакции Хронографа сотканным из противоречий, сложным, в известной мере «относительным», соотношенным со средой, условиями жизни, особенностями биографического порядка. «Не бывает же убо никто от земнородных безпорочен в житии своем», — объявляет автор Хронографа. «Но убо да никто же похвалится чист быти от сети не приязньственаго злокозньствия врага», — повторяет он. «Во всех земнородных ум человек погрешителен есть, и от добраго нрава злыми совратен», иначе говоря — каждый человек в той или иной степени «совращен» от «добраго нрава», данного ему при рождении. Нет, следовательно, во-первых, людей только злых или только добродетельных, и, во-вторых, человеческий характер создается жизнью. Живой пример такого «совращения» доброго нрава на злой — Иван Грозный. Первоначально Грозный — образец доброго, мудрого и мужественного царя: «Он же убо имый разум благообычен, и бысть бе в мужестве, умен, еще же и во бранех на супротивныя искусен, велик бе в мужестве, и умеа на рати копием потрясати, воиничен бо бе и ратник непобедим, храбросерд же и хитр конник; той убо варварския страны аки молния борзо

обтече, и вся окрестныя устраши, и прегордыя враги покори. Бысть же и во словесной премудрости ритор, естествословен, и смышлением быстроумен, доброзрачен же и благосерд в воинстве, еще же и житие благочестиво имый, и ревностью по бозе присно препоясая...» Но стоило умереть Анастасии Романовой, поддерживавшей в Грозном его добрый от природы нрав, как характер его резко меняется — от старого не остается и следа. Перед нами другой человек, с диаметрально противоположным характером: «Блаженная же и предобрая супруга его не во многих letech ко господу отиде, и потом аки чуждая буря велия припаде к тишине благосердия его, и не вем, како превратися многомудренный его ум на нрав яр, и нача сокрушати от сродства своего многих, такоже и от велмож синклитства своего; во истину бо сбытсся еже в притчах реченное: яко парение похоти пременяет ум незлобив. Еще же и крамолу междоусобную возлюби, и во едином граде едины люди на другия поусты, и прочая опричиненныя нарече, другия же собственны себе учини, земщиною нарече. И сицевых ради крамолств сына своего большего царевича Ивана, мудрым смыслом и благодатию сияюща, аки незрелый грозд дебелим воздухом отрясе, и от ветви жития отторгну, о нем же неции глаголаху, як от отца своего ярости прияти ему болезнь, от болезни же и смерть...»

Если в этой характеристике Грозного автор второй редакции Хронографа еще зависит от Курбского и, следуя за этим последним, распределяет добродетели и злодейства Грозного во времени, относит первые к первой половине царствования, а вторые ко второй, то во всех последующих характеристиках автор второй редакции Хронографа уже не прибегает к такому механическому разделению свойств характера во времени. Он совмещает их одновременно в одном и том же человеке, впервые в истории русской исторической мысли сознательно создавая жизненно противоречивые характеристики исторических лиц, создавая образы, полные «шекспировских» противоречий, драматизируя историю душевной борьбой, внося в них коллизии, борьбу и творя характеры, которые впоследствии действительно привлекли внимание драматургов.

Сознательной противоречивостью исполнена характеристика Бориса Годунова; противоположные качества его натуры как бы нарочно сопоставлены, сближены в одной и той же фразе с тем, чтобы подчеркнуть противоречие: Борис «аще и зело про-
рассудительное к народом мудроправльство показа, но обаче убо и царстей чести зависть излия». Подробная характеристика Бориса, с которой начинается повествование о его царствовании во второй редакции Хронографа, вся построена на этом совмещении положительных и отрицательных качеств его характера:

«Сей убо государь и великий князь Борис Федорович Годунов в свое царство в Руском государстве градов и монастырей и прочих достохвалных вещей много устроив, ко мздоиманию же зело бысть ненавистен, разбойства и татьбы и всякого корчемства много покусився еже бы во свое царство таковое не богоугодное дело искоренити, но не возможе отнюд. Во бранех же неискусен бысть: время бо тому не настояше, оруженосию же не зело изыщен, а естеством светлодушен и нравом милостив, паче же рещи и нищелюбив, от него же мнози доброкапленные потоки приемльше и от любодаровитыя его длани в сытость напитавшися, всем бо не оскудно даяния простирашися не точию ближним своим и сыновом руским, но и странным далним и иноплеменным аки море даяния и озеро пития разливашися всюду, яко каменья и древа и нивы вся дарми его упокоишася, и тако убо цветяся аки финик листвием добродетели. Аще бы не терние завистныя злобы цвет добродетели того помрачи, то мог бы убо всяко древнним уподобитися царем, иже во всячественем благочестии цветущим. Но убо да никто же похвалится чист быти от сети неприязньственаго злокозньствия врага, понеже сей перстною плотию недуговаше, зело возлюбил, и к себе вся приправливая, и аки ужем привлекаше».

Из тех же противоречивых черт соткана и характеристика патриарха Гермогена. Признавая, что Гермоген был «словесен муж и хитроречив», составитель второй редакции Хронографа тут же добавляет: «но не сладкогласен», и дальше: «а нравом груб и бывающим в запрещеннях косен к разрешениям, к злым же и благим не быстро распрозрителен, но колстивым паче и лукавым прилежа и слуховерствователен бысть».

Соткана из противоположных качеств в Хронографе и характеристика Ивана Заруцкого: «Не храбр, но сердцем лют и нравом лукав». Достаточно сложна характеристика Козьмы Минина: «Аще и не искусен стремлением, но смел дерзновением» и т. д.

Вслед за автором второй редакции Хронографа эти противоречивость, контрастность человеческого характера подчеркивают и другие авторы исторических сочинений первой половины XVII века.

Прямолинейность прежних летописных характеристик по немногим рубрикам (либо законченный злодей, либо герой добродетели) исчезает в произведениях начала XVII века. Прямолинейность предшествующих характеристик отброшена — и с какою решительностью! Вслед за второй редакцией Хронографа наиболее резко сказывается новый тип характеристик во «Временнике» Ивана Тимофеева. Характеристика Грозного составлена Иваном Тимофеевым из риторической похвалы ему и само-

го страстного осуждения его «пламенного гнева». Все люди причастны греху: «сиде и сему (то есть Грозному. — Д. Л.), осрамившуся грехом, ему же причастни вси».

Тимофеев дает разностороннюю и очень сложную характеристику Борису Годунову и утверждает, что обязан говорить и о злых, и о добрых его делах: «И яже злоба о Борисе извещана бе, должно есть и благодеяний его к миру не утаити». Тимофеев как бы считает себя обязанным писать о добродетелях Годунова, поскольку он пишет и о его «злоторных»: «Елика убо злоторная его подробно написати поддяхомся, сиде и добротвориная о нем исповедати не обленимся».

Совмещение в характеристиках всех качеств человека — и скверных и добрых — Тимофеев считает знаком беспристрастности: «И да никто же мя о сих словесы уловит, иже о любославнем разделением: во овых того есмь уничижая, в прочих же, яко похваляя». И в другом месте: «...егда злоторная одинако изречена бы, добрая же от инех сказуема, нами же умолкнута, — яве неправдование обнажилось бы списателево; а иже обоя вправду известуема без прилога, всяка уста заградятся», то есть никто не сможет возразить и упрекнуть автора в пристрастии, в односторонности, если он будет отмечать в человеке и злые и добрые черты. Только положительная или отрицательная характеристика лишь обнажает «неправдование» писателя, его необъективность. Иван Тимофеев не может решить, какая из чаш весов перетянет после смерти Бориса: «В часе же смерти его никто же весть, что воздоле и кая страна мерила претягну дел его: благая, ли злая».

Так же как и автор второй редакции Хронографа, Иван Тимофеев не рассматривает злое и доброе начала в характере человека как нечто извечное и неизменное. Впервые в русской литературе писатели начала XVII века стремятся выяснить причины появления и роста в характере исторического лица тех или иных качеств, рассматривают влияние одного человека на другого. Автор второй редакции Хронографа отмечает доброе влияние Анастасии Романовой на Грозного, с исчезновением этого влияния, после смерти Анастасии, меняется характер Грозного. Иван Тимофеев как один из факторов добродетели в характере Бориса отмечает доброе влияние на него со стороны царя Федора Иоанновича: «Но вем вещи силу сказати, откуда се ему доброе прибьсть: от естества ли, ли от произволения, ли за славу мирскую... Мню бо, не мал прилог и от самодержавного вправду Феодора многу благу ему навькнути, от младых бо ногот придержася пят его часто».

Впервые, следовательно, в русской литературе применительно к историческим деятелям был поднят вопрос о факторах, вызывающих появление тех или иных черт в человеческом харак-

тере. Вневременная и абсолютная сущность человеческого характера, какой она представлялась в средневековье, поколеблена. Автора уже не смущает изменчивость характеров, как не смущают и контрасты в них.

Иван Тимофеев различает в исторических деятелях следующие слагаемые их характера наряду с «естеством»: «произволение», то есть свободный выбор человека, «за славу мирскую», то есть тщеславие — оглядку на людское мнение, и, наконец, непосредственное влияние других людей — в данном случае царя Федора. Перемена этих слагаемых вызывает изменения в человеческом характере. Так же как у автора второй редакции Хронографа Грозный, у Ивана Тимофеева Борис Годунов меняет свой характер под влиянием изменения внешней обстановки. Эта перемена картинно изображена Иваном Тимофеевым: «Сиче и Борис, егда в равночестных честен бе и по цари вся добре управляя люди, тогда по всему благ являся, во ответех убо обреташеся сладок, кроток, тих, податлив же, и любим бываше всем за обиды и неправды всякия от земля изыательство, яко едину ему такову по цари праведну тогда мняху вси во всецарствии обрестися. Сего, такового правосудства ради, и к церковию помазанию вси людие земля о нем усладившеся предкнушася: в получении жь толика преестествена высотой сана и несвойствена ему такова по всему чина, егда паче естества си совершенно одеся преславнаго царствия превсесветлаго благолепия порфирию, тогда мирови о мнящихся ими благих солган бысть надежду, еже о нем чаянием упования лучшаго, к нему купно и душевне верую. По получении же того величеством абия претворся и нестерпим всяко, всем жесток и тяжек обрется; о людех варив благотворением малем и прельсти державу свою».

Сложная и контрастная характеристика Бориса обошла всех писателей, писавших о «Смуте» после 1617 года. Она сказалась не только во «Временнике» Ивана Тимофеева, но и в «Словесах дней и царей и святителей московских» Ивана Хворостинина. У него мы видим то же совмещение в образе Бориса противоречивых качеств: «Аще бо и лукав сый нравом и властолюбив, но зело и боголюбив; церкви многи возгради и красоту градскую велелепием исполни; лихоимцы укроти, самолюбных погубив, областем странным страшен показася, и в мудрость жития мира сего, яко добрый гигант, облечеса и приим славу и честь от царей». А затем без всякого перехода: «И озлоби люди своя, и востави сына на отца и отца на сына, и сотвори вражду в домех их, и ненавидение и леть в рабех сотвори, и возведе работных на свободных, и уничижи господа на началствующих, и соблазни мир и введе ненависть, и востави рабов на господей своих, и власти сильных отъят, и погуби благородных много, иже нелепо

есть днесь простерти слово, да не постигнет нас время, повести деюще».

Контрастная характеристика Бориса предложена читателям и в «Повести» И. М. Катырева-Ростовского: «Быст же той Борис образом своим и дела множество людей превозшед; ни кто бе ему от царских синклит подобен во благолепие лица его и в разсуждение ума его; милостив и благочестив, паче же во многом разсуждении доволен, и велеречив зело, и в царствующем граде многое дивное о собе творяше во дни власти своея. Но токмо едино неисправление имяше перед богом и всеми людьми: во уши его ложное приношаху; радостно тово послушати желаше и оболганных людей без разсуждения напрасно мучителем предаваше. И властолюбив велми бываше, и начальников всего Российского государства и воевод, вкупе же и всех людей московского народу, а подручны себе учини, якоже и самому царю во всем послушну ему быти и повеленное им творити».

Остались чужды этой характеристики Бориса лишь «Иное сказание», хотя и испытавшее влияние второй редакции Хронографа, но в своей начальной части более всего зависящее от «Повести, како восхити неправдою на Москве царский престол Борис Годунов», и «Сказание» Авраамия Палицына в основной своей редакции, составленное еще до 1617 года.

Проблема человеческого характера встала, таким образом, перед историческими писателями первой половины XVII века во всей ее сложности, какая только могла быть доступна в эту эпоху. Постановка этой проблемы повлекла за собой пересмотр многих основ средневековой оценки исторических явлений, средневековых исторических воззрений в целом. Самое зло и добро в применении к человеческому характеру оказались относительными. Эту мысль прямо декларирует автор второй редакции Хронографа, поясняя, что от зла может произойти добро, а от добра зло: «Бывает бо по случаю и пелынная лютость врачевания ради недуг в достохвалных словесех приобношается, тако же и от сеговыя злобы произыде доброта».

Замечательно, что характеры исторических лиц показаны в произведениях о «Смуте» не изолированно. Они раскрываются в связи со слухами о них, в связи с народной молвой. В летописи не встречается передачи разных точек зрения на события, не согласных с авторской, характеристик неавторских. Между тем авторы исторических произведений о «Смуте» постоянно ссылаются на различные слухи, разговоры, толки, отчетливо осознавая значение «общественного мнения».

Автор второй редакции Хронографа ссылается на разговоры о ссылке Нагих в Углич, об убийстве Борисом царевича Дмитрия, о поставлении Филарета Никитича и т. д.

Характеры исторических лиц показаны на фоне народных

толков о них. Вот как характеризуется, например, Самозванец: «...глаголаша же о нем мнози, яко по всему уподобитися ему нравом и делом скверному законопреступнику нечестивому мучителю царю Иулиану». Передается и мнение народа о сыне Бориса — Федоре Борисовиче: «...о нем же мнози от народа тайно в сердцах своих възрыдаша за непорочное его житие».

Автор второй редакции Хронографа не стесняется приводить мнения, резко расходящиеся с его собственными. Он собирает все «за» и «против», подвергая их строгому разбору. Так, например, в Хронографе полностью переданы слова сторонников Тушинского вора о Василии Шуйском, которого автор второй редакции Хронографа в общем идеализирует. Эти «крамольницы» и «мятежницы» так отзывались о Шуйском: «...а ныне его ради кровь проливается многая, потому что он человек глуп и нечестив, пьяница и блудник и всячествованием неистовен, царствования недостоин». В противовес этому мнению приводится и другое: «Сия же слышавше и мнози от народа рекоша к ним сице: «государь наш царь и великий князь Василей Иванович сел на Московское государство не сильно, выбрали его быти царем большие бояре и вы, дворяне, и все служилые люди, а пьянства и всякого неистовства мы в нем не ведаем; а коли бы таковому совету быти, ино бы тут были большие бояре да и всяких чинов люди».

То же восприятие характера исторического лица через народную молву, слухи, иногда сплетни опять-таки встречается и во «Временнике» Ивана Тимофеева, и в «Словесех дней» Ивана Хворостинина.

У Тимофеева окружена народной молвой смерть Грозного: «Глаголаху же нецыи, яко прежде времени той, яростнаго ради зельства, от своих раб подъя угашение своея жизни, яко же и чадом его по нем они сотвориша тожде. Смерти же его во странах языческих, яко о празднице светле, много сотворися радость, и весело восплескаша руками».

У Хворостинина в связи с народными толками дана характеристика Гермогена: «...яко же слышахом, етери глаголюще, яко соблази и смущение патриарх той сотворил есть и возведе люди своя братися на враги, владуща нами...»

Итак, характеры исторических героев не неизменны, они могут изменяться под влиянием других людей или с переменой обстоятельств. В них могут совмещаться и дурные и хорошие качества. Человек по природе своей ни абсолютно добр, ни абсолютно зол. Беспорочных людей нет. Противоречивость, контрастность авторских характеристик исторических лиц служат как бы удостоверением объективности их изображения, так как только таким и может быть человек в представлениях первой половины XVII века. Характер человека преломляется в толках о

нем. Историческое лицо оценивается в исторической перспективе, в его «социальной функции».

Это новое представление о человеческом характере сказывается во всех деталях восприятия исторических лиц.

Старые средневековые добродетели уже лишены своего положительного значения. Безусловные добродетели оказываются относительными. Добродетели, заложенные в характере исторических лиц, сыгравших отрицательную роль в русской истории, оказываются только вредными. О Дмитрие Самозванце автор второй редакции Хронографа говорит: «...ко книжному прочтанию борозрителен, но не на благо». Внешность человека уже не соответствует обязательно, как раньше, его характеру. Иван Тимофеев так, например, описывает внешность своих современников, легкомысленно предавшихся Самозванцу: «Вместо разума токмо седину едину имуще и брадную власом долгость, юже являху людям и красахуся тою, яко мудрии». Все большее и большее значение в характеристике исторических лиц приобретают их поведение, их действия. Это отчетливо видно в тех случаях, когда сравнение, образ, применяемый к человеку, имеет в виду его действия, но не его внутреннюю сущность, которая, как мы видели, в известной мере признавалась непознаваемой. Автор редакции Хронографа вряд ли считает патриарха Гермогена похожим на птицу и тем не менее пишет, что его «аки птища в заклете гладом умориша».

Вследствие этой манеры применять к историческим лицам различные образные сравнения по их функции, по их действию, а не по их сущности, авторы прибегают к таким сравнениям, которые, казалось бы, совершенно не шли к человеку с точки зрения эстетической системы нового времени: историческое лицо может быть уподоблено реке, буре, молнии, горе, раю, ограде и т. д.; оно может быть сравниваемо с различными дикими зверями, внешне мало похожими на человека. Автор второй редакции Хронографа сравнивает Бориса Годунова с «морем», с «езером»; Дмитрия Самозванца он называет «злодыхательной бурей». Тушинский вор — «злобесный и кроволакательный пес, или человекоядный зверь, иже лукавое око отверзе и злое рыкание испусти». Федор Иоаннович, говорит автор второй редакции Хронографа, «ограда бысть многих благ, яже водами божими напоема, или рай одушевлен, иже храня благодатная садовия». Его же он называет «свеща страны Руския».

Все эти непривычные для нашего эстетического сознания сравнения объясняются тем, что человек характеризуется по «функции», по своим «делам». Об этом прямо однажды и заявляет автор второй редакции Хронографа, характеризуя Тушинского вора: «...се другое зло прииде, другой зверь подобен первому явился не образом, но делы».

Внешне этот способ характеристики человека еще очень близок к средневековой системе, к системе Хронографа 1512 года — самые образы старые, но функция их в значительной мере новая, поскольку новым оказывается самое видение человеческого характера, восприятие человеческой личности, ее оценка. И то, и другое, и третье оказываются бесконечно более сложными, чем в предшествующий период, и вместе с тем более реальными, более близкими действительности.

В чем же исторические корни новых воззрений на человеческую личность, нашедших себе место в литературных произведениях начала XVII века?

Новое отношение к человеческому характеру отразило общее накопление общественного опыта и отход от теологической точки зрения на человека, начавшийся в XVI веке и усиленно развивавшийся в XVII веке.

Период крестьянской войны и польско-шведской интервенции способствовал огромному накоплению опыта социальной борьбы во всех классах общества. Именно в это время вытесняется из политической практики, хотя еще и остается в сфере официальных деклараций, теологическая точка зрения на человеческую историю, на государственную власть и на самого человека.

Чтобы представить себе конкретно влияние нового социального опыта на литературу, обратимся к некоторым фактам. Мы видели выше, что обсуждению в литературе подвергались в первую очередь характеры монархов. Это далеко не случайно. Здесь сказалась новая практика поставления на царство «всею землею». Если в XVI веке Грозный в своих посланиях к Курбскому отрицал право подданных судить о действиях своего государя, утверждал богоизбранность монаршей власти, а в посланиях к Стефану Баторию насмешливо отзывался о его поставлении по «многomyateжному человеческому хотению», то вскоре после его смерти это положение резко изменилось: в 1598 году состоялись первые выборы русского государя «всею землею». Теологическая точка зрения на происхождение царской власти и идея неподсудности монарха человеческому суду впервые возбудили очень серьезные сомнения.

Утвержденная грамота Бориса Годунова 1598 года хотя внешне и опирается еще на идею божественного происхождения царской власти, но практически объясняет необходимость власти государя чисто «земскими» причинами. Государь необходим для благосостояния своих подданных, и об этом выразительным жестом заявил сам Годунов во время своего венчания на царство: он взял за ворот свою рубашку и потряс ею, обещая и эту последнюю в случае нужды разделить со всеми для блага своих подданных.

Предвыборная горячка, несомненно, разжигала споры о до-

стоинствах того или иного претендента на престол. Характер будущего монарха подвергался обсуждению в боярской думе, на соборе, среди ратников, в толпе народа у стен Новодевичьего монастыря, где народ, подгоняемый приставами, «молил» Годунова на царство.

Грамота, утвержденная в 1598 году, одним из доводов в пользу избрания Годунова на царство выдвигала личные черты его характера: его государственную мудрость, его добродетели и его заботу о «воинском чине».

Черты нового отношения к власти царя мы можем найти и в крестоцеловальной записи Василия Шуйского, и в грамотах патриарха Гермогена, и в июньском приговоре 1611 года, и в Грамоте, утвержденной в 1613 году и т. д.

Крестьянская война постепенно вытравливала из народного сознания старое отношение к монарху как к наследственному, богоизбранному и человеческому суду не подсудному главе государства. Человеческий суд совершился и над Годуновым, и над Василием Шуйским, и над многими самозванцами. Этот суд был сперва судом народного мнения, а затем и судом действия. Характеры монархов обсуждались людьми «юнними», «малыми», «простыми» не в меньшей, может быть, степени, чем в среде боярства и дворянства.

Вслед за монархами обсуждение личных достоинств коснулось и всех руководителей ратного и «земского» дела. Июньский приговор 1611 года отчетливо отразил мысль о том, что начальниками должны быть люди способные, а не только бояре и княжата. История выдвинула тому конкретный образец — «говядаря» Кузьму Минина.

Черты человеческого характера стали, следовательно, предметами всеобщего обсуждения. Вопрос о них в отдельных случаях приобретал государственное значение. Вот почему и в литературе так часто начало упоминаться народное мнение.

Меньше всего в этом новом критерии для избрания «всенародным единством» монарха или военного руководителя было заинтересовано боярство. Поэтому-то характеру русских правителей относительно мало уделяют места боярские писатели начала XVII века: Авраамий Палицын, Катырев-Ростовский и некоторые другие. К ним, напротив, весьма внимательны писатели — обличители бояр: дьяк Тимофеев, автор второй редакции Хронографа и некоторые другие.

Итак, сильные и сложные характеры были в русской истории всегда, но лишь с начала XVII века перед историческими писателями встала особая задача их замечать и описывать. Эта задача была выдвинута перед литературой самой политической жизнью и вместе с тем она ответила внутренним потребностям развития самой литературы. Еще многое в литературе XVII ве-

ка в приемах составления характеристик исторических лиц восходит к житийной литературе, к Хронографу, но многое уже видится по-иному. Еще форма остается старой, но уже глаз воспринимает острее и наблюдательнее прежнего. Но самое замечательное в литературе начала XVII века — это сознательность введения новых принципов характеристик исторических лиц. Авторы XVII века не только по-новому описывают их характер, но высказывают принципиальные суждения о том, каким он им представляется. Недалеко то время, когда и самые приемы изображения человеческого характера изменятся, улягутся в новую литературную систему.

Изменение в отношении авторов XVI—XVII веков к человеческому характеру может быть изображено в такой последовательности: первоначально растет интерес к психологии исторических личностей, и рост этот отмечен чисто количественным увеличением числа и объема характеристик в произведениях XVI века; затем авторы исторических произведений начала XVII века научаются по-новому изображать характер исторических лиц, замечают в нем многое такое, что не было доступно их предшественникам, и одновременно начинают высказывать новые суждения о человеческих характерах, осознавая их сложность. Каждый новый этап в этом «обнаружении» характера непосредственно вызывался исторической действительностью.

Новое отношение к человеческому характеру не было только явлением узколитературным. Оно позволило по-новому взглянуть на современность, на трагические события, свидетелями которых явились писатели, и явилось новым этапом в развитии патриотического сознания. Личные свойства человека, его совесть, его честность и твердость стали осознаваться как решающие не только в его личной жизни, но и в судьбах государства. Особенно показательны в этом отношении две повести о князе Михаиле Васильевиче Скопине-Шуйском — выдающемся полководце, на которого возлагались большие надежды в освобождении от шведской интервенции и в борьбе с войсками Лжедмитрия II. Однако подготавливаемый им поход на интервентов не был осуществлен из-за его внезапной смерти на двадцать четвертом году жизни на пиру. Первая повесть — «О рождении» Скопина, вторая — «О преставлении и о погребении». Наряду с книжными элементами в обеих повестях ярко прослеживается народно-песенная струя. Вот как, например, объясняется и оплакивается смерть Скопина: «И как будет после честного стола пир на веселие, и дьявольским омрачением злодейница та княгиня Мария, кума подкресная, подносила чару питья куму подкресному и била челом, здоровала с крестником Алексеем Ивановичем. И той чаре, в питии, уготовано лютое питье смертное. И князь Михайло Васильевич выпивает ту чару

досуха, а не ведает, что злое питье лютое смертное. И не в долг час у князя Михаила во утробе возмутилося, и не допировал пир почестного и послал к своей матушке Елене Петровне. И как восходит в свои хоромы княженецкие, и усмотрела его мати и возрила ему в ясные очи; и очи у него ярко возмутились, в лице у него страшно кровию знаменуется, а власы у него на главе стоя колеблются». Здесь и изобразительность, и фольклорность, и лиричность. Таков же и плач матери по Скопине-Шуйском: «Чадое мое сын, князь Михайло Васильевич, для чего ты рано и борзо с честнаго пира отъехал? Любо тебе богоданный крестный сын принял крещение не в радость? Любо тебе в пиру место было не по отчеству?» Поразительно, как в этом плаче сочетается реальный пир, на котором умер Скопин-Шуйский, с метафорой жизни как пира.

Можно говорить о стилистическом разнообразии в этой повести, но этот стилистический разнотип — свидетельство о новых художественных исканиях, и он пронизывает собой в целом всю литературу, посвященную событиям Смутного времени, — времени, с которого начались многие новые явления в русской литературе.

СЕМНАДЦАТЫЙ ВЕК В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Историко-литературное значение XVII века не получило еще достаточно точного определения. Одни исследователи, и их большинство, относят XVII век целиком к древней русской литературе, другие видят в нем появление литературы новой, третьи вообще отказываются дать ему ту или иную историко-литературную характеристику¹.

Это век, в котором смешались архаические явления с новыми, соединились местные и византийские традиции с влияниями, шедшими из Польши, с Украины, из Белоруссии.

Это век, в котором прочно укоренившиеся за шесть веков литературные жанры легко уживались с новыми формами литературы: с силлабическим стихотворством, с переводными приключенческими романами, с театральными пьесами, впервые появившимися на Руси при Алексее Михайловиче, с первыми записями фольклорных произведений, с пародиями и сатирами.

Это век, в котором одновременно возникают литературы придворная и демократическая.

Наконец, в XVII же веке мы видим появление профессиональных авторов, усиление чувства авторской собственности и интереса читателей к автору произведения, к его личности, развитию индивидуальной точки зрения на события и пробуждение в литературе сознания ценности человеческой личности

¹ См., например: Орлов А. С. Лекции по истории древней русской литературы, читанные на Высших женских курсах, учр. В. А. Полторацкой. М., 1916; его же. Древняя русская литература XI—XVI вв. М.—Л., 1937. (Краткий раздел с фактическими сведениями о литературе XVII в. добавлен только во 2-е издание последней книги 1939 г.)

самой по себе, вне зависимости от ее официального положения в обществе.

Несомненно, что все эти и иные явления XVII века сделали возможным ко второй трети XVIII века включение русской литературы в общеевропейское развитие, появление новой системы литературы, способной стать на один исторический уровень с литературами Франции, Германии, Англии, развиваться вместе с ними по одному общему типу, воспринимать их опыт и примыкать к общеевропейским литературным направлениям (барокко, классицизм, позднее — романтизм, реализм, натурализм и пр.) без всяких ограничений, снижающих или сокращающих значение этих направлений на русской почве.

Явления Предвозрождения, охватившие Русь в конце XIV и начале XV века, не получили в дальнейшем должного развития. В историческом процессе, в истории культуры и в истории литературы очень часто то или иное явление не может развиться в полной мере, тормозится неблагоприятными условиями или вовсе погибает. На стадии перехода к Возрождению остановилась в результате турецкого завоевания Византия. Разрыв с византийской культурой-современницей и сохранение только связей с византийскими традициями замедлило и культурное развитие Руси. Вместо того чтобы поддерживать изменения, византийское влияние стало эти изменения задерживать. Но еще тяжелее была для русской культуры гибель городов-коммун — Новгорода и Пскова, ускоренное развитие централизованного государства, обусловленное внешней опасностью при недостаточности экономического развития.

Ренессансные явления в русской культуре не были, однако, убиты в корне. Развитие их только задерживалось, появление многих из них было только отсрочено, перешло в новое состояние. Исследования Н. К. Гудзия, В. Ф. Ржиги, А. И. Клибанова, Я. С. Лурье, Н. А. Казаковой, М. П. Алексеева и других ясно показали существование на Руси ренессансных явлений, хотя и в неразвитом виде.

В XVII столетии, после века необузданных притеснений и государственного вмешательства в литературное творчество, эти ренессансные явления вдруг получают позднее развитие и смешиваются в конце века с явлениями барокко, шедшими с Запада. Ренессанс вступает в свои права, но его развертывание идет не совсем нормально, как у всякого опаздывающего явления. Запоздалое цветение Ренессанса и создало ту пеструю картину, которую являет собой русская литература в XVII веке.

Если кратко, в немногих словах, определить значение XVII века в истории русской литературы и в истории русской культу-

ры в целом, то придется сказать, что главное было в том, что век этот был веком постепенного перехода от древней литературы к новой, от средневековой культуры — к культуре нового времени. XVII век в России принял на себя функцию эпохи Возрождения, но принял в особых условиях и в сложных обстоятельствах, а потому и сам был «особым», неузнанным в своем значении. Развитие культурных явлений в нем не отличалось стройностью и ясностью. Так бывает всегда, когда историческое движение сбито посторонними силами, внешними неблагоприятными обстоятельствами.

Русская литература на грани XVI—XVII веков стояла перед необходимостью подчинения литературы личностному началу, выработку личностного творчества и стабильного авторского текста произведений. Она стояла перед необходимостью освобождения всей системы литературных жанров от их подчинения «деловым» задачам и создания общих форм литературы с западноевропейскими. Развитие критики и литературных направлений, периодической печати, театра и стихотворства, активизация читателей и освобождение литературы от подчинения церковным и государственным интересам, проявление самостоятельности писательских мнений, оценок и т. д. — все это должно было появиться в XVII веке, чтобы сделать возможным окончательный переход во второй четверти XVIII века к новому типу структуры литературы, к новому типу литературного развития и к новому типу взаимоотношений с литературами стран европейского Запада. «Европеизация» русской литературы в XVIII веке состояла не только в том, что Россия стала на путь простого знакомства с литературами Запада, но и в том, что это знакомство в результате внутренней подготовленности русской литературы смогло принести обильные плоды.

Историки литературы обычно представляют себе эмансипацию личности в литературе XVII века как эмансипацию поведения действующих лиц произведения. Герои начинают нарушать старозаветные нормы, выработанные в русском быту предшествующих столетий. Эмансипацию личности видят в образах Аннушки и Фрола Скобеева, в их «вольном поведении».

Эмансипированными личностями представляются и Савва Грудцын, и девица из «Притчи о старом муже и молодой девице» и даже герой «Повести о Горе-Злочастии» — безымянный молодец. Все эти молодцы и девицы не слушаются родителей, не следуют нормам поведения, предписывавшимся старозаветным укладом жизни.

Дело, однако, не в появлении своевольных личностей, на-

рушающих заветы старины: такие личности были всегда. Новые герои литературы не являются носителями каких-либо новых идей. Дело, как мы увидим в дальнейшем, в новом к ним отношении авторов и читателей. Но самое главное в том, что сама литература как целое начинает создаваться под действием этого личностного начала. В литературу входит авторское начало, личная точка зрения автора, представления об авторской собственности и неприкосновенности текста произведения автора, происходит индивидуализация стиля и многое другое.

В самом деле, личность автора сказывалась в художественном методе средневековой литературы значительно слабее, чем в литературе нового времени. Причины тому две. С одной стороны, постоянные последующие переделки произведения, не считавшиеся с авторской волей и уничтожавшие индивидуальные особенности авторской манеры. С другой же стороны, авторы средневековья гораздо менее стремились к самовыявлению, чем авторы нового времени. В литературе Древней Руси гораздо большую роль, чем авторское начало, играл жанровый признак. Каждый литературный жанр имел свои традиционные особенности художественного метода. Особенности художественного метода, присущие тому или иному жанру, вытесняли индивидуальные авторские особенности. Один и тот же автор способен был прибегать к разному методу изображения и к разным стилям, переходя от одного жанра к другому. Пример тому — произведения Владимира Мономаха. Летопись его «путей» (походов) и «ловов» (охот) составлена в летописной манере (по художественному методу и по стилю). Совсем иной художественный метод и иной стиль в нравоучительной части «Поучения». Здесь перед нами художественный метод церковных поучений. Письмо к Олегу отделяется и от того и от другого — это одно из первых произведений эпистолярной литературы, своеобразное по художественному методу и по стилю.

Древнерусские литературные произведения очень часто говорят от имени автора, но этот автор еще слабо индивидуализирован. В проповеди — это проповедник, в житии святого — это агиограф, в летописи — летописец и т. д. В средневековой литературе авторское «я» в большей степени зависит от жанра произведения, почти уничтожая за этим жанровым «я» индивидуальность автора. Существуют как бы жанровые образы авторов. Будь летописец стар или молод, монах или епископ, церковный деятель или писец посадничьей избы — его манера писать, его авторская позиция — одна и та же. И она едина, даже несмотря на совсем разные политические позиции, которые могут летописцы занимать.

Правда, авторская личность начинает заявлять о себе с достаточной определенностью уже в XVI веке в произведениях,

принадлежащих перу властного и ни с чем не считающегося человека: Иван Грозный — это в какой-то мере первый писатель, сохраняющий неизменной свою авторскую индивидуальность, независимо от того, в каком жанре он писал. Он не считается ни с этикетом власти, ни с этикетом литературы. Его ораторские выступления, дипломатические послания, письма, рассчитанные на многих читателей, и частная переписка с отдельными лицами всюду выявляют сильный неизменный образ автора: властного, ядовитого, саркастически настроенного, фанатически уверенного в своей правоте, все за всех знающего. Это сильная личность, но жестоко подавляющая другие личности, личностное, ренессансное начало.

События «Смуты» начала XVII века перемешали общественное положение людей. И родовитые, и не родовитые люди стали играть значительную роль, если только они обладали способностями политических деятелей. Поэтому и официальное положение автора не стало иметь того значения, что раньше. Вместе с тем каждый автор стал стремиться к самовыявлению, иногда самооправданию, начал писать со своей сугубо личной точки зрения.

Авраамий Палицын, князь Иван Хворостинин, князь Семен Шаховской пишут свои произведения о «Смуте» в целях самооправдания и самовозвеличения. У них были чисто личные причины для составления своих произведений. В их сочинениях проникает элемент автобиографизма. Они даже и не скрывают, что высказывают не объективную точку зрения на события, а сугубо субъективную — личную. В своих «Словесах дней и царей и святителей московских» Иван Хворостинин дает характеристику тем деятелям «Смуты», которые были ему лично знакомы. Авторы повестей о «Смуте» — участники событий, а не только их свидетели. Поэтому они пишут о себе и о своих взглядах, оправдывают свое поведение, ощущают себя не только объективными историками, но в какой-то мере и мемуаристами.

Позиция мемуариста появляется даже у агиографа. Сын Иульянии Осоргиной — Дружина Осоргин — пишет житие своей матери с позиций человека, близкого Иульянии.

Автобиографии составляют во второй половине XVII века многие деятели этого времени: Елифаний и Аввакум, игумен Полоцкого Богоявленского монастыря Игнатий Иевлевич¹. Автобиографическими элементами полны стихи Симеона Полоцкого и справщика Савватия.

¹ См.: Голубев С. История Киевской духовной академии, т. 1, приложение 74—79 — текст автобиографии. Об Игнатии см.: Белецкий А. И. Из начальных лет литературной деятельности Симеона Полоцкого. — Сб. ОРЯС. Л., 1928, т. 101, № 3.

Если профессиональные писатели-ремесленники появляются уже в XV веке (Пахомий Серб), то теперь, в XVII веке, появился тип писателя, осознающего значительность того, что он пишет и делает, необыкновенность своего положения и свой гражданский долг. Самосознание писателя в XVII веке стоит уже на уровне нового времени.

Рост самосознания автора был только одним из симптомов осознания в литературе ценности человеческой личности.

Ценность человеческой личности самой по себе осознавалась не в абстрактном ее понимании (например, в соответствии с принципами: «человек по своей природе добр», «нет людей злых» и пр.), а в самом обыденном, конкретном. Постепенно отмирало и уходило в прошлое именно абстрактное понимание человеческой природы, заставлявшее средневековых книжников однообразно делить всех людей на хороших и плохих: тех, что после смерти пойдут направо и получают награду за свою праведность, и тех, что пойдут налево и воспримут воздаяние за грехи. Человек все больше выступал как сложное в нравственном отношении существо, связанное при этом с другими людьми, с обстоятельствами, приведшими его к тому или иному поступку, с бытовой обстановкой. Раскрепощение человеческой личности в литературе было и своеобразной конкретизацией ее изображения. Человек все более начинал восприниматься как конкретный индивидуум, в сложной раме быта и общества. Правда, этот быт и это общество виделись еще глазами автора, не совсем обычными для дневному освещению. Вырисовывались лишь контуры соотношений и отдельные детали. Однако принципиально важен был самый переход к детализированному видению.

Герои литературных произведений «спускаются на землю», перестают ходить на ходулях своих официальных высоких рангов в феодальном обществе. Их положение по большей части снижается, соответствуя отчасти положению нового читателя, пришедшего в XVII век из масс, своими собственными силами выдвинувшегося или по своей собственной беспечности не выдвинувшегося в обществе.

Для нового читателя герой литературного произведения не вознесен над ним, а вполне с ним сопоставим. Отсюда отношение к нему автора становится все лиричнее. Герой не поднимается над читателем и в моральном отношении.

Во всех предшествующих произведениях средневековья действующие лица как бы витали в особом пространстве, куда читатель, в сущности, не мог проникнуть. Теперь герой лишен какого бы то ни было ореола. Герой опущен до пределов возможного. Молодец «Повести о Горе-Злочастии» наг или одет в «гуньку кабацкую». Таков же герой «Азбуки о голом и небогатом че-

ловеке». Он голоден. Он не признан родителями, изгнан от друзей, скитается «меж двор». Натуралистические подробности делают эту личность «низкой» и почти уродливой. Но замечательно, что, так приближая своего героя к читателю, автор делает его тем самым достойным жалости и утверждает его ценность. При этом оказывается, что у этого падшего героя не отнято главное — ум и самосознание. На самой низкой ступени падения он сохраняет чувство права на лучшее положение и сознает свое умственное превосходство. Он иронизирует над собой и окружающими, вступает с ними в конфликт. Этот конфликт тоже чисто бытовой.

Ирония становится средством самовыявления героя, но она же властно овладевает автором во всех случаях его отношения к действительности. Снижается не только герой, снижается сама действительность, язык, которым эта действительность описывается, отношение автора к своему произведению и пр.

Демократическая литература с ее сатирой и пародией в какой-то мере показательна для всей эпохи в целом. Родственные демократической литературе черты мы можем встретить и в «высокой» придворной литературе. Сатира проникает в придворную поэзию Симеона Полоцкого. Герой снижается не только в произведениях демократической литературы. Всюду в литературе устанавливается связь с бытом. Пародия и сатира знаменовали собой снижение литературы, литературного героя, действительности. Но развенчание действительности и героя было одновременно их увенчанием новыми ценностями, иногда более глубокими и более гуманистическими.

Но вернемся к пародии. Демократические писатели XVII века забавлялись созданием пародий на челобитные, судопроизводственный процесс, лечебники, азбуки, дорожники (дорожники — это своего рода путеводители), росписи о приданом и даже богослужение. Вместе с тем в литературу обильно входили разные «прохладные» (развлекательные) и «потешные» сюжеты, различные забавные повестушки и описания приключений героев.

Все эти внешне «несерьезные» сюжеты были очень «серьезны» по существу. Только серьезность их была особая и вопросы в них стали подниматься совсем иные — не те, которые волновали торжественную и помпезную политическую мысль предшествующего времени или проповедническую литературу церкви, а касались повседневной жизни мелких по своему положению людей. Серьезность вопросов, стоявших перед новой, демократической литературой XVII века, была связана с социальными проблемами своего времени. Авторы непритязательных демократических произведений XVII века начинали интересоваться вопросы социальной несправедливости, «безмерная» ни-

щета одних и незаслуженное богатство других, страдания маленьких людей, их «босота и нагота». Вопросы социальной справедливости затрагивались и в литературе XVI века, но там это были философские рассуждения сторонних наблюдателей. Сейчас об этом пишут сами «босые» и «голодные». Изложение идет от их лица, и они вовсе не думают скрывать свои недостатки.

Герой не витает в особом пространстве над читателем — пространство объединяет читателя и героя. Читатель чувствует свою близость к тому, что происходит в литературном произведении, а поэтому сочувствует маленьким людям с их часто маленькими же житейскими тревогами. Впервые в русской литературе грехи этих людей вызывали не осуждение, а симпатию, сочувствие, сострадание. Безвольное пьянство и азарт игры в «зернь» вызывали лишь сострадательную усмешку. Однако беззлобие в отношении одних оборачивалось величайшей злостью против других, которые «внидоша в труд» бедных, «черт знает на что деньги берегут» и не дают есть голым и босым.

Новый герой литературных произведений не занимает прочного и самостоятельного общественного положения: то это купеческий сын, отбившийся от занятий своих степенных родителей (Савва Грудцын и герой «Повести о Горе-Злочастии»), то спившийся монах, то помогающий места иерей и т. д. Отнюдь не случайно появление в литературных произведениях XVII века огромного числа неудачников или, напротив, героев, которым, что называется, «везет», — ловкачей вроде Фролки Скобеева или «благородных» искателей приключений вроде Еруслана Лазаревича. Эти люди становятся зятями бояр или купцов, легко женятся на царских дочерях, получают в приданое полкоролевства, переезжают из государства в государство, попадают к морским разбойникам или оказываются на необитаемом острове, чтобы быть счастливо вызволенными и оттуда. Оживают вновь сюжеты эллинистического романа. Образуется как бы переключка эпох. Фатальная неудачливость или фатальная, напротив, удачливость героев позволяет развивать сложные и занимательные сюжеты старого, эллинистического типа, но для XVII века совершенно нового характера.

Что же такое — эта фатальность в судьбе героя XVII века? Это явление новое и тесно связанное, как это ни странно, опять-таки с освобождением личности, с ее эмансипацией от опеки рода и корпорации.

В русской литературе предшествующих веков отразились по преимуществу представления о судьбе рода. Судьба владеет всем родом, к которому принадлежит герой, и представления об индивидуальной судьбе еще не развились. Судьба не была еще персонифицирована, не приобрела индивидуальных конту-

ров. Эти представления о родовой судьбе явны в летописи. Там князя избирают или изгоняют жители Новгорода, сообразуясь с его принадлежностью к определенной княжеской линии. Предполагается, что князь будет идти по пути своих дедов и отца, придерживаться их политической линии.

Эти представления о родовой политике и родовой судьбе служили средством художественного обобщения в «Слове о полку Игореве». «Слово» характеризует внуков по деду. Образ внуков воплощается в деде. Ольговичи характеризуются через их деда — Олега Гориславича, полоцкие князья всеславичи — через их родоначальника Всеслава Полоцкого. Именно поэтому Олегу и Всеславу уделяется в «Слове» так много внимания. Рассказы «Слова» об Олеге и Всеславе кажутся иногда современным исследователям историческими отступлениями, слабо оправданными вставками. На самом деле рассказы об Олеге и Всеславе — это характеристики ольговичей и всеславичей. Автор «Слова» прибегает к изображению потомков через рассказ об их родоначальниках, и при этом для изображения их фатальной «неприкаянности».

В последующие века судьбу героя определяет не только принадлежность его к определенной родовой линии, но и принадлежность его к определенной общественной корпорации. Герой ведет себя так, как должен вести себя в определенных обстоятельствах князь, монах, иерарх церкви, проповедник и т. д. «Литературный этикет» средневековья утверждает власть корпорации над личностью. Это обстоятельство очень важно для понимания самого духа средневекового этикета, повторяемости сюжетов, мотивов, средств изображения, известной косности литературного творчества, варьирующего и комбинирующего ограниченный набор художественных трафаретов.

В XVII веке с развитием индивидуализма судьба человека становится его личной судьбой, она «индивидуализируется». Судьба человека оказывается при этом как бы его вторым бытием и часто даже отделяется от самого человека, персонифицируется. Эта персонификация происходит тогда, когда внутренний конфликт в человеке — конфликт между страстью и разумом — достигает наивысшей силы. Конфликт между страстью и разумом часто оборачивается также конфликтом между человеческой личностью и его судьбой. Человек в какой-то мере начинает сопротивляться фатуму. Он сознает, что подвергается насилию, хочет изменить свою судьбу, жить иначе, лучше. Предшествующая литература не знает такого конфликта. Никто не борется против родовой судьбы, не вступает в конфликт с родовой традиционной политикой, с родом, с этикетом корпорации. Личность там растворена, она себя не осознает как противостоящую той среде, к которой принадлежит.

Только с появлением индивидуальной судьбы стал возможен и бунт личности против этой судьбы, стало возможным ощущать судьбу как насилие, как беду и горе. Вот почему судьба человека воспринимается теперь как его второе бытие и часто отделяется от самого человека, персонифицируется, приобретает почти человеческие черты. Судьба отнюдь не прирождена человеку, она появляется иногда в середине его жизненного пути, «привязывается» к человеку, преследует его. Она приходит к человеку извне, становится злым, враждебным началом, а иногда выступает в образе беса. В «Повести о Горе-Злочасти» Горе возникает перед молодым только на середине его жизненного пути. Оно сперва является ему в ночном кошмаре, как порождение его собственного воображения. Но затем внезапно, из-под камня, предстает перед ним наяву в момент, когда молодец, доведенный до отчаяния нищетой и голодом, пытается утопиться в реке. Судьба и смерть близки! Судьба-Горе требует от молодца поклониться себе до «сырой земли» и с этой минуты неотступно преследует его. Горе — и двойник молодца, и враг молодца, и его доброжелатель. Оно обладает необыкновенной «прилипчивостью» — наглой и ласковой, веселой и страшной одновременно. Уйти от Гора невозможно, как нельзя уйти от своей тени, но вместе с тем Горе-судьба — постороннее начало, избавиться от которого молодец стремится всю жизнь. Горе показано как существо, живущее своей особой жизнью, как привязчивая сила, в своем роде могущественная, которая «перемудрила» людей и «мудрые» и «досужае» молодца. Молодец борется с самим собой, но не может преодолеть собственного безволия и собственных страстей, и вот это ощущение ведомости чем-то посторонним, вопреки голосу разума, и порождает образ Гора. Избывть Горе, освободиться от беса можно только с помощью другого внешнего для человека начала — божественного вмешательства, и вот молодца избавляет от Гора монастырь, возвращение в лоно корпорации, отказ от личности.

Родовые муки эмансипирующегося личностного начала принимали разные формы. Еще более многозначителен в отношении своей сюжетной и идейной роли бес в «Повести о Савве Грудцыне». Бес также возникает перед Саввой внезапно, как бы вырастая из-под земли, тогда, когда Саввой полностью, вопреки рассудку и как бы извне, овладевает страсть и когда он окончательно перестает владеть собой. Савва носит в себе «великую скорбь», этой скорбью он «истончи плоть свою». Бес — порождение его собственного воображения и собственной страсти. Он является как раз в тот момент, когда Савва подумал: «...еже бы паки совокупитися мне с женою оною, аз бы послужил диаволу». Прилипчивость судьбы здесь получает свое материальное воплощение: Савву с его судьбой-бесом связывает «рукописа-

ние», письменное обещание отдать дьяволу душу. Возникает сюжет «Фауста», кстати вышедший из общих корней: старинная новогреческая, вернее раннехристианская Повесть об Елადии, продавшем дьяволу душу, породила и «Повесть о Савве Грудцыне» и через множество промежуточных звеньев — легенду о докторе Фаусте. Эллинистические сюжеты возрождаются на Руси в эпоху своеобразного русского Возрождения XVII века.

Злое и упорно сопротивляющееся начало становится постепенно началом более общим и более жестоким... Личность самоопределяется в борьбе, в утверждении своего благополучия, а потом в утверждении своих взглядов, своих идей, против идей господствующих, властвующих, гнетущих свободу личности с помощью государства, церкви, различного рода разжиревших и раздобревших «особей», лишенных, однако, личностного начала и цепляющихся только за свое положение. И с этой точки зрения борьба Аввакума с государством и церковью, с людьми благополучными и косными — это только новый этап борьбы за освобождение человеческой индивидуальности. Освободившись, сама эта личность грозит начать угнетать других. Но здесь «Житие» протопопа Аввакума стоит на грани новой трагедии — трагедии индивидуализма.

Как бы то ни было — Аввакум ведет индивидуальную борьбу. Его сторонники мало чем ему помогают в этой борьбе. Он вызвал против себя на единоборство все современное ему общество и государство. Он ведет титаническую борьбу один на один. Недаром во сне кажется ему, что тело его наполняет собой весь мир. Это борьба не только духовная, но и физическая, борьба силы с инерцией материи, сопротивление материальной среды в «Житии» Аввакума поразительно сильно. Ему приходится преодолевать холод и голод, окружающая его природа то грохочет над ним горами, то топит его дощаник бурными водами Иртыша, то наступает на него льдами и, наконец, засыпает его землей в Пустозерской тюрьме. Борьба Аввакума не только духовная — за духовную, умственную свободу личности, но и борьба физическая. В этой борьбе Аввакуму удается одолевать сопротивление самих законов природы, он совершает чудеса — чудеса особого склада, побеждающие косность материи. Эта борьба Аввакума носит действительно барочные формы. Но это особое барокко — барокко, ставшее на место Ренессанса... Но об этом ниже. Вернемся к вопросу о связи освобождения личности с появлением в литературе быта, снижением действительности и самой личности до уровня, на котором мог находиться рядовой читатель.

Итак, герои литературных произведений в процессе эмансипации личности «спускаются на землю», перестают ходить на

ходулях своего высокого общественного положения, описываются как обычные люди со своими повседневными заботами. Их все теснее окружает быт. Быт обступает действующих лиц, помогает авторам в создании все усложняющихся обстоятельств, в которые попадают герои литературных произведений, объясняет их мучения и служит той сценической площадкой, на которой разыгрываются перед читателем их страдания от окружающей несправедливости.

Быт проникает даже в чисто церковные произведения. Показательны два агиографических произведения, которым литературоведы не совсем точно присвоили название «повестей»: «Повесть о Марфе и Марии» и «Житие Иулиянии Осоргиной».

«Повесть о Марфе и Марии» в сюжетной своей основе — типичное сказание о перенесении святыни из Царьграда на Русь, но этот сюжет вставлен в раму бытовых отношений. Перед читателем проходят местные споры мужей обеих сестер, бытовая обстановка длинного путешествия, погони за чудесными старцами и т. п. Быт окружает и святую — Иулианию Осоргину. В лице Иулиянии церковной идеализации подвергся впервые средний человек, «бытовая личность», человек, не вознесенный над бытом, а погруженный в быт. Внешне Иулияния ничем не примечательная женщина: она родилась в семье служилого человека. Как и все женщины в те времена, она выходит замуж очень рано, в шестнадцать лет. Муж ее обычный служилый человек. Иулияния рождает ему детей, ведет все «домовое строение» с помощью многочисленной челяди. Ее окружает семья — муж, свекор, свекровь, дети. Ей не только не удается осуществить свое заветное желание постричься в монахини, но порой нет даже возможности посещать церковь... Идеализация ее образа идет своими путями, далекими от прежних житийных трафаретов. Она идеализируется в своих хозяйственных распоряжениях, в своих отношениях к слугам, которых она никогда не называла уменьшительными именами, не заставляла подавать себе воды для умывания рук или развязывать свои сапоги, а всегда была милостива и заботлива к ним, наказывая их «со смирением и кротостию».

Она идеализирована и в своих отношениях к родителям мужа, которым она кротко подчинялась. Она слушает и своего мужа, хотя он запрещает ей уйти в монастырь. Свекор и свекровь передали ей в конце концов все хозяйство, увидев ее «доброю исполнену и разумну». И это несмотря на то, что она потихоньку обманывала их, правда с благочестивыми намерениями. Не обходится в доме и без крупных конфликтов: один из слуг убивает ее старшего сына. Прядение и «пяличное дело» рассматривается в ее житии как подвиг благочестия. Ночная работа приравняется к ночной молитве: Иулияния «в пря-

дивом и в паличном деле прилежание велие имяше, и не угасаша свеща ея вся нощи».

Соединение идеализации с бытовыми подробностями придало идеализации особую художественную убедительность. Это был новый этап в развитии житийной литературы, особенно той ее части, которая распространилась в крестьянской среде на Севере. Жития эти удобнее всего называть «народными житиями» (ср. «народная книга» на Западе).

Народные жития мало следуют житийному этикету и главное внимание обращают на чудеса, которым придают бытовой и сказочный характер. К таким житиям относится, например, «Житие Варлаама Керетского» — святого, жившего в XVI веке, но почитание которого развилось в XVII. Святой этот «воспитание имел в Керецкой волости на море-окияне»¹.

О подвигах благочестия этого святого говорится довольно мало. Благочестие его мотивировано при этом не совсем обычно и, очевидно, так, как оно произошло в действительности. Варлаам из ревности убивает свою жену. Тело ее он берет с собой в карбас и молится о прощении. «И бе видети праведнаго труды единого по морю в карбасе ездяща с мертвым телом от Колы около Святаго Носа даже и до Керети. И не якоже протчии человецы ожидаху паруснаго плавания, но он плаваше против земнаго обуревания и весла из рук своих не выпускаше, но труждашеся велми и псалмы Давидовы пояше, то бо ему пища бяше». Сразу же совершаются первые чудеса. Он выводит у Святого Носа всех червей, которые точили карбасы поморских рыбаков. После его смерти ручей, появившийся из его могилы, тушит пожар в соседней церкви. Святой является после смерти и спасает рыбаков в Белом море. При этом, вопреки христианскому смирению, «объявляется» этим рыбакам и требует, чтобы они оповестили всех, что именно он спас их от бури.

Варлаам совершает чудеса в помощь рыбацкому труду, в помощь рыбакам «в рыбных ловитвах». Географические места чудес точно определены («у Шарапова наволока», «в Соностровах» и т. д.), описаны профессионально точно с мореходной точки зрения. При этом употребляется бытовая и мореходная терминология: «карбас», «отишье», «зыбь», «поносный (попутный) ветер», «тоня», «стоять в корме» (управлять ладьей), «пробегать остров», «путь чист», «бити дубцы» и т. д.

Несомненна близость к этого рода житиям — «Жития» протопопа Аввакума: та же точность, тот же детализированный быт, повседневность, те же народного характера чудеса в помощь человеку, то же бытовое просторечие и бытовая терминология. Разве что все это у Аввакума смелее, талантливее, ярче,

¹ Цит. по списку ГПБ, Соловецкое собрание, № 182, конца XVII в., по тексту, подготовленному и любезно сообщенному мне Л. А. Дмитриевым.

значительнее, да и сама жизнь освещена идейной борьбой, которой нет в народных житиях XVII века.

Рост бытового начала в литературных произведениях тесно связан с ростом изобразительности в литературе. Обозначение всегда отвлеченно и в какой-то степени возвышенно, изображение же всегда в известной мере снижает предмет литературы. Изображение делает предмет литературы конкретным и близким читателю. Вот почему в это же время появляется в литературе и пейзаж, пейзаж, статически описанный, пейзаж ценный сам по себе, тесно прикрепленный к определенной местности и имеющий национальный характер.

В XI—XIII веках отдельные, очень краткие картины природы (в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Слове на антипасху» Кирилла Туровского) имели своею целью раскрыть символическое значение тех или иных явлений природы, выявить скрытую в ней божественную мудрость, извлечь моральные уроки, которые природа может преподать человеку. Птицы летят весной из рая на уготованные им места, большие и малые, — так и русские князья должны довольствоваться своими княжениями, большими и малыми, и не искать больших. Так рассуждает на рубеже XI и XII веков Владимир Мономах. Весеннее пробуждение природы — символ весеннего праздника воскресения Христова, — так рассуждает в XII веке Кирилл Туровский. Вся природа, с точки зрения авторов природоведческих сочинений средневековья, лишь откровение божье, это книга, написанная перстом божьим, и в ней можно читать о чудесных делах всемогущего. Природа почти не имеет индивидуальных черт. Индивидуальность места не описывается. В ней нет и национальных черт. Природа имеет значение лишь постольку, поскольку она «божье творение» или влияет на развитие событий то засухой, то бурей или грозой, то морозом, мешает сражающимся дождем и т. д.

Однако постепенно, начиная с XII века и более интенсивно в XIV и в XV веках, в изображение природы и пейзажа вкрадываются новые черты: буря в природе вторит бурным излияниям человеческих страстей, тишина окружающей природы подчеркивает умиротворенное безмолвие пустытника. Пейзаж приобретает новое символическое значение: он уже символизирует не мудрость бога, а самые душевные состояния человека, как бы аккомпанирует им и подчеркивает их, создает в произведении настроение. Но уже в XVI веке мы найдем и более сложные отношения природы и человека. В «Казанской истории» описываются, например, страдания русского войска от жажды на фоне изумительного описания жаркой и безводной степи, по которой с трудом движется изможденное войско. Пейзаж не только фон — это «сценическая площадка», на которой разыгрыва-

ется действие. Пейзаж конкретизирует изображение событий. В XVII веке роль пейзажа еще более подымается, и здесь он приобретает конкретные, местные черты. Описание природы Сибири в сибирских летописях не может относиться ни к какой другой местности, кроме Сибири. Даурский пейзаж в «Житии» Аввакума есть именно даурский пейзаж, и вместе с тем это описание природы Даурии имеет уже все функции пейзажа, свойственного литературе нового времени. Он служит своеобразным обрамлением для душевных переживаний самого Аввакума, подчеркивает его смятенное состояние, титаничность его борьбы, его одиночество, создает эмоциональную атмосферу, пронизывающую рассказ, позволяет зрителю представить себе происходящее. Он служит изображению, и он все более приобретает индивидуальные черты, сопутствуя росту личностного начала в русской литературе XVII века.

Рост личностного начала в литературе XVII века сказался и в некоторой индивидуализации прямой речи действующих лиц. Процесс этот только-только начался, но он тем не менее уже очень значителен.

Древняя русская литература до XVII века обильно насыщена прямой речью героев. Герои произносят длинные речи, молитвы, обмениваются короткими обращениями друг к другу. Но при всем обилии прямой речи действующих лиц — речь эта не индивидуализирована. Прямая речь по большей части носит книжный характер. В речах действующих лиц дается мотивировка их поступков, изображается их душевное состояние, их мысли — при этом в предписываемых литературным этикетом формах. Между речами персонажей и изложением автора нет ни стилистических, ни языковых различий. Действующие лица говорят «гладко» и литературно. Поэтому до XVII века по большей части речь действующего лица — это речь автора за него. Автор — своего рода кукловод. Кукла лишена собственной жизни и собственного голоса. За нее говорит автор своим голосом, своим языком и привычным стилем. Автор как бы переизлагает то, что сказало или могло сказать действующее лицо. Персонажи еще не обрели своего собственного языка, своих только им присущих слов и выражений. Этим достигается своеобразный эффект немоты действующих лиц, несмотря на всю их внешнюю многоречивость. Литературное произведение — как бы пантомима, комментируемая авторским голосом. Даже во многих произведениях XVII века мы еще не слышим героев, а только читаем их речи. Так, например, при всей новизне и остроте образа молодца в «Повести о Горе-Злочасти» — это еще «немой» персонаж: как бы некоторая тень. Вместе с тем прямая речь не

выделена не только в своих индивидуальных особенностях, но и в своих профессиональных и социально-групповых разветвлениях и диалектных формах. Прямая речь до XVII века — это главным образом способ повествования, а не способ показа происходящего.

Все, что я только что сказал, — это, конечно, в какой-то мере неизбежная в кратком изложении схематизация. Внимательное изучение истории прямой речи покажет в будущем множественность ее функций и обилие исключений. Однако об одном исключении следует сказать уже сейчас. Прямая речь в летописях, особенно древнейших, отнюдь не лишена характерности для персонажей. Очень часто, даже чаще, чем обратное, — это речь именно действующих лиц, а не летописца. Этому есть конкретная причина: летописец очень близко передавал речи своих персонажей к действительно произнесенным. Речи в летописях документальны. Не все, конечно, но очень многие. Естественно, что эти речи сохраняют индивидуальные особенности тех, кто их произносит. Сознательно или несознательно сохраняет летописец индивидуальные особенности речи — это сказать пока еще трудно. Необходимы дальнейшие исследования. Одно можно сказать: по мере того как в литературе усиливается элемент художественного вымысла — речи действующих лиц не индивидуализируются, а, напротив, нивелируются, сливаются с речью автора. Такие нивелированные речи мы встретим в житиях святых, в хронографах и степенных книгах, где, как известно, вымысла больше, чем в летописях. Даже в первой половине XVII века в повестях о «Смуте», а в конце XVII века в «Повести о Савве Грудцыне» речь действующих лиц книжна и бесцветна. Действующие лица говорят, но не разговаривают. В их речах нет живых интонаций и нет индивидуальной манеры говорить. Попытка индивидуализации прямой речи в «Повести о Савве Грудцыне» сделана только для беса, но эта индивидуализация касается не речи самой по себе, а только манеры, в которой бес говорит Савве: то «ослабився», то «рассмеявся», то «возсмеявся», то «улыбаяся». В языковом же отношении речи беса, Саввы, Вазена Второго, его жены, главного сатаны и других не различаются между собой.

Прямая речь вводится часто как мотивировка действий или для раскрытия внутреннего состояния действующих лиц. При этом характерно, что мысли беса скрыты автором от читателя. Монологически выражаются лишь мысли Саввы: Савва постоянно «помышляше в себе», «он же помышляше, глаголя в себе», «и помыслив таковую мысль злую во уме своем, глаголя», «рад бысть, помышляя в себе» и т. д. Часто в форме прямой речи автор объявляет о решении действующего лица. После прямой речи автор прямо сообщает о случившемся или об исполнении

решения как о чем-то само собой разумеющемся. Сам по себе диалог в повести развит слабо, не выходит за пределы вопросов и ответов, предложений и согласий или отказов. Так или иначе, прямая речь в повести является лишь способом повествования, а не способом показа действия, события. Она объясняет мотивы поступков, но не характеризует действующих лиц.

Прежде чем индивидуализироваться, речь действующих лиц становится разговорной, живой. Она органически связывается с ростом в литературе бытовых элементов и со снижением сюжетов и персонажей. Вот почему живые интонации прежде всего проникают в демократическую литературу, в демократическую сатиру, в произведения, связанные с фольклорной стихией.

Индивидуализация прямой речи идет по мере того, как снижается речь самого автора, становится менее высокопарной и книжной. Разговорные элементы проникают в демократическую литературу второй половины XVII века в повествование и в прямую речь. Только с этой поры стала возможной и индивидуализация речи. Речь действующих лиц не может индивидуализироваться сама по себе, независимо от других процессов в языке и содержании литературы.

Живостью прямой речи отличается прежде всего «Повесть о Фроле Скобееве».

Прямая речь действующих лиц «Повести о Фроле Скобееве» еще слабо индивидуализирована, но тем не менее она уже резко отличается от авторской речи. В ней соблюдены живые интонации устной речи. Ср., например: «Пообожди малое время, я схожу к братцу своему...», «Поди, скажи той мамке...», «Ну, сестрица, пора тебе убираться и ехать в гости», «Принеси, сестрица, и мне девичей убор, уберуся и я...», «Полноте, девицы, веселится!», «Ну, мамушка, как твоя воля на все наши девичьи игры», «Изволь, госпожа Аннушка, быть ты невестою», «Настоящей ты плут! Что ты надо мною сделал?...», «Встань, плут! Знаю тебя давно, плута, ябедника, знатно, что наябедничил себе не сносно, скажи, плут, буде сносно, стану стараться о тебе, а когда не сносно, как хочешь. Я тебе, плуту, давно говорил: живи постоянно, встань скажи, что твоя вина?»; «Жена, жена! Что ты ведаешь, я нашел Аннушку!» И т. д.

Иногда действующие лица подают реплики только одним словом: «И столник Нардин Нащокин сказал: «Изрядно!»; «И Фрол Скобеев только говорит: «Отпусти!»

Особенно замечательно одно место повести о Фроле Скобееве, в котором речь действующего лица использована с неподражаемой, едва заметной иронией и тонким юмором. Когда Фрол Скобеев пал в ноги Нардину Нащокину перед всем народом у Успенского собора по отшествии литургии и молил его «Отпусти!»,

не называя своего имени, а Нардин Нащокин не мог его узнать и только «натуральною клюшкою» пытался поднять с земли, — столтник Ловчиков подошел к Нардину и сказал ему: «Лежит пред вами и просит отпущения вины своей дворенин Фрол Скобеев!» Юмор этой фразы показывает, что автор ясно отделяет речь Ловчикова от своей собственной.

Замечательно и то разнообразие, с которым вводится в повесть прямая речь действующих лиц: то Нащокин «закричал», то он «плачет и кричит», то стал «рассуждать з женою», то «приказал», то «спрашивает ево», то столтники «имели между собой разговоры», то Ловчиков «объявил» и т. д.

Может быть отмечено в «Повести о Фроле Скобееве» и искусное ведение диалога. Вот, например, диалог между Нардиным Нащокиным и его сестрой, из которого выясняется, что Аннушки нет у последней. Это самый острый момент в сюжете, и эффект неожиданности замечательно передан в этом диалоге. Нардин Нащокин сидит у сестры в монастыре. «Долгое время не видит дочери своей и спросил сестры своей: «Сестрица, что я не вижу Аннушки?» И сестра ему ответствовала: «Полно, братец, издиватся! что мне делать, когда я бесчастна моим прошением, к себе, просила ея прислать ко мне; знатно, что ты мне не изволишь верить, а мне время таково, нет, чтоб послать по нея». И столтник Нардин Нащокин сказал сестре своей: «Как, государыня сестрица, что ты изволишь говорить? Я о том не могу рассудить, для того что она отпущена к тебе уже тому месяц, для того что ты присылала по нея корету и с возниками, а я то время был в гостях и з женою, и по приказу нашему отпущена к тебе». И сестра ему сказала: «Никак, я, братец, возников и кореты не посылала никогда, Аннушка у меня не бывала». И столтник Нардин Нащокин весьма сожелел о дочери своей, горко плакал, что безвестно пропала дочь ево».

Живость изложению придает и непосредственное столкновение косвенной и прямой речи, внесение элементов прямой речи в косвенную, авторскую: «Та мамка сказала, что по приказу вашему отпущена к сестрице вашей в манастирь, для того что она прислала корету и возников».

Живые интонации и живая, разговорная лексика свойственны всем действующим лицам «Жития» протопопа Аввакума. Это произведение хорошо известно, и поэтому нет необходимости приводить примеры. Но вот на что следует обратить внимание. Речи действующих лиц сильно разнообразятся в зависимости от того, при каких обстоятельствах они произнесены. Сам Аввакум говорит по-разному в зависимости от того, молится ли он, проклинает ли никониан, «лает» ли своего мучителя Пашкова, взывает ли о помощи к богу, разговаривает ли со своими последователями. Речи разнообразны, но при этом все же слабо

индивидуализированы. Трудно отличить речи врагов Аввакума от речей самого Аввакума, и тем не менее в общей массе это различие есть. Речи Аввакума отличаются от речей его последователей и даже врагов большей «сниженностью», обилием бранных и просторечных выражений. Но это пока сделано не для того, чтобы подчеркнуть неумичивый характер Аввакума, а из авторской скромности: Аввакум унижает себя низкой речью, подчеркивает свою «грубость», необразованность, не книжность. Конечно, в этом есть уже доля речевой самохарактеристики.

Живая разговорная речь, казалось бы, должна была бы прежде всего отразиться в русской драматической литературе — уже в первых пьесах русского театра. Но этого не случилось. Мешала «высокая тематика» этих драм. Речи персонажей «Артаксерксова действия» не менее приподняты и искусственны, чем речи Хронографа. Только с появлением интермедий с их сниженной тематикой достижения демократической литературы в передаче разговорной речи стали достоянием театра.

Дальнейшая индивидуализация прямой речи, разделение ее по профессиональным и социальным признакам, индивидуально-характеристические черты речей отдельных лиц и пр. могли проявиться только с развитием чувства стиля и потребовали почти столетия для своего осуществления.

Эмансипация человеческой личности в литературе шла по многим линиям. Она была одновременно и эмансипацией сюжетного построения литературного произведения. Если раньше самостоятельность действия произведения была скована божественным вмешательством, божественной волей и действие совершалось в пределах известной борьбы добра и зла, то теперь повествование начинает развиваться по преимуществу по законам жизни и сюжетного построения.

Одно из самых замечательных произведений XVII века — «Повесть о Тверском Отроче монастыре» — позволяет проследить развитие повествовательного искусства. Повесть рассказывает о довольно обычной житейской драме: невеста отказывается своему жениху и выходит замуж за другого. Конфликт возрастает оттого, что оба героя повести: и бывший жених, и будущий супруг — связаны между собой дружбой и феодальными отношениями: первый слуга, «отрок» второго. Второй — его господин. Замечательную особенность повести составляет то, что она не строится на обычном для средневековых сюжетов конфликте добра со злом. Борьба злого начала с добрым, которая всегда почти являлась «двигателем сюжета» древнерусских произведений, вызывала потребность следить за его развитием, желать торжества добру над злом, — в сюжете «По-

вести о Тверском Отроче монастыре» отсутствует полностью. В повести нет ни злых персонажей, ни злого начала вообще. В ней отсутствует даже социальный конфликт: действие происходит как бы в идеальной стране, где существуют добрые отношения между князем и его подчиненными. Крестьяне, бояре и их жены строго выполняют указания князя, радуются его жеманству, с радостью встречают его молодую жену — простую крестьянку. И тем не менее конфликт налицо — конфликт острый, трагичный, заставляющий страдать всех действующих лиц повести, а одного из них, отрока Григория, уйти в леса и основать там монастырь. Это происходит потому, что впервые в русской литературе конфликт перенесен из сферы мировой борьбы зла с добром в самую суть человеческой природы. Двое любят одну и ту же героиню, и ни один из них не виноват в своем чувстве. Виновата ли Ксения в том, что предпочла одного другому? Конечно, и она ни в чем не виновата, но в оправдание ее автору пока еще все же приходится прибегать к типично средневековому приему: Ксения следует божественной воле. Она послушно выполняет то, что ей предначертано и чего она не может не сделать. Этим самым автор как бы освобождает ее от тяжести ответственности за принимаемые ею решения: она, в сущности, ничего не решает и вовсе не «изменяет» Григорию; она только следует явленному ей сверху. Разумеется, это вмешательство сверху ослабляет земной, чисто человеческий характер конфликта, но об этом вмешательстве рассказывается в повести в высшей степени тактично. Вмешательство судьбы не имеет церковного характера. И в этом новизна повести. Нигде не говорится о видениях Ксении, о ее вещих снах, слышанном ею голосе или о чем-либо подобном. У Ксении дар прозорливости, но эта прозорливость имеет не церковный, а вполне фольклорный характер. Она «знает» то, что должно совершиться, а почему знает — об этом читателю не сообщается. Она знает так, как знает будущее мудрый человек. Ксения — «мудрая дева», персонаж, хорошо известный в русском фольклоре и отразившийся в древнерусской литературе: вспомним деву Февронию в «Повести о Петре и Февронии Муромских» XV века.

Повествовательность представлена в «Повести о Тверском Отроче монастыре» в более развитом и усложненном виде. Автор ее нашел средства в самом сюжете для выражения своей всепримиряющей точки зрения. Конфликт повести вызван не наличием в мире добра и зла, но самой природой человека. Любовь к одной и той же героине ведет к трагическому разладу двух одинаково хороших, совсем идеальных людей: великого князя и его отрока. Любовь к Ксении двух юношей безраздельно господствует в повести и мотивирует их поступки. Она захватывает действующих лиц сразу, и вызывается она только красотой дочери

простого сельского пономаря. Перед этой красотой преклоняются все, и она всех примиряет с неравным браком князя: селян и горожан, слуг и бояр. Это черта нового времени. Необычайная судьба Ксении всячески подчеркнута в самом сюжете: своего согласия на брак с нею своего слуги не давал сам великий князь — истинный жених и «суженый» Ксении. Вещие сны князя, не имеющие, однако, характера церковных «видений», мудрое предвидение Ксении, сказочно-вещное поведение сокола князя увеличивают интерес повествования, интерес ожидания конца, подчеркивают необычайность совершающегося. Автор почти не интерпретирует событий от своего собственного имени. Оценка событий дана самими событиями — тем, как они развиваются и что случается с людьми.

Поступки действующих лиц определяются до женитьбы князя не расчетом, а чувствами всех троих. Чувство как двигающая сила сюжета, и при этом сила «благая», впервые входит в русское повествование в такой форме и с такой интенсивностью.

В результате сюжет «Повести о Тверском Отроче монастыре» собран и един, прост и мотивирован внутренне. Искусство повествования нашло новый источник логики повествования в самой природе человека. Сюжет развивается по своим законам и по законам жизни, а не по велениям церковной морали. Он тоже эмансипирован и «индивидуализирован». Чтобы понять, как и вследствие чего это происходит, обратим внимание на роль расширения среды, в которой развиваются «эмансипирующиеся» сюжеты.

Расширение социального круга, в котором происходило действие произведений, имело не меньшее значение для литературы, чем расширение социального круга читателей и авторов.

В русской средневековой литературе отчетливо выступает связь среды, в которой разворачивается действие произведения, с самым типом повествования. Вот, например, жития святых. В основном святые в Древней Руси были либо рядовыми монахами (основатели монастырей и подвижники этих монастырей), либо иерархами церкви (епископы, митрополиты), либо князьями-воинами и князьями-мучениками. Соответственно делились и типы агиографической литературы. Не только каждый из святых действовал согласно этикету своей среды, но и самый сюжет развивался согласно литературному этикету. Рассказчик-церемониймейстер вводил своего героя в событийный ряд, соответствующий занимаемому героем положению, и обставлял рассказ о нем этикетными формулами.

Следовательно, искусство повествования было ограничено рамками литературного этикета. Ограничения эти, впрочем, касались не всех сфер, а лишь наиболее официальных — тех, в

которых поведение действующих лиц подчинялось официальным церковным идеалам и официальным способам изображения. Там, где свобода творчества была мало подчинена этим требованиям, — повествование развивалось более свободно.

Рассказы о чудесах святого были гораздо реалистичнее самого жития — как клейма иконы реалистичнее изображения в среднике. В рассказах о чудесах внимание повествователя сосредоточивалось не столько на самом святом, сколько на тех, кто его окружал, кто был объектом его нравственного или сверхъестественного воздействия. Поэтому чудеса происходят в более разнообразной и часто в гораздо менее «официальной» среде: в купеческой, крестьянской, ремесленной и т. д. Действующие лица оказываются рядовыми людьми, они ведут себя свободнее, они важны не сами по себе, а как объект воздействия чудесной силы молитвы святого. Особенное значение имели те чудеса, в которых действие разворачивалось в купеческой среде. Эти чудеса дали постепенно особую жанровую разновидность повествовательной литературы Древней Руси — повести о купцах.

Повести о купцах в какой-то мере продолжают эллинистический роман, приемы и сюжеты которого проникли к нам через многие переводные жития — типа «Жития Евстафия и Плакиды». Эти жития-романы были распространены на Руси в Четьих-Минеях, прологах и патериках. Так же как жития-романы, повести о купцах рассказывают об опасных путешествиях, во время которых происходят всяческие приключения героев: главным образом кораблекрушения и нападения разбойников. В повестях о купцах обычны испытания верности жены во время долгого отсутствия мужа, кражи детей, потом неузнанных или узнанных, предсказания и их исполнения. Важно, что повествование о купцах не подчиняется в такой мере этикету, как повествование о героях более «официальных» — церковных деятелях или военных. «Чудесный» элемент повествования получает в повестях о купцах иное значение и имеет иной характер, чем в агиографической литературе. В агиографической литературе чудо — вмешательство бога, восстанавливающего справедливость, спасающего праведника, наказывающего провинившегося. В литературе о купцах «чудесный» элемент часто — чародейство. Это чародейство иногда не может осуществиться, а иногда сводится на нет усилиями героя или вмешательством божественной силы. «Чудесный» элемент — это и вмешательство дьявола, злой силы, тогда как в житиях ему противостоит вмешательство бога. Вмешательство бога в житиях уравнивает, восстанавливает справедливость, сводит концы с концами. Чародейство, волхование и пр. в купеческих повестях, наоборот, завязка действия.

Но расширение социальной сферы действия литературных

произведений не ограничивается купцами. Действие перебрасывается в сферу низшего и при этом также не отличающегося святостью поведения мелкого духовенства — белого и черного («Стих о жизни патриарших певчих»), кабацких ярыжек, кабацких завсегдатаев, мелких судебных служащих, крестьян и т. д. Это расширение сферы действия снижало изображение и изображаемое, повышало изобразительность литературного изложения, вводило в литературу новые сюжеты, усложняло интригу и т. д. Расширение социального круга действующих лиц идет все время параллельно с расширением круга «возможностей» литературы: в области сюжетов, мотивов, изобразительных средств и т. д.

Что такое барокко в России XVII века? Литературное направление или «стиль эпохи»? В свое время я писал о барокко — и как о литературном направлении, и как о стиле эпохи. В этом нет противоречия.

Стиль эпохи развивается в те периоды, когда художественное творчество, наука и религия недостаточно дифференцированы. Художественность пронизывает собой все стороны культуры. Эстетические импульсы проникают в представления о мироустройстве, оформляют религиозную концепцию. Даже удобства быта приносятся в жертву художественности. Все социальные установления подчиняются развитой церемониальности, символической этикету, согласующимся с эстетическими идеалами эпохи. Таково средневековье — особенно раннее, эпоха господства могущественнейшего стиля эпохи — романского (стиль этот называется еще «романеск», а в Англии «норманнским»; для Византии, южных славян и Руси он не имеет названия).

Романский стиль захватывает собой не только зодчество, с ним согласуются эстетические нормы в изобразительных и прикладных искусствах, в словесном искусстве, в музыке. Ему подчиняется стиль политической мысли, стиль науки, стиль церемониальности.

Столь же широки Ренессанс и отчасти барокко. Однако по мере дифференциации человеческого творчества сфера действия стиля становится все уже. Думаю, что барокко не захватывает собой науку, оно менее определено, чем стиль романский, выражено в политической мысли и в быту.

Классицизм захватывает собой только зодчество, изобразительные искусства, музыку, искусства прикладные, садово-парковое искусство.

Романтизм еще уже. Ему слабо подчиняется зодчество, хотя он еще могуществен в литературе, музыке, живописи, балете.

Реализм — это стиль литературы (и прозы по преимуществу)

и изобразительных искусств, но он уже менее ярко представлен в музыке, с ним не согласуется балет. Его нет и в архитектуре.

Дальше идут только направления в литературе, живописи, зодчестве¹. Это неизбежное следствие роста человеческой культуры — процесс ее дифференциации.

В Древней Руси до XVII века не было литературных направлений. Литература подчинялась стилю эпохи. Для авторов литературных произведений не было выбора между тем или иным направлением в искусстве. Искусство, наука, религия, быт в своем стилистическом выражении были едины. Литература разнообразилась в выражаемых ею идеях резче, чем в новое время, более отчетливо проходили границы литературных жанров, но «знаковая система» искусства была общей. XVII век — это век решительного углубления процесса дифференциации во всех областях культуры. Литература дифференцируется по классовому признаку. Появляется новая, отсутствовавшая до того народная литература — литература демократических слоев населения; создается литература придворная. Резкое разграничение возникает между светской частью литературы и церковной, между научной и художественной.

Барокко явилось на Руси со стороны, из Польши, Украины, Белоруссии. На Руси оно стало иметь другое значение, чем в Западной и Центральной Европе. Оно выполняло в XVII веке в России роль Ренессанса².

Это парадоксальное положение коренным образом изменило характер стиля.

¹ Три категории стилей в зависимости от широты их распространения в различных искусствах устанавливает Тибор Кланйцаи в своей интересной статье: *Klanizay T. Styles et histoire du style. Littérature hongroise — littérature européenne. — Etudes de littérature comparée, publiées par l'Académie des sciences de Hongrie à l'occasion du IV^e Congrès de l'A. J. L. C. Budapest, 1964, p. 22—23.*

² В своем ответе на вопрос: «Была ли так называемая «литература барокко» в славянских странах?» — И. П. Еремин писал: «Восточнославянские литературы — и в этом их своеобразие — эпохи Возрождения не переживали. К барокко они пришли, минуя Возрождение, непосредственно от средневековья» (Сборник ответов на вопросы по литературоведению. IV. Международный съезд славистов. М., 1958, с. 84). Однако И. П. Еремин не сделал из этого соответствующих выводов для определения роли, значения и характера русского барокко. В своей интересной статье «Проблема барокко в русской литературе XVII—начала XVIII века» А. А. Морозов писал в связи с утверждением И. Н. Голенищева-Кутузова, что в XVII в. у славян «обнаружится (в результате будущих исследований. — Д. Л.) наследие Возрождения, может быть, гораздо более значительное, чем в ту же эпоху на Западе». «Это предположение вполне оправданно, если принять во внимание сложные условия рецепции Ренессанса, в особенности у восточных славян, где барокко как бы приняло на себя функцию Ренессанса, облекая в свои формы его запоздалые проявления». Это драгоценное замечание о барокко у восточных славян не было, однако, достаточно развито А. А. Морозовым (см.: Морозов А. А. Проблема барокко в русской литературе XVII—начала XVIII века. — Русская литература, 1962, № 3, с. 17).

Барокко в его незаимствованных формах — там, где оно выступает в творчески переработанном на Руси виде, — не переламинает человеческой природы, не пугает контрастами и нечеловеческими усилиями, не сгибает и не перегибает крупные массы: оно жизнеутвердительно и декоративно, стремится к украшениям и пестроте. Не случайно так называемое нарышкинское барокко в архитектуре так ярко в цветовом отношении, так охотно использует контрастную окраску, наружную позолоту, затейливые формы.

Наиболее ранний образец барокко в живописи России — росписи церкви Троицы в Никитниках (Москва, 1652—1653 гг.). Этот великолепный памятник необыкновенной сохранности и эстетической привлекательности, несомненно, принадлежит к барокко, но барокко росписи в Никитниках жизнеутвердительно и декоративно. Сцены ужасов смягчены. Композиция Страшного суда с западной стены центрального помещения перенесена в притвор. Излюбленная идея барокко — *vanitas* (суетность мира сего) и *discordia concors* (объединение неожиданностей) отсутствуют.

Литературное барокко сказалось по преимуществу в литературе верхов феодального общества — в поэзии Симеона Полоцкого, Кариона Истомина, Сильвестра Медведева, Андрея Белобокского и других, в театре, в официальной историографии, в переводной литературе и т. д. Барокко неравномерно захватило собой литературу, позволяя авторам делать выбор: примыкать или не примыкать к нему. Барокко в России было поэтому не столько «стилем эпохи», а в полном смысле этого слова направлением, одним из течений в литературе, в архитектуре, в живописи.

Чем характеризуется это первое направление русской литературы? Барокко служило эмансипации человеческой личности, секуляризации литературы. Оно развивало веру в человеческий разум, в науку, впервые после средневековья создавало в России представления о социальном прогрессе и вызывало надежды на реформы в государственной и социальной жизни. В этом отношении не случайно его появление накануне петровских реформ. Поскольку барокко в России приняло на себя функции Ренессанса, оно тесно связано с просветительством. Сборники стихов Симеона Полоцкого напоминают собой энциклопедические словари. Темы его стихов и самые общие — «купечество», «неблагодарствие», любовь к подданным, славолюбие, закон, труд, воздержание, согласие и т. д., и конкретные — различные звери, гады, рыбы, птицы, деревья, травы, драгоценные камни и пр. Трактуются в стихах Симеона Полоцкого и отдельные исторические личности, исторические события, описываются дворцы, церкви и пр. Стихи сообщают сведения и учат мора-

ли. Это поэзия «педагогическая». Искусство лишь стилистически организует сообщаемые сведения. Оно превращает стихи в орнамент, пестрый, веселый и занимательный. Орнаментальность достигает пределов возможного. Изображение дробится и мельчится. Сюжет построен замысловато. В целом орнамент барокко динамичен, но без свойственного западному барокко борения масс. Орнамент курчавится по поверхности, не столько выражает существо предмета, сколько украшает его. Литературные сюжеты многопредметны. Сами стихи строятся в виде орнамента или простых фигур: креста, ромба, орла, звезды и пр. Стихи напоминают строгановские или царские письма в иконописи — та же орнаментальность, та же «мелкопись», та же «драгоценность» и украшенность. Содержание в значительной мере заслонено драгоценным окладом формы.

Ужасы барокко дошли до России лишь в заимствованных и переводных формах и произведениях. Русское барокко, там, где оно действительно русское, а не переводное, — человечно, а не сверхчеловечно.

Венгерский ученый А. Андьял связывает с барокко творчество Аввакума¹. Вслед за ним объявляет Аввакума барочным писателем и А. А. Морозов². В Аввакуме действительно есть барочные черты. Но насколько аввакумовское барокко человечнее барокко западноевропейского! А. Андьял и А. А. Морозов подчеркивают ужасы и мучения, изображенные в «Житии» Аввакума. Но на изображении ужасов сосредоточивалась в той или иной мере вся русская средневековая литература. Их можно найти в Хронографе и в житиях святых.

Новое в «Житии» Аввакума — это не столько ужасы, сколько человеческий быт, человеческие чувства, умение войти в психологию другого человека — даже врага. Новое в «Житии» — это курочка, несшая Аввакуму по два яйца в день, это щи, которые приносил ему похлевать ангел в тюрьму Андроникова монастыря, это рыба, которую давал бог в сети Аввакуму, и т. п.

В самих мучительствах Аввакум находил смягчающие их черты, а в мучителях — человеческие свойства. Рассказывая об ужасах своей жизни (а они ведь действительно были и не придуманы для стилистической выдержанности), Аввакум всячески смягчает их: «И смех с ним и горе». Не устрашает его и бесовская «игра».

Аввакум всячески подчеркивает, что ему не страшно, когда раскрывается верхняя доска на гробе или саван на мертвеце шевелится, «устрашая» его. Аввакум, помолясь, осеняет мертвеца,

¹ Angyal A. Die slavische Barockwelt. Leipzig, 1961, S. 61—64 и др.

² Морозов А. А. Проблема барокко в русской литературе XVII—начала XVIII века, с. 29 и след.

«и бысть по-прежнему все». С верою да с молитвою ничего не страшно. Даже когда бес стал бить Аввакума, то и боли он на себе не чувствует: «бьет, а ничто не болит». Аввакум не устрашает читателя, а, наоборот, хочет внушить ему уверенность: с богом да с правотою верою нет в жизни ничего страшного. Есть в жизни только один страх — страх божий. И все же так даже бог не страшен. «Татарский бог Магмет, — пишет Аввакум, — написал во своих книгах сице: «непокаряющихся нашему преданию и закону повелеваем главы их мечем подклонити». А наш Христос ученикам своим никогда так не повелел». О своих мучителях Аввакум говорит: «Я своево мучения на них не спрашиваю, ни в будущий век. Молитися мне подобает о них, о живых и о представльшихся». Мучителей он называет «бедными», «горюнами», жалеет их, считает глупыми, ничтожными, невежественными. Даже своего главного мучителя в Даурской земле — Пашкова — он описывает не без симпатии. Железы, наложенные на правоверных, рассыпаются; битье не больно; урезывание языка ни к чему не приводит — языки отрастают вновь.

И юмор Аввакума — не барочный, не стремится к гротеску. Юмор Аввакума как бы слегка светится и как бы согревает воспоминания. Припоминается ему, как валились друг на друга его люди, совсем как в комической сцене какого-нибудь скоморошьего или кукольного представления: «Страна варварская, иноземцы немирные; отстать от лошадей не смеем, а за лошадьми итти не поспеем, голодные и томные люди. Протопопица бедная бредет-бредет, да и повалится, — кольско гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человек на нея набрел, тут же и повалился; оба кричат, а встать не могут. Мужик кричит: «матушка-государыня, прости!» А протопопица кричит: «что ты, батько, меня задавил?» Если все это в «Житии» Аввакума барокко, то барокко это тесно примыкает к реалистичности.

В барокко участвовали разные силы, среди них были и такие, которые тянули к быту и к человеку. Они-то и оказались сродни тому «ренессансному барокко», которое было характерно для России.

А чем, собственно, были представлены барочные элементы в русской живописи: иностранных живописцев, приглашенных в Оружейную палату, заставляли прежде всего писать портреты, а русских — украшать, декорировать, орнаментировать, создавать произведения, радующие глаз, интригующие воображение, заставляющие удивляться, искать разгадки мастерства.

Рост личностного начала во всех сферах литературного творчества, развитие изобразительности, эмансипация вымысла,

появление первого литературного направления, расширение круга читателей, появление народной литературы, рост национальных черт в литературе — все это было симптомом зарождения новой литературной системы — системы, отошедшей от средневекового типа.

XVII век был веком необычайной пестроты литературных жанров. Наряду со средневековыми жанрами, основанными на принципах их употребления в церковном, государственном и частном обиходе (жанры средневековой литературы в той или иной мере имели «деловую» предназначенность), возникают новые жанры, предназначенные только для частного чтения. Те и другие существуют одновременно. Так, например, наряду с подлинными дипломатическими посланиями появляются послания «подложные», вымышленные, предназначенные для чтения только¹. Создается, например, занимательная переписка Ивана Грозного с турецким султаном. Наряду с подлинными дипломатическими отчетами русских послов — так называемыми «статейными списками» — создаются вымышленные статейные списки — Сугорского и Ищеина. Деловые документы все чаще составляются в расчете на их прочтение многими читателями. Возникают пародии на деловые документы, на судебные процессы («Повесть о Ерше Ершовиче», «Повесть о Шемякином суде»), на богослужение («Служба кабаку»), на путники и дорожники, даже на лечебники («Лечебник на иноземцев»). Возникает сатира и сатирические жанры. Появляется систематическое стихотворство и многочисленные стихотворные жанры. Зарождается театр и драматургия с ее особыми жанрами. Фольклор осознается как особый вид словесного творчества и начинает записываться. Вместе с тем возникают первые книжные подражания фольклору и его жанрам: песни, записанные для Ричарда Джемса, лирические песни Квашнина-Самарина, «Повесть о Горе-Злочастии». Разнообразятся исторические жанры, которые все больше и больше входят в развлекательное чтение. Появляются историко-фантастические повести вроде «Сказания о начале Москвы», летописи приобретают характер связного исторического повествования, не только рассказывающего об истории той или иной области (например, Сибири), города, исторического лица, но и осмысляющего эту историю, преподнося-

¹ См. ст. М. Д. Каган: «Повесть о двух посольствах» — легендарно-политическое произведение начала XVII века. — ТОДРЛ. М. — Л., 1955, т. 11; она же Легендарная переписка Ивана IV с турецким султаном как литературный памятник первой четверти XVII в. — ТОДРЛ. М. — Л., 1957, т. 13; она же Русская версия 70-х годов XVII в. переписки запорожских казаков с турецким султаном. — ТОДРЛ. М. — Л., 1958, т. 14; она же Легендарный цикл грамот турецкого султана к европейским государям — публицистическое произведение второй половины XVII в. — ТОДРЛ. М. — Л., 1958, т. 15.

щего ее в литературно украшенной форме. Возникают плутовские повести (повесть о «плуте» Фролке Скобееве), приключенческие повести. Все богаче становится литература легенд. Возникает мемуарная литература.

Никогда еще ни до XVII века, ни после русская литература не была столь пестра в жанровом отношении. Здесь столкнулись две литературные системы: одна отмиравшая, средневековая, другая зарождающаяся — нового времени.

В спорах об искусстве (сочинениях Симона Ушакова, Иосифа Владимирова, Аввакума) зарождалась эстетическая критика, но не было еще периодики, столь необходимой для развития литературы нового типа. Переводная литература еще не захватывает собой первоклассных произведений современной литературы Западной Европы. Секуляризация литературы не была еще полной.

Из двух борющихся и смешивающихся литературных систем литературная система нового времени не одержала еще в XVII веке полной победы.

Те историки древней русской литературы, которые когда-то видели в новом периоде русской литературы только результат ее петровской «европеизации», механического приобщения к ценностям европейского литературного опыта через петровское «окно в Европу», рассекали единое развитие русской литературы. Они, с одной стороны, механически пресекали развитие русской литературы, считали его искусственно, внешне прекращенным, а с другой стороны, готовы были счесть, что новая русская литература возникла в результате усвоения западноевропейского опыта на бесплодной почве, как источник, высеченный из скалы. Эти представления были, конечно, связаны с крайним преувеличением роли Петра в русской исторической науке, с отрицанием непрерывности национальных традиций и предположениями, что литература может возникнуть только из одного опыта иностранной литературы, не будучи к тому подготовлена внутринациональным развитием.

Как мы видели, в течение всего XVII века совершался длительный процесс перехода от средневековых художественных методов в литературе к художественным методам литературы нового времени, от средневековой структуры литературных жанров к структуре жанров нового типа, от средневековой корпоративности к индивидуализированному творчеству нового времени. Именно этот переход подготовил возможность приобщения русской литературы к опыту передовой литературы Западной Европы, ее «европеизации», но вместе с тем этот же переход к новой системе литературы уже сам по себе был ее «ев-

ропеизацией». Литературная система нового времени была подготовлена в России до восприятия литературой передового западноевропейского опыта — еще в XVII веке. Форма в данном случае пришла до содержания. Новое вино было влито в новые мехи, как бы специально для этого сшитые. Не случайно В. И. Ленин относил к XVII веку начало «нового периода русской истории»¹.

Древняя русская литература и новая русская литература — не две разные литературы — одна внезапно прервавшаяся, а другая внезапно начавшаяся, а единая литература, но с опозданием совершившая переход от средневековой литературной системы к литературной системе нового времени, а поэтому вынужденная на ходу перестраивать и восстанавливать свои связи с передовой литературой Западной Европы.

В силу своего средневекового типа русская литература в XV—XVII веках ограничивала свои европейские связи только теми европейскими литературами, которые сохраняли тот же средневековый тип литературной системы, или ограничивали свои переводы только теми произведениями западноевропейских литератур, которые были у себя на родине уже далеко не новыми и не передовыми. Когда же в XVII веке переход к новому периоду русской истории совершился и литература древнерусская перестала быть средневековой по всему своему строю — стал возможным и интенсивный процесс усвоения опыта лучшей западноевропейской литературы: литературы личностной, создаваемой гениальными писателями.

В так называемую Петровскую эпоху, занятую ускоренным развитием экономики и государственности, было «не до литературы». Петровская эпоха представляет собой в известной мере перерыв в развитии русской литературы, но со второй трети XVIII века усвоение опыта передовых западноевропейских литератур начинает совершаться интенсивно, и именно с этого периода можно считать окончательно утвердившимся новый период русской литературы.

Система жанров средневековой литературы в XVIII веке не отмерла. Она продолжала существовать в церковной, старообрядческой среде и среде крестьянства и простого городского люда. Продолжали читаться и составляться жития, возникали новые редакции старых, известных житий. Переписывались старые сборники, составлялись даже летописные заметки, усиленно читались и такие памятники, как Пролог, Четьи-Минеи (особенно в редакции Дмитрия Ростовского), степенные книги, «Казанская история» и т. п.

По количеству списков средневековых русских произведений

¹ Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 1, с. 153.

XVII век не уступает предшествующим векам. И дело здесь не только в простой их сохранности. Сохраняется и европейское значение средневековой русской литературы для Молдавии, Валахии, Болгарии, Сербии, куда продолжают вывозиться русские рукописи и печатные издания. И тем не менее средневековая русская литература утратила свое значение в литературном развитии России. Средневековая литературная система отступила на второй план. Первый план занят теперь новой литературной системой, системой жанров, соответствующей западноевропейской. Появляется литературная периодика, в литературу входит новый способ распространения произведений — с помощью печатного станка. Литература получает новое культурное «окружение» и поддержку: в театре, критике, журналистике, в новой науке и новой философии.

Литературная система русского XVIII века ничем уже не отличается от литературной системы передовых западноевропейских стран. И это сделало возможным усвоение опыта всех европейских литератур, а не только тех, которые принадлежали к средневековому типу. Образование новой литературной системы не было простым результатом Петровских реформ. Эта система издавна подготавливалась в русской литературе, и ее появление не явилось неожиданностью.

XVII век — это мост между древним и новым периодом русской литературы, перейдя через который русская литература могла считать себя уже в новом периоде. Значение этого века в истории русской культуры приближается к значению эпохи Возрождения в истории культуры Западной Европы.

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

Развитие культуры не есть только движение вперед, простое «перемещение в пространстве» — переход ее на новые, вынесенные вперед позиции. Развитие культуры — это прежде всего накопление духовных ценностей, отбор в мировом масштабе всего лучшего, что было создано человечеством.

Культурные ценности не знают старения. В духовном развитии нашей социалистической современности принимает участие все наиболее значительное, что создано в других странах и у других народов в прошлом и настоящем, но главным образом, конечно, — в собственной стране. Собственное культурное прошлое особенно органично входит в настоящее.

Лучшие деятели культуры прошлого — наши современники и наши соратники. Разве не современник и не активнейший участник нашей культурной жизни Пушкин, или автор «Слова о полку Игореве», или Белинский, или Лев Толстой?..

Формы, в которых культура прошлого участвует в культуре современности, очень разнообразны. Причем не только первая влияет на вторую, вливается в нее, участвует в «культурном строительстве», но и современность, в свою очередь, «влияет» на формирование нашего понимания прошлого.

Между культурами прошлого и современности существует своеобразная обратная связь. Время создает все новые углы зрения, постоянно позволяет по-новому взглянуть на старое, открыть в нем нечто, ранее не замечавшееся. Чем выше и значительнее идеи современности, тем они больше способны помочь современникам увидеть и понять непреходящие ценности прошлого.

Изучение художественных памятников никогда не может

завершиться, замереть, оно бесконечно и потому позволяет бесконечно углубляться в богатства культуры. Современное всегда постоянно обогащает прошлое, позволяет глубже в него проникнуть. Мы сейчас лучше понимаем Пушкина, Радищева, Достоевского... Преимущественно за последние годы выросло наше понимание античности, Византии, искусства барокко, средневековой музыки, африканской культуры и особенно культур народов СССР.

В истории культуры постоянно наблюдается одно любопытное и очень важное явление — своего рода «астрономическое противостояние» культур — старой, авторитетной, с одной стороны, и молодой, ощущающей либо свое превосходство над старой, либо свою недостаточность — с другой. Обе культуры — древняя и новая — при этом вступают между собой в своеобразный диалог. Новая культура очень часто развивается в этих сопоставлениях со старой. Так, в европейских культурах очень многих эпох огромное значение имела культура античности, по-разному понимаемая и по-разному же воспринимаемая. Главное такое «противостояние» совершилось в эпоху Ренессанса. Новая европейская культура оказалась в этот период, как некое небесное тело, на наиболее коротком расстоянии от античности. Это позволило европейской культуре лучше познать античность и многое усвоить из старого, классического наследия.

История русской культуры XVIII—XX столетий — это постоянный и чрезвычайно интересный диалог современности с Древней Русью, диалог иногда далеко не мирный. В ходе этого диалога культура Древней Руси как бы росла, становилась все значительнее. Древняя Русь приобретала все большее значение благодаря тому, что росла культура новой России, для которой она становилась все нужнее. Необходимость культуры Древней Руси вырастала вместе с ростом мирового значения новой отечественной культуры.

Противопоставление старой, традиционной культуры новой началось еще в XVII веке, до Петра и его реформ. Оно выразилось в обращениях к польской и голландской эстетической культуре, в приглашениях голландских мастеров «перспективного письма» и парсуного дела, в новых эстетических принципах и в живописи, и в архитектуре, и даже в новых принципах церковности. Глава и идеолог русского раскола протопоп Аввакум, будучи знатоком культуры и ярким писателем своего времени, живо подхватил этот вызов, брошенный старой традиционной культуре, хотя и не заметил всех сфер, к которым этот вызов был обращен. Петр I не был первым, кто поднял спор новой России со старой Русью. Но Петр всячески пытался этот спор сделать демонстративным. Он стремился не только к тому, чтобы

расширить разрыв между Россией и Русью, но и утвердить в сознании современников глубину совершающегося переворота.

Петр упорно стремился изменить всю «знаковую систему»: изобретение нового русского знамени (перевернутого голландского флага), перенос столицы, название ее по-голландски — Санкт-Питербурхом, создание новых и, кстати, неудобных в русском климате мундиров войска, насильственное изменение облика высших классов, их одежды, обычаев, внесение в язык иностранной терминологии для всей системы государственной и социальной жизни, изменение стиля общественных увеселений. Все это облекалось в демонстративные формы. Петр сам заботился о создании своего нового образа царя. Вместо малоподвижного и церемониально недоступного государя вся Русь с его торжественными титулованиями и пышным образом жизни Петр творил образ царя-труженика, царя-плотника, царя — простого бомбардира, царя — учителя и ученика, просветителя, исследователя.

Однако многие из идей Петра зрели еще в царских хоромаш Алексея Михайловича. Петр получил свое воспитание в XVII веке, он был типичным «человеком барокко». Петр преобразовывал то, что в силу внутренних закономерностей всего длительного предшествующего развития Руси нуждалось в преобразованиях. Его реформы и ломки всего старого были теми грозowymi разрядами, энергия которых копилась в течение длительного времени. В иных случаях государственный корабль, управляемый Петром, шел галсами под косым углом к ветру истории, но он все же набирал силу от этого ветра — и ни от какого иного.

В свете быстрых и «гневных» петровских реформ Древняя Русь стала по контрасту казаться малоподвижной и косной. Так как реформы не коснулись крестьян и купечества, то быт Древней Руси стал представляться в облики того, что оставалось от нее нетронутым, — крестьянско-купеческим, своего рода «Замоскворечьем» русской культуры, и «Замоскворечьем» по преимуществу XVII века — последнего века Древней Руси. В формах этого века постоянно изображалась вся Русь от X до XVII века: в высоких шапках и неудобных долгополых одеждах, с затворничеством для женщин и с нелепым местничеством для мужчин на пирах и приемах, с недоверием ко всему иностранному и домостроевскими нравами в семейном быту...

Так представляли себе Древнюю Русь в течение всего XVIII и XIX веков и славянофилы, и так называемые западники. Одни только в положительном аспекте, другие в отрицательном, но и те и другие, в сущности, сходно. Основа и того и другого направления была заложена Н. М. Карамзиным в «Записке о древней и

новой России», этом выдающемся произведении русской исторической мысли начала XIX века.

Диалог с древней русской культурой в XIX веке приобрел сложную и... ложную форму: в нем была изрядная доля непонимания Древней Руси, непонимания — и у тех, кто назывались славянофилами, и у их противников.

Русские художники, архитекторы, писатели и просто культурные люди XIX века, ездившие за границу, чтобы приобщиться к эстетическим ценностям западноевропейского средневековья, десятилетиями не замечали у себя на родине те древнерусские памятники зодчества, живописи, прикладного искусства, которыми восхищаемся сейчас мы и которые кажутся нам такими несомненными в своей красоте.

Мимо этой «своей красоты» проходили Тургенев, Чехов, Толстой и многие другие. Чехов жил в Звенигороде, жил на Истре, но ни разу не упомянул в своих письмах о тех памятниках древнерусского зодчества, которые его окружали. Достоевский восхищался красотой церкви Успения на Покровке (той самой, которой восхищался и Наполеон, приставив к ней особый караул во время пожара Москвы), но никак не определил — в чем же эта красота состоит.

Кто же открыл древнерусское зодчество для современников? Во второй половине XIX века целый ряд архитекторов вносил элементы старомосковской архитектуры в свои безвкусные строения: Ропет (Петров), Парланд и другие. Они создали мрачный и тяжелый стиль, желая угодить националистическим вкусам своих заказчиков, а заказчикам хотелось увидеть в Древней Руси то, чего в ней было как раз очень мало: великодержавную помпезность. И уже одно это отзывало фальшью. Неудивительно, что эти попытки архитекторов резко отталкивали эстетически тонких людей от Древней Руси, а вовсе не привлекали к ней.

В одной из статей я уже подробно писал о том, что древнерусская архитектура — это огромный и чрезвычайно разнообразный мир. Памятники архитектуры прошлого объединяет их удивительно человеческий и даже интимный характер. Украсить строением высокий холм, крутой берег реки на ее изгибе, низкий берег лесного озера, повторить свой облик в зеркальной поверхности воды, радостно возвыситься над рядовой застройкой или завершить уличную перспективу — в этом нет, казалось бы, ничего необычного для любой национальной архитектуры. Однако делалось это в Древней Руси с какой-то особой легкостью и беззаботностью, «просто так». Слово бабушка дарит игрушку любимому внуку: поярче раскрасила и поставила повиднее. Смотри — любуйся! Так выглядят и новгородские церкви и церквушки XVII века, да и целые ансамбли, особенно кремли, не пред-

назначавшиеся для войны, — как Ростовский или Вологодский.

Излюбленным материалом русской народной архитектуры было всегда дерево, хотя камня на севере не меньше, чем лесов. Дерево обладает особой «совместимостью» с человеческим телом. Оно «живое», даже срубленное и обструганное. Жить в деревянных домах в Древней Руси считалось здоровее, чем в каменных.

Я думаю (это мое предположение), что настоящее открытие древнерусского зодчества было сделано великолепными фотографиями в дореволюционной «Истории русского искусства» Игоря Грабаря. Они стали переворотом в фотографировании памятников архитектуры вообще. Фотографы «взглянули» на памятники не с далеких и очень «официальных» точек съемки, которые были приняты в XIX веке, а с более коротких и, я бы сказал, «интимных» расстояний — тех, с которых смотрит прохожий. Вот это-то и оказалось чрезвычайно важным. Именно этого настоятельно требовала эстетика древнерусской архитектуры.

Подобно тому как древнерусская архитектура была открыта фотографами с помощью «укорочения расстояния», так и древняя русская литература открыта сейчас нам в своих «интимных ракурсах». Между человеком и произведением искусства всегда возникают особые, очень «человеческие» и короткие отношения. Человек всегда находится с предметами искусства наедине, с глазу на глаз: будь то в темном театральном зале, в зале музея или на улице. Наедине человек и с книгой, где бы он ее ни читал: в толпе, за письменным столом или в лесу на камушке.

Что испытывает читатель, когда он читает древнерусскую летопись, повестушку, воинскую повесть? Не то же ли «укорочение расстояния»?

Как было открыто древнерусское искусство слова? История этого открытия чрезвычайно интересна и дает кое-что важное для понимания эстетических ценностей древнерусской литературы. Древнерусская письменность изучалась и читалась всегда. Еще Петр указывал собирать летописи. По его приказанию была снята копия с Радзивилловской летописи. Интерес к памятникам древнерусской письменности существовал в течение всего XVIII века, когда было собрано и издано множество памятников, и в частности Н. И. Новиковым в его «Вивлиофике». Но ими интересовались как историческими источниками и в книговедческом аспекте по преимуществу.

Открыло древнерусскую литературу как искусство только «Слово о полку Игореве». И это произошло настолько рано сравнительно с другими видами искусства, что хотя изучавшие и

переводившие «Слово о полку Игореве» и понимали, что перед ними прежде всего памятник искусства, но многие эстетические стороны «Слова» не были еще оценены в полной мере. Красота «Слова» во всей своей многогранности оставалась долгое время нераскрытой. (Фольклорность «Слова», например, стала ясной только благодаря работам украинского ученого М. А. Максимовича.)

Эстетическое открытие древнерусской литературы, как это ни странно, стало возможным благодаря появлению в XIX веке литературного направления, которое, казалось бы, прямо противоположно эстетическим принципам древнерусской литературы — реализма. Первостепенная заслуга в этом принадлежала филологу и искусствоведу, академику Петербургской академии наук Ф. И. Буслаеву. По своим эстетическим представлениям он был реалистом. И все же тогда, во второй половине XIX века, он только приоткрыл дверь в древнерусское искусство.

Реализм обострил личностное начало в литературном творчестве, индивидуальность художника получила полную свободу выражения. А это помогло глубже понять различные стили древнерусской литературы. Умение воспринимать индивидуальные стили облегчило познание отнюдь не индивидуальных, но все же очень разнообразных исторических стилей древней русской литературы. Становление реализма было тесно связано с появлением исторической восприимчивости, с сознанием изменчивости мира и, следовательно, изменчивости эстетических принципов. Развитие исторической науки в России середины и второй половины XIX века, с одной стороны, и литературной критики — с другой, не случайно совпало с развитием реализма.

Другая черта реализма — это появление в искусстве «коротких расстояний»: близость автора к изображаемым им персонажам, гуманизм в самом широком и глубоком смысле этого слова, взгляд на мир почти вплотную, взгляд на мир не со стороны, а изнутри человека — пусть даже воображаемого, но близкого читателю и автору. «Образ рассказчика», «образ автора», «лирический герой» почти всегда служат новой высокогуманистической точке зрения автора произведения на мир и человека: не извне, а изнутри. Точка зрения из холодно внешней стала теплой, конкретно человеческой, индивидуальной. Автор пишет как бы в интерьере своего произведения, но не с позиций всезнающего судьи, а с позиций участника, человека в своем роде «ограниченного» и потому уступающего место мудрого судьи самому читателю. Благодаря этому своему удивительному свойству реализм второй половины XIX и первой половины XX века «впустил» современного ему читателя в древнерусскую литера-

туру. Читатель привык «вживаться» в авторскую точку зрения — он смог легче понять и точку зрения древнерусского автора...

Гуманизм и реалистичность — вечная сущность искусства. Во всяком большом направлении искусства получают развитие какие-то исконно присущие искусству стороны. Все великие направления в искусстве не изобретали все заново, а развивали отдельные или многие черты, присущие искусству. И это прежде всего касается реализма. Как направление он начинался в XIX веке, но реализм — вечно присущее искусству свойство. Открытие этой реалистической сущности искусства в древней русской литературе советскими исследователями И. П. Ереминым, В. П. Адриановой-Перетц послужило новым витком в развитии интереса к древней русской культуре.

В литературе необходимо прежде всего находить человека, с его добрыми «человеческими» качествами. Каждая черта, в которой можно обнаружить отражение человеческих стремлений, удач и неудач, страданий, горестей, радостей, забот, особенно донесенная до нас из глубины веков, всегда необыкновенно волнует и трогает. Даже берестяные грамоты с текстами, которые «сокращают расстояния» между нами и людьми далекого времени, производят огромное впечатление: будь то упражнения и рисунки мальчика Онфима или письмо жены о смерти своего мужа с приглашением «попечаловаться» о нем с нею вместе.

В писателе всегда трогают проявления заботы, доброты, стремления к облегчению жизни других, близких, проявления преданности — преданности хорошим людям и благородным идеям, родной стране. Не прямые проповеднические наставления, поучения и обличения, на которые так щедры были древнерусские авторы, а бесхитростные примеры, конкретные деяния, невольные выражения чувства, когда автор как бы «проговаривается», — именно они с их действенным и нравственным началом часто производят наиболее сильное впечатление.

А. С. Орлов обратил внимание на приписки на псковских рукописях, где авторы их проявляют свою заботу о других, жалуются на мелкие тяготы жизни, шутят с читателем. И. П. Еремин «открыл» в «Житии Бориса и Глеба» место, которое благодаря ему стало уже «знаменитым». Юноша Глеб по-детски просит убийц не убивать его: «Не деите мене, братия моя милая и драгая! Не деите мене... Не брезете мене, братие и господе, не брезете!.. Помилуйте уности моее, помилуйте, господе мои!.. Не пожьнете мене, от жития не съзьрела! Не пожьнете класа, не уже съзьревъша, нъ млеко безълобияносяща!..»

Когда внимательно вчитываешься в письмо Владимира Мономаха к своему постоянному противнику Олегу Святославичу (Олегу Гориславичу — так он назван в «Слове о полку Игореве»), испытываешь почти чувство удивления перед силой выраженного в нем нравственного начала. Мономах прощает убийцу своего сына Изяслава — прощает после того, как он победил Олега и изгнал из Русской земли. Мономах просит его вернуться на Русь и занять по праву наследования принадлежащий ему удел. И одновременно он просит вернуть ему молодую вдову Изяслава: «...потому что нет в ней ни зла, ни добра, — чтобы я, обняв ее, оплакал мужа ее и свадьбу их, вместо песен: ибо не видел я их первой радости, ни венчания их, по грехам моим. Так, ради бога, отпусти ее ко мне поскорее с первым послем, чтобы, поплакав с нею, я поселил ее у себя, и она села бы, как горлица, на сухом дереве, горюя...» Такие места, раз открытые, не забываются.

Но дело, конечно, не только в больших человеческих чувствах. Трогают и самые частные проявления человеческой заботы. Вот новгородский летописец в XII веке описывает долго стоявшую дождливую погоду и добавляет: «И сена не уделаша». Скотинку нечем будет кормить зимой!

В «Истории о Казанском царстве» поражает уважение к врагам русского войска и даже восхищение мужеством татар — защитников Казани. Трогателен и образ казанской царицы Сююмбеки, ее плач по Казани, прощание с родным городом, когда ее увозили в Москву.

Это проявление уважения к другим народам, даже к тем, с кем пришлось вести длительные войны, постоянно и в русской литературе нового времени — например, в произведениях, описывающих те или иные эпизоды «покорения» Кавказа.

В произведениях Аввакума трогает не только его самозабвенная идейная борьба против официальной церкви и реформ ее главы Никона, но и добрый юмор, которым, в частности, он порой смягчает и «возвышает» свое отношение к врагам, сославшим его с семьей в сибирскую ссылку, а затем заточившим его на долгие пятнадцать лет в земляной тюрьме. Их же он и жалеет, над ними и подшучивает, называет «горюнами», «дурачками», «бедными».

В «Повести о Горе-Злочастии» есть поразительное сознание ценности человеческой личности самой по себе — даже человека, опустившегося до крайних пределов падения, проигравшегося в карты, пропившего с себя все, лишившегося друзей и родных, помышляющего о смерти. Повесть эта по своему гуманизму — предшественница произведений Гоголя и Достоевского.

Разнообразны, неувядаемы достоинства произведений древнерусской литературы, но самое главное — это их сильнейшее нравственное начало. Благодаря ему эта литература особенно ценна и для нас, для нашего времени. Увидеть это нравственное начало можно только на самых коротких расстояниях, когда мы ясно представляем себе авторов и читателей, их классовые и сословные позиции. Одна из основных задач наук об искусствах, помогающих нам их понять, в частности литературоведения, — это «сокращение расстояния» между людьми, между прошлым и настоящим, между культурами, народами, странами, между людьми вообще. Благодаря нравственному началу, которое заключено в древней русской литературе, ее значение чрезвычайно велико именно сейчас. Любовь к Родине, патриотизм также воспитывается на этом «укорочении расстояний», на представлениях о конкретных живых людях, конкретном родном пейзаже, близком ощущении прошлого как своего прошлого, своей страны. Любовь к Родине — это в основном, как и всякая любовь, интимное, глубоко личное чувство. Именно поэтому искусству, и литературе в частности, принадлежит такое большое место в воспитании любви к Родине.

Самый путь развития древнерусской литературы многому учит, явственно показывает нравственную силу культуры. Высокие гуманистические достоинства древней отечественной литературы позволили ей сыграть выдающуюся роль в годы величайших испытаний русского народа. В период феодальной раздробленности общий всей русской равнине фольклор, язык, трудовые традиции, общий быт напоминали русскому народу о его единстве. Но литература к этому единству еще и призывала, доказывала его необходимость, обличала раздоры князей. Не одно «Слово о полку Игореве» выполняло эту высокую нравственную миссию письменного слова: десятки летописей, исторических повестей, ораторских произведений — призывали к тому же. А когда Русь во второй трети XIII века подпала под чужеземное иго, когда княжеская власть потеряла свой авторитет, постоянно склоняясь под ордынское ярмо, — литература приняла на себя важнейшую из государственных забот: сохранять цельность нации, традиции независимости, сохранять национальную культуру и важнейшую ее сторону — язык. В пору борьбы за освобождение она помогала народу, указывала на традиции Киевской Руси. И в этом одна из миссий «Задонщины», летописей, возвращавших русских князей к событиям, изображенным в «Повести временных лет», многих других произведений, так или иначе подхватывавших и мысли, и художественные достижения Киевской Руси — Руси независимой и могущественной.

Нравственная сила древнерусской литературы еще более

возросла, когда в конце XV, XVI и XVII веках ей пришлось в наиболее прогрессивных своих произведениях вступить за крестьянство, обличать боярство.

Нравственная сила древней русской литературы активно воздействует и на нашу, современную духовную жизнь. Ее традиции не могут забыться, не могут перестать цениться. Благодарность, которую мы испытываем к нашим отдаленным предкам, сама по себе имеет воспитательную силу.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ЕДИНСТВО «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Изучение «Слова» сделало большие успехи, но успехи эти в последние десятилетия в какой-то мере сузились. Интересы исследователей «Слова» сосредоточились главным образом на толковании событий, послуживших основой «Слова», на вопросе о месте битвы, о маршруте похода Игоря и пр., на реалиях «Слова», на комментариях к отдельным местам, «исправлениях» темных мест, на переводах «Слова». Особое значение приобрели поиски автора «Слова» — его имени и его общественного положения. Изучение же художественной стороны «Слова» ограничивается поисками аналогий, жанровых соответствий, «общих мест» с другими памятниками, выяснении канонических и вообще повторяющихся выражений.

Такая направленность изучений «Слова» понятна: скептики «травмировали» науку о «Слове», заставили ее искать в «Слове» общее, типичное для эпохи, чураться индивидуального, ибо обнаружение неповторимого ощущалось почти как поддержка точки зрения скептиков. Между тем «Слово», хотя и восприняло многое от литературы своего времени, носит в себе признаки индивидуального творчества, которое не укладывается в трафареты XII века, не может быть объяснено традицией.

Меньше всего изучались индивидуально присущие «Слову» черты художественности, то есть те черты, которые определяют гениальность произведения.

Надо сказать, что чисто индивидуальные черты художественного произведения недостаточно изучаются в любом произведении искусства, точно только общее может подвергнуться изучению. Если речь идет о художественности произведения, то изучаются преимущественно особенности, присущие стилю в целом, эпохе, писателю как таковому, определенной традиции, все

то, что привязывает произведение к чему-то более общему, «ставит его на якорь», утверждает его стабильность.

Между тем в каждом мало-мальски талантливом произведении есть явления, которые строго индивидуальны и не могут быть объяснены заимствованиями, аналогиями, трафаретами, законами жанра и т. п.

Как отличить индивидуальные особенности произведения от более общих и традиционных? Это трудно, когда литература дошла до нас не в своем полном объеме, и мы можем подозревать среди не дошедшего до нас целые жанры, разряды произведений, как это было, например, со светской литературой в эпоху «Слова».

Что же в художественности «Слова» не может быть объяснено традицией? Прежде всего, это то, в чем автор «Слова» явно проявил свое собственное мастерство. К традиции могут быть отнесены образы, фразеологические обороты, макрокомпозиция произведения, отдельные повторяющиеся приемы, но не может принадлежать «микрокомпозиция» — там, где требуется часто изобретательность творца. В «Слове» это то, что я бы назвал художественными скрепами и что играет в «Слове» незаметную, но и чрезвычайно большую роль и делает «Слово» по-настоящему гениальным произведением.

И именно эта, выпадающая из «дневного освещения», художественная незаметность больше всего воздействует на читателя, заставляет читателя особенно любить «Слово».

Если для эстетики Нового времени требуется художественное открытие, обнаружение нового и непривычного, то для эстетики средневековых литератур, напротив: характерно стремление воздействовать привычным, повторяющимся, «знакомым». Поэтому такое внимание и в «Слове» к повторениям — слов, выражений и образов. Об этом писалось уже в литературе о «Слове» (в последнее время Н. С. Демкова и автор этих строк¹). Но что особенно важно в «Слове» — это те повторения, которые не обращают на себя открытого внимания, а входят в ассоциативную ауру «Слова» и воздействуют на читателя как бы незаметно. Тут особенно сказывается гениальность автора.

¹ Демкова Н. С. Проблемы изучения «Слова о полку Игореве». — В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980; е е ж е. Повторы в «Слове о полку Игореве». (К изучению композиции памятника). — В кн.: Русская и грузинская средневековые литературы. Л., 1979; Л и х а ч е в Д. С. Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве». — Русская литература, 1983, № 4, с. 9—21 (см. также соответствующую главу в наст. книге).

«Слово о полку Игореве» — произведение лирическое. Оно не имеет строгой повествовательной линии. Оно посвящено походу Игоря, но не рассказывает о нем, а как бы откликается на него. Поэтому в «Слове» закономерны часто неожиданные переходы от одной темы к другой, от одного географического пункта к другому, из настоящего времени в прошлое и т. д.

Однако художественное единство «Слова» подкреплено множеством различных художественных «скреп». «Слово» вновь и вновь напоминает читателю, что оно едино: и перекличками текста, и рефренами, и лейтмотивами, и повторениями, и ассоциативными связями далеко отстоящих друг от друга мест текста, и общностью настроения, и сбывающимися предчувствиями. Тот или иной художественный образ встречает аналогию через какой-то промежуток текста, повторяется, развивается — гаснет или вспыхивает. Текст словно связан железными тягами, стянут в единый узел.

Наиболее общая скрепа, которая связывает начало и конец «Слова», — это солнечный свет. В начале «Слова» солнце дважды предупреждает Игоря об опасности: «Тогда Игорьъ възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты». Это при выступлении в поход. В самом походе: «солнце ему тьмою путь заступаше». В битве на Каяле: «на рѣцѣ на Каялѣ тьма свѣтъ покрыла». После поражения: «нѣ уже, княже Игорю, утрѣтъ солнцю свѣтъ». Солнце затмевается не единожды, не дважды, а четырежды в разные моменты похода. Зато в конце «Слова», где говорится о возвращении Игоря на Русскую землю, автор восклицает: «солнце свѣтитъ не небесъ, — Игорьъ князь въ Руской землѣ».

Художественные скрепы не всегда сразу замечаемы. Укажу, например, на такую. Когда Игорь попал в плен, «высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево», тогда «уныша бо градомъ забрала, а веселие пониче». Этот образ унывающих городов («забрала» — городские стены, где поют славу или плачут) и поникшего по всей стране веселия не забывается автором, ибо когда он возвращается из плена — «страны ради, гради весели». Опять-таки перед нами художественная перекличка начала событий и их конца.

В «Слове» обнаруживаются скрепы очень частные, иногда крайне слабо обозначенные, но тем не менее вполне реальные и воздействующие на читателя в малых дозах. Приведу примеры.

В начале произведения Всеволод Буй-Тур, характеризуя своих воинов, говорит: «...луци у нихъ напряжени, тули отворени». Этому отвечают слова в плаче Ярославны, обращенные к солнцу: «...въ полѣ безводнѣ жажду имъ лучи съпряже, тугою имъ тули затче». Почему «тули затче»? Потому, что раньше они бы-

ли «отворени». Почему солнце «сопряже» луки, сделало их негодными? Потому, что раньше они были «напряжены». И тулы и луки были готовы к битве, а теперь стали неспособны.

Все в «Слове» очень конкретно. Что значит, что солнце горем заткнуло колчаны русских воинов: «тугою имъ тули затче»? Горе вошло в колчаны русских воинов потому, что они были пустые, — не стало больше стрел, все расстреляли. Если это так, то битва была безнадежно проиграна. Тули (колчаны) русских оказались пустыми. Но в битве было и еще одно обстоятельство, приведшее к решительному поражению, — это то, что полки некрещеных степных народов, союзников русских, дрогнули и побежали. Побежали «поганые толковины» (языческие союзники). Вот почему о своем сне, предвещавшем ему поражение войск Игоря, Святослав говорит: «сыпахуть ми тѣщими (пустыми. — Д. Л.) тулы (колчанами. — Д. Л.) поганыхъ тльковинъ великий женчюгъ на лоно и нѣгують мя». Получается своеобразная цепь соответствий и противопоставлений.

Если «тули», отворенные в начале похода, «заткнуты» в результате поражения, то в сне Святослава снова появляются эти тулы: из них сыпят на лоно Святослава символ слез — жемчуг «поганые тьлковины», то есть языческие союзники, бегство которых предрешило печальный исход битвы и привело к пленению Игоря, отдалившегося от своего войска, чтобы повернуть толковин назад.

Художественная полнота образов «Слова» поддерживается ее соответствием реальности. Несмотря на то что перед нами отнюдь не реалистическое искусство, связь с реальностью во многих случаях очевидна и обуславливает собой художественные образы.

Так, например, иссохшие луки и пустые колчаны для стрел, заткнутые «тугою» — горем — это, конечно, определенные символы, но одновременно они объясняются характером сражения. Согласно рассказу Лаврентьевской летописи русские воины были истощены безводием в результате того, что половцы не подпускали их к воде, действуя против них массовой стрельбой, стрелами, запас которых у окруженных половцами русских был, конечно, ограничен: «И сняшася с ними стрельци, и бишася 3 дни стрельци, а копы ся не снимали, а дружины ожидающе, а к воде не дадуше им ити; и приспе к ним (к половцам. — Д. Л.) дружина вся, многое множество. Наши же, видевше их, ужасошася и величанья своего отпадоша... изнемогли бо ся бяху безводием, и кони, и сами, в знои, и тузе, и поступиша мало к воде, по 3 дни бо не пустили бяху их к воде...» Вот почему не только воины, но и луки их были иссушены жаждой, пересохли на жаре.

Возвращаясь к характеристике Всеволодом его воинов, мы

замечаем, что его слова оказываются воинской похвалой и в другом случае. В числе воинских добродетелей своих курян Всеволод называет и такое: «пути имь вѣдоми, яругы имь знаемы». Но яругы, как в дальнейшем оказывается, не только «знаемы», но и полны тревожащей неизвестности: «вълци грозу въсрочать по яругамъ». Это снова ответ на бахвальство Всеволода, хотя он и проявляет себя как мужественный воин. В конце концов, не только Всеволод, но и Игорь переоценивает свои возможности, выступая в поход, «не сдержав юности».

Характеристика курян Всеволода переходит на всех воинов Игоревой рати. По словам Всеволода, куряне «сами скачють, аky сѣрый вълци въ полѣ, ищучи себе чти, а князю славѣ». В походе все воины Игоревой рати перегораживают «поля чрълеными щиты», «ищучи себѣ чти, а князю славы». И дальше эта характеристика русских воинов противопоставляется характеристике половцев в смежной части: если русичи перегородили поля черлеными щитами, то «дѣти бѣсови кликомъ поля прегородища, а храбрии русици преградища чрълеными щиты».

Сон Святослава, как я уже сказал, — центральный эпизод «Слова», и тем существеннее, что он подготовлен уже заранее — первой, недоброй и «нечестной» победой Игоревой рати. В самом деле, победа имеет тревожный характер, и в тексте «Слова» она как бы обрамлена беспокойной ночью и сном войска, который потом как бы отражается и в сне Святослава.

Перед битвой «Длгою ночь мръкнеть. Заря свѣтъ запала». А после: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залѣгло!» И дальше идут тяжелые предчувствия поражения: «Не было оно (гнездо. — Д. Л.) обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый половчине!» Наступает и само поражение, приводятся его исторические аналогии. После чего следует: «А Святъславъ мутенъ сонъ видѣ въ Киевѣ на горахъ», весь состоящий из символов смерти и горя.

Таким образом, ночные предчувствия поражения предшествуют всему сну Святослава, говорящему об этом поражении. Это замечательная, очень тонкая поэтическая перекличка в «Слове».

Сон Святослава вещий и весь пронизан тревогой за судьбу Игоря, оказавшегося в плену у моря. Мысли Святослава полны думой о смерти (уже снят кнес с терема Святослава) и бусови врани собираются нести его к морю, где в самом деле или только символически (море — символ враждебности и неизвестности) находится Игорь. В связи с этим, как кажется, текст «Слова» — «бусови врани възгряху у Плѣсньска... и несошася къ си нему морю» следует читать: «бусови врани възгряху у Плѣс-

ньска... и несоша мя къ синему морю». «Ся» и «мя» легко могли быть спутаны, ибо местоимение это писалось под титлом.

Носился или не носился Всеслав Полоцкий к Тмуторокани (сведений об этом нет в летописях) — это, в конце концов, не важно. Автор не рассказывает подлинную историю Всеслава. Он дает ее художественное осмысление. Главное для автора «Слова» в том, что Игорь идет походом (летит — Игореве хороброе гнездо «далече залетѣло») к Тмуторокани, поставив ее дальнею целью своего похода, а в этом самонадеянном желании он уподобляется Всеславу, оборотнем носившемуся по Руси. При этом Всеслав неся к Тмуторокани именно ночью, до пения петухов, до восхода солнца. И в изображении первой победы Игоря, когда его мечты о Тмуторокани были, казалось бы, особенно реальны, он изображает бессонную ночь Игоря. Не случайно изображается ночное томление Игорева войска, и оно ассоциируется с ночными передвижениями Всеслава.

Не случайно и Олег Гориславич «ступаетъ въ златъ стремянъ въ градъ Тмутороканъ», и звон этот достигал до Ярослава в Киеве — он слышал его пророчески, а Владимир Всеволодович закладывал от него уши в Чернигове именно утром, то есть как бы просыпаясь от ночных тревог княжеских усобиц.

Первая, удачная для Игоря битва обрамлена двумя тревожными ночами — ночью перед битвой и ночью после битвы. Вторая ночь особенно полна дурными предчувствиями, и они служат переходом к трагическим предзнаменованиям сна Святослава. Переходом к сну Святослава служит не только поражение Игоря со всеми ее горестными последствиями для Русской земли, но и воспоминания о том, как Святослав перед тем «успилъ» (усыпил) разбуженную теперь Игорем и Всеволодом «катору».

Сон Святослава заканчивается тем, что его несут «къ синему морю» — опять туда, к морю, достичь которого легкомысленно стремился Игорь.

Ночь и море, как и окружающее Русь поле неизвестное, — это все горькая неизвестность, несущая для Руси все несчастья.

Тринадцать раз упоминается море в «Слове». Море — это, как и поле неизвестное, страна неизвестная, — стихия неизвестности, окружающая Русь. В неизвестность идет Игореве войско, из неизвестности наступают на Игореве войско половцы, оттуда идут черные тучи, там поют готские девы, лелея месть за Шарукана, в неизвестности находится в плену Игорь, из неизвестности встает и угрожает Руси дева Обида, к неизвестности, к морю, шлет свои слезы Ярославна, из неизвестности указывает бог путь Игорю на Русскую землю, преодолевая неизвестность, вьются до Киева голоса дев, поющих на Дунае. Главное символическое значение моря — неизвестность, чреватая несчастьями.

Русская земля предстает перед читателями как остров среди окружающей ее неизвестности, как нечто известное среди неизвестного, как организованное начало среди хаотической неизвестности — «поля незнаемого» и в такой же мере незнаемого моря, откуда идут на Русь враги и тучи, дует враждебный ветер, неся на своих «нетрудных» крыльцах вражеские стрелы, на берегу которого заточен Игорь в плену и плещет лебедиными крылами Обида, преодолевая которое вьется пение девиц с Дуная до Киева и т. д. Степь и море несут в себе начала хаоса и неизвестности.

Призыв «Слова» к единению — это не только военная мобилизация князей против степи, но в нем заключен еще и второй план — призыва к известности против неизвестности, мы бы сказали сейчас — культуры против антикультуры. Именно поэтому автор «Слова» мобилизует историческую память и политическую географию Руси, князей живущих и умерших, города и реки далекие и близкие, присутствующих и отсутствующих. Вот почему форма напоминаний, воскрешения прошлого — это форма наиболее близкая к задачам произведения: выводить из неизвестности, говорить об известном, обращаться к памяти, выводить из забывчивости, напоминать князьям об их долге, поражениях и победах, силе и слабости.

Предчувствия — это тоже связка, скрепа. Эти предчувствия, как и полагается им, выражены очень неясно. Дважды повторенное восклицание «О Русская земле, уже за шеломянемь еси» — это, конечно, предчувствие. Прямое предчувствие — солнечное затмение, еще более осязаемое предчувствие — размышление автора перед битвой: «дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо, далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронѣ, поганый половчине!» Еще более определенное предчувствие в словах автора: «быти грому великому, ити дождю стрѣлами съ Дону великаго! Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручати о шеломя половецкыя». Хотя ни прямо, ни косвенно о поражении здесь не говорится, но читатель понимает: так не говорят о будущей победе.

Когда о поражении уже сказано и приведены исторические аналогии, автор связывает настоящее с прошлым следующим восклицанием: «то было въ ты рати и въ ты плѣкы, а сицей рати не слышано».

Все «Слово» состоит либо из предчувствий, либо из осуществления этих предчувствий. Это создает в «Слове» поэтическое настроение, сознание значительности происходящего и взаимосвязанности как всех событий русской истории, так и отдельных

моментов рассказа. Своеобразным художественным центром «Слова» является сон Святослава, который пытаются разгадать его бояре и который говорит о поражении Игоря. Непосредственным результатом его является призыв Святослава к русским князьям выступить в поход — его «Золотое слово».

Вот тут характерно, что сама битва Игоря, особенно ее первая часть, дана в «Слове» как бы в обрамлении сна, дремы, ночного томления и предчувствия.

Художественное произведение от ремесленных поделок обычно отличает острое, живое ощущение образа, его художественной полноты, независимо от того, традиционен он или нет. Именно этим, очевидно, объясняется то, что в разные времена и в разных литературах в произведениях истинно художественных строго выдерживается полнота художественного образа. Автор не стремится перейти от образа к образу, а как бы медлит, задерживается на том или ином сравнении, варьирует его или развивает, дополняет.

Стремление к полноте художественного образа сказывается и в «Слове».

Если автор «Слова» употребляет образ засыпания, перехода ко сну для того, чтобы выразить значение прекращения чего-либо, то тут же рядом возникает однородное явление передается словом, обозначающим переход от сна к бодрствованию: «Щекоть славний *успе*, говоръ галичь *убуди*».

Обратите внимание на образы одной и той же области в следующих пассажах «Слова»: «Тогда, при Олзѣ Гориславличи, съяшется и *растяшетъ* усобицами...» (сперва посеянное потом растет); «рѣтко ратаевѣ *кикахуть*, но часто врани *грялахуть*» (покликиванию пахарей противопоставляется карканье воронья на пустой ниве).

Образы битвы — пира, битвы — земледельческих работ и пр. не просто однозначно названы, а развиты в целые картины с двойным значением, значением противопоставления: битва противопоставляется радости и труду. Этим как бы выражается отрицательное отношение автора «Слова» к войне вообще.

В описании поражения Игоря, а затем усобиц Олега Гориславича преобладают звуковые образы (ср.: «кикахуть», «грялахуть», «говоряхуть» и пр.). И это поддерживает следующее восклицание автора: «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не *слышано!*» Возвращаясь к поражению Игоря, автор снова прибегает к звуковым впечатлениям: «grimлють», «трещать» и снова восклицает: «Что ми *шумить*, что ми *звенить* да-лече рано предъ зорями?»

Стремление к полноте образа необходимо учитывать при раз-

личных толкованиях текста «Слова» и его переводах. Так, например, Ярославна «зегзицею незнаема рано кычеть». Помимо оправданного разными говорами перевода «зегзица» как «кукушка», может быть выдвинут и следующий аргумент — Ярославна кукушкою «кычеть». Чайки и другие птицы, предлагавшиеся для перевода слова «зегзица», не «кычут». Только про кукушку можно было сказать, что она «кычеть». Но дело не только в этом. Необходимо подчеркнуть и другую очень значительную особенность сравнения Ярославны с кукушкой. Ярославна плачет тогда, когда Игорь и Владимир Игоревич, ее сын, находились в плену, в чужом «гнезде» и Кончак собирался женить Владимира на своей дочери. Ярославна ощущает себя кукушкой, выращивающей птенцов в чужом гнезде или для чужого гнезда. Если же «зегзица» чайка, то почему самой Ярославне нужно было себя с нею сравнивать. Сравнение же с горестной кукушкою в устах Ярославны вполне оправданно. В этом назывании себя кукушкою есть и доля обычного для народных плачей самоунижения, демонстрации своего несчастного положения.

Некоторая доля самоунижения, изображения своего несчастного положения есть и в том эпитете, которым Ярославна сопровождает сравнение себя с кукушкой; да и автор говорит «зегзицею незнаемѣ». Прилагательное «незнаемый» несколько раз встречается в «Слове» в значении «неизвестный», «чужой», «покинутый»: «земли незнаемѣ», «полѣ незнаемѣ» (дважды). Мне представляется, что автор хочет этим эпитетом отметить ее сиротство. Оказавшись без мужа и сына, она «незнаемой» кукушкой летит к неизвестному Дунаю и там кукует, плачет по мужу и его воинам. Это цельная образная система, очень характерная для народных плачей. То, что русские воины идут походом в землю неизвестную, сражаются в поле неизвестном, — это тоже подчеркивает одиночество русского войска, для которого Русская земля осталась уже «за шеломянем».

Полнота метафоры требует и определенного понимания того, что такое «уши» в следующем пассаже «Слова»: «той же звонѣ слыша давний великий Ярославъ, а сынъ Всеволожъ, Владимиръ, по вся утра *уши* закладаше въ Черниговѣ». Предложение видеть в слове «уши» проушины ворот, которые якобы Владимир Мономах приказывал закладывать по утрам (почему, кстати, утром, а не на ночь — вечером?), явно не подходит, если иметь в виду стремление автора «Слова» к полноте художественного образа. Речь идет о звоне, который слышал Ярослав. Ясно, что уши имеются в виду те, что слышат, а не те, в которые закладываются бревна для запора городских ворот (кстати, не упомянутых).

Есть в «Слове» темные места, но за ними все же угадывается какой-то определенный смысл. Место трудно или почти невозможно для точного перевода, но оно не мешает эстетическому восприятию произведения. Вот, например, известное место о Всеславе Полоцком, где говорится о его быстрых передвижениях: «скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ». Можно предположить, что последняя часть слова «Дудутокъ» — «токъ» относится к следующей фразе, которую можно читать и так: «Токъ на Немизѣ стелють головами, молотять чеши харалужными, на тоцѣ животь кладуть» и так далее. Однако нельзя сомневаться, что в рассматриваемой фразе указываются первый и последний пункты передвижения Всеслава волком — «скочи влъкомъ до Немиги съ ду...», ибо так обозначаются и другие быстрые передвижения: «скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плъночи изъ Бѣлаграда», «изъ Кыева дорискаше до куръ Тмутороканя». Первый и конечный пункты быстрого передвижения указываются относительно Кобыя; Святополк «полелеял» отца своего «съ тоя же Каялы... ко святѣй Софии къ Киеву»; даже «чръныя тучя съ моря идуть», «дождь... съ Дону великаго», «вътри вѣють съ моря стрѣлами» и т. д. Поэтому, не понимая до конца, с какого места Всеслав Полоцкий «скачил» к Немиге, мы все же догадываемся, что — откуда-то издалека. Также и в других темных местах «Слова»: мы переносимся через них по инерции, догадываясь, что они что-то значили не только по прямому логическому смыслу, но и в эстетической системе целого. И надо обладать большим эстетическим чутьем, чтобы восстанавливать смысл темных мест «Слова» и их художественную динамику.

Это качество текста «Слова» (качество «художественной полноты», развернутости образов) следует учитывать при истолковании неясных мест. Так, например: «мыслию» или «мысию» (белкою) «растекался» Боян по древу: «Боянъ бо вѣщий, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашеться мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подѣ облакы». Учтивая, что дальше речь идет о волке и орле, естественно предположить, что в первом случае говорится о белке («мысию» читается в первом издании). Однако далее снова идет речь о некоем древе, и снова в связи с манерой Бояна и там древо называется «мысленым», что как бы поддерживает понимание «мыслию». А может быть, это смешение допущено автором сознательно? В «Слове» имеются и другие переходы от одного образа к другому, вызванные тем или иным словом, частью образа, созвучием.

Двойной смысл в «Слове» имеют и другие места. Всеслав Полоцкий «подперся о коней» и скакнул к городу Киеву. Он скакнул, ибо сидел на Подоле в порубе, и к княжескому терему, находившемуся на горе, надо было действительно «скакнуть» на коне, тем более что Киев сравнивается с девицей, с невестой, в

сказках же жених скачет на коне, срывает кольцо у царевны и получает жену и царство. Но, с другой стороны, Всеслав дал киевлянам коней для войска, которое должно было оборонить Киев от половцев, и тем завоевал их поддержку. Тот же двойной смысл, возможно, имеет и слово «клюка» — посох и хитрость одновременно. Выдача коней киевлянам была его хитростью, но и посох странника был у него, вероятно, тоже.

Метонимия — основной художественный троп в «Слове».

Удивительна в «Слове» полнота метонимий. По самому своему существу метонимия есть подстановка части вместо целого. Целое присутствует только как бы намеком, и тем не менее этот намек влечет за собой однородные образы.

Метонимия характерна преимущественно для военного языка. На метонимии построено большинство военных терминов и военных образов. Это типично и для военного языка Нового времени¹, но в средние века метонимичность военного языка — почти правило. Вот пример воинских метонимий: «Хощу бо, — рече, — копие *приломити* (начать битву. — Д. Л.) конец поля половецкаго, с вами, русици, хощу *главу свою приложити* (погибнуть в битве. — Д. Л.), а либо испити шелоомъ Дону (с боем дойти до Дона. — Д. Л.)».

Метонимиями представляются следующие детали в описании битвы и похода: «комони ржуть», «трубы трубять», «стоять стязи», «глаголють стязи», «рассушася стрѣлами по полю», «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручати», «гремлеши о шеломи мечи харалужными», «поскепаны саблями калеными шеломи оварьскыя», «ступаетъ въ златъ стремянь», «grimлють сабли о шеломи, трещать копиа харалужныя», «ту ся брата разлучиста», «ту Игорь князь высѣдѣ изъ сѣдла злата, а въ сѣдло кощиево» и многие другие.

Серия метонимий присутствует в речи Всеволода *Буй-Тура*, когда он описывает военные доблести своих воинов-курян. Причем в этой серии все метонимии нанизываются на одну тему — *ратного* воспитания: «А мои ти курыне свѣдоми кѣмети: *подѣ трубами повити, подѣ шеломи възлѣлѣяни, конецъ копия възскрѣмлени*». Оба ряда образов полны — и ряд воинского «воспитания», и ряд того, под чем они воспитаны (трубы, шлемы и копья — оружие рядового ратника; меч отсутствует, так как это вооружение привилегированного ратника). Воспитанные

¹ Метонимия и в Новое время свойственна военной теме: переведаться с противником, «смело вденеш ногу в стремя». Почему метонимия свойственна военному языку всех времен — это решать психологам, но факт тот, что в «Слове» этот военный прием настолько широко представлен, что позволяет говорить о своеобразной «военной поэтике» этого произведения.

так, они опытни: «пути имь вѣдоми, яругы имь знаеми».

Каждое из этих выражений значит нечто большее, чем дает его прямой смысл. Или это подход врагов, или сбор войска, или готовность к выступлению в поход, и т. д. Всегда два смысла — прямой, узкий и более широкий, общий. При этом снова обращаю внимание на то, что метонимия главным образом свойственна военной теме. И если мы с этой точки зрения подойдем к «Слову» как к художественному целому, то и самый поход Игоря выступит как метонимия происходящего в Русской земле, ее положения.

Чрезвычайная военная активность при полной несогласованности (поход Игоря). Плен в «стране незнаемой», в неизвестности, разлучение братьев (Игоря и Всеволода на поле битвы). История проступает через поступки князей-современников: через них видится и Олег Гориславич, и Всеволод Полоцкий. Через поля на горы вьется «тропа Трояня». На горах в старину Владимир Мономах, ходивший с них в походы («нелъзѣ бѣ его пригвоздити к горамъ киевскимъ»), а теперь на горах Святослав Великий видит сон, предрекающий ему гибель, смерть. А на других горах, вдали «высоко» сидит могучий Осмомысл. В пространстве Руси и звон колоколов, доносящийся из далекого Полоцка, и звон стремени из Тмуторокани, и разговор Всеволода и Игоря из разных городов, но звучание всех этих знаков общего положения тонет в непонимании.

Перед нами своеобразная «карта» Руси: горы, на которых княжат могущественные, но неподвижные великие князья («въ Киевѣ на горахъ», «высоко сѣдиши», «подперъ горы Угоркыи», «къ горамъ Киевскимъ», «пробиль еси каменные горы сквозѣ землю Половецкую»), а кругом поле, затем «поле незнаемое», «земля незнаемая» и совсем вдали «море» — аллегория гибельной неизвестности.

Судьба русского войска Игоря сопоставляется с судьбой всей Русской земли. Про Игореву рать говорится: «Половцы идуть отъ Дона и отъ моря и *отъ всѣхъ странъ* рускыя плѣкы оступиша». Затем о всей Русской земле — «А погании *съ всѣхъ странъ* прихождаху съ побѣдами на землю Рускую». То, что случилось с полками Игоря, далее обобщается как нечто случившееся со всей Русской землей.

Важную роль в «Слове» играет «чужое слово». Благодаря «чужому слову» мысли и чувства автора объективируются, получают «художественную доказательность». «Чужое слово» — это прием, известный и другим произведениям XI—XIII веков.

Чтобы выразить мнение того или иного князя или целого народонаселения летописец очень часто прибегает к прямой ре-

чи, к афоризмам, выраженным прямою речью. Новгородцы говорят: «Где София, ту и Новгород»; Святослав говорит: «да не посрамям земле Руские, но ляжем костьми, мертвыи бо срама не имам»; Вышата говорит дружине: «Аще жив буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною» и т. д.¹ Но это же самое характерно и для «Слова о полку Игореве»: «рекоста бо брать брату: «се мое, а то мое же»; «и начаша князи про малое «се великое» мльвити»; «нѣ рекосте: «мужаймъся сами. Преднюю славу сами похитимъ, а заднюю си сами подѣлимъ» и т. д. Но помимо таких кратких речений текст «Слова» переполнен словами действующих лиц: Игоря, Святослава («Золотое слово»), Ярославны, Всеволода, Дива и даже Кончака и Гзака... Говорят Донец и Дон. Дон «кличеть и зоветь князи на побѣду». Как речь воспринимаются поэтому грядные вранов, текот дятлов, пение соловьев. Оно осмысленно: соловьи, например, «веселыми пѣсньми свѣтъ повѣдаютъ». Все звуки в «Слове» осмысленны. «Крикну, стукну земля, вѣшумѣ трава». Большинство действий и событий в «Слове» указывают на участие природных явлений в происходящем: «чръныя туча съ моря идутъ, хотять прикрыти 4 солнца». Донец «лелееть» Игоря, «стелеть» ему зеленую траву. И т. д.

«Слово» — это грандиозный разговор между всеми и всем о судьбе Русской земли, толкование происходящего, участие в происходящем.

Художественные скрепы, которые делают «Слово» произведением единым во всех своих частях, отличаются большим разнообразием. К ним, в частности, относятся и те моменты в «Слове», которые обладают особой значительностью, — иногда скрытой, иногда почти явной, связаны с концепцией «Слова».

Вот, например, диалог в «Слове» Кончака и Гзы: зачем он нужен? Смысл его довольно ясен: оправдать женитьбу сына Игоря Святославича Владимира на дочери Кончака. Заключительная речь Гзы выражает и точку зрения автора «Слова». Кончак полагает, что женитьба Владимира воспрепятствует Игорю бежать из плена. «Рече Кончак ко Гзѣ: Аже соколъ къ гнѣзду летить, а вѣ (двойственное число — оба, мы. — Д. Л.) соколца опутаевѣ красною дѣвицею». На это Гза отвечает: «Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетъ соколца, ни нама красны дѣвице, то почнутъ наю птици бити вѣ полѣ Половецкомѣ». На этом кончается диалог, это заключительные

¹ Все это было подробно показано мною в следующих работах: Русский посольский обычай XI—XIII вв. — Исторические записки. 1946, т. 18, с. 42—55; Устные истоки художественной системы «Слова о полку Игореве». — В кн.: «Слово о полку Игореве»: Сборник исследований и статей / Под ред. В. П. Адриановой-Перетц. М. — Л., 1950, с. 53—92.

слова, с которыми соглашается автор и которые оправдывают заключительную славу Владимиру: «Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу!» Возвращение Владимира с Кончаковною внушает надежду, что борьба со степью возобновится и начнут снова «птици бити въ полѣ Половецкомъ».

Помимо описанных художественных скреп в «Слове» есть еще и скрепы эмоциональные, и наиболее сильные из них — скрепы сочувствия. Автор «Слова» сочувствует не только основным своим героям — Игорю и Всеволоду (хотя и упрекает их), но и персонажам, служащим как бы «теньями» основных тем в «Слове»: Олегу Святославичу (Гриславичу), Всеславу Полоцкому, а также эпизодическим лицам — Изяславу Васильковичу, Рюрику и Давыду, Владимиру Глебовичу и т. д., а также, и в наисильнейшей степени, жителям городов и сел.

Есть одна особенность эмоций в «Слове», которая помогает распространять это сочувствие на всю Русскую землю: чувства автора и его персонажей относительно самостоятельны. Подобно тому как мысль, ум могут взлетать под облака, носиться по поднебесью, так и чувства — тоска, печаль — приобретают самостоятельную материализацию: печаль «жирная», нужда может «треснуть» на волю, хула снестись на хвалу, тоска разлиться и пр.

Чувства текут, растекаются по земле, охватывают деревья, траву, забрали городов — всю Русскую землю.

Природа сочувствует русским не только потому, что она живая, одухотворенная, но и потому еще, что само сочувствие автора способно в нее переселиться. Автор как бы сливается с природой и общим настроением, господствующим в Русской земле, в ее истории. Автор свивает «оба полы сего времени» — прошедшее и настоящее, так как история для него не нечто ушедшее и невозвратимое, а продолжающее существовать сейчас, в событиях настоящего, живущее во внуках их дедов.

В какой-то мере скрепами прошлого и настоящего служат и языческие представления автора «Слова». Конечно, автор не язычник. Но вместе с тем язычество для него и нечто большее, чем эстетические символы и аллегории. Это живое ощущение старины, национального начала в русской действительности. Русский народ и русское войско — это силы Дажьбога. И это, конечно, не условное название, а национально-эмоциональное ощущение своего народа. Христианство не успело еще в XII веке приобрести национальную окраску. Это была на Руси мировая религия — общая для многих народов, неравенство которых на Руси признавалось, — прежде всего, греков, которые в основ-

ном стояли на самых верхах церковной организации.

Особое значение имеет описание чужого сочувствия, сочувствия персонажей друг другу: Игоря — Всеволоду, Святослава — Игорю (сочувствие при одновременных упреках), Ярославны — Игорю, матери — сыну Ростиславу, русских жен, оплакивающих своих мужей-воинов, певца-любимца («хоти») — Изяславу Васильковичу, природы — русским. Сочувствие переполняет собою «Слово».

В своей прекрасной и очень верной статье «Древний урок человечности», посвященной «Слову» (Коммунист, 1985, № 10, с. 52—53), С. С. Аверинцев обращает внимание на стихию человеческой жалости, пронизывающей «Слово» и особенно плач Ярославны.

Но вот что следовало бы добавить к острым наблюдениям С. С. Аверинцева: Ярославна оплакивает не только мужа, его плен, но и воинов русской рати, их гибель. Мало этого: она вспоминает помощь, которую оказывал Днепр русским в борьбе со степью, а солнце и ветер упрекает за то, что испортили оружие русских воинов: «О вѣтрѣ, вѣтрило! Чему мычеши хиновьскыя стрѣлки на своею нетрудною крилицю на моя лады вои?».

Обращаясь к Днепру, Ярославна говорит: «Ты пробилъ еси каменные горы сквозъ землю Половецкую. Ты лелѣялъ еси на себѣ Святослави насади до плѣку Кобыкова».

А солнце Ярославна упрекает: «Всѣмъ тепло и красно еси: чему, господине, простре горячую свою лучю на ладѣ вои? Въ полѣ безводнѣ каждо имѣ лучи съпряже, тугою имѣ тули затче?»

В плаче Ярославны выражена не только личная скорбь о муже, не только обращена мольба к природе вернуть ей мужа, но проявлена поразительная государственная забота, забота о всех русских воинах, сражавшихся с половцами, а заодно отражены и военные познания: значение Днепра в корабельном походе до стана Кобыка и беда с оружием, испорченным жаром солнца.

Это не просто жалость по муже — это стратегическая оценка положения.

С. С. Аверинцев совершенно прав, подчеркивая значение простых человеческих чувств в «Слове о полку Игореве», разнообразие в нем чувств любви: материнской, братской, супружеской. С. С. Аверинцев мог бы указать еще на поразительные проявления жалости в отношении явно ошибшихся князей, легкомыслием своим навлекших несчастья на Русскую землю. Даже в отношении князей прошлого, таких, как Олег и Всеслав, у автора «Слова» нет безжалостного осуждения.

Однако вместе с тем автор «Слова» с поразительной государ-

ственной мудростью оценивает положение всей страны в целом и ищет корни нынешних несчастий в истории.

С поразительной мудростью и тактом в «Слове» соединено личное чувство автора с государственной оценкой положения, в частности с большими историческими обобщениями, отдельные факты вплетены в общую картину положения Руси.

Художественный метод автора «Слова» гениально соответствует этому соединению строго личного с широкообщественным. Для него нет противопоставления одного другому, как это часто бывает. Он видит всю Русскую землю в целом и вместе с тем слышит все звуки — птиц и зверей, видит движение облаков от моря и поникающую траву. Поражение для него всегда и личное несчастье, и несчастье всей страны. Оба начала гениально соединяются и потому особенно действен его призыв к единению и миру.

Если в «Слове» говорится о родственных связях князей современников, то это позволяет теснее объединять все происходящее как некое «событийное единство». Ряды «деды — внуки» крепят историческое единство и позволяют воспринимать всю русскую историю «от Владимира старого до Игоря нынешнего» как своеобразную историю одной семьи.

Единство «Слова» определяется и сочувствием, с которым автор рассказывает о горестной судьбе того или иного князя — будь то Игорь или Всеволод, Святослав Киевский и даже их общий дед Олег Святославич, которого автор «Слова» зовет Гориславичем не от того только, что он принес много горя Русской земле (хотя и это не исключается), но главным образом сочувствуя его горестной судьбе. Ведь прозвище «Гориславич», «Горислава», «Гореславль» встречается и в Новгородской первой летописи, в «Молении» Даниила Заточника именно потому, что носители этих прозвищ претерпели много горя¹, а город «Переяславль» оказался связан с неблагополучием для автора «Посланий Даниила Заточника».

Сочувствием в «Слове» пользуются не только ольговичи, но и их противники — мономаховичи: это, во-первых, юноша князь Ростислав, утонувший в Стугне и по котором плачет его мать на берегу, хотя в Киево-Печерском патерике ему дана совсем не лестная характеристика. Во-вторых, это сам Владимир Мономах. Даже противник тех и других — ольговичей и мономаховичей — родоначальник всеславичей полоцкий князь Все-слав Полоцкий, который хоть и «людемъ судяше, княземъ грады рядяше», а все же принужден был волком рыскать по Русской земле, слушать в Киеве в заточении колокольный

¹ См.: Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве». М.—Л., 1965, вып. 1, с. 169.

звон, доносившийся к нему из Софии в Полоцке,—воспринимается с известной долей сочувствия.

Это удивительное сочувствие, уделяемое автором «Слова» самым разным персонажам, соучастие, смешанное иногда с осуждением, скрепляет «Слово» эмоционально.

Подобно тому как мысль, носящаяся под облаками или растекающаяся по дереву, тоска и туга, «текущие» по Русской земле, радость и горе, распространяющиеся на города, становятся независимыми от человека объективными сущностями, так и то чувство, которое переполняет автора в отношении судьбы того или иного князя, становится фактом всей русской природы. Поэтому и «каяние» — это не проклятие того или иного князя, а плач о нем. Иноземцы «кают» князя Игоря, и это означает, что они скорбят о нем.

Не только «слово» Святослава Киевского, но и все «Слово о полку Игореве» «со слезами смешено». И в том, и в другом «туга ум полонила».

Автор «Слова» объективирует свое отношение к людям и событиям в чувстве жалости, которое становится самостоятельным, распространяется не только по всей Русской земле, но и пронизывает собой все произведение, сказывается в отношениях людей друг к другу и природы к человеку. Чувство жалости охватывает братьев (Игоря и Всеволода), матери к сыну (к юнше Ростиславу), внуков и дедов, Святослава к Игорю. Сочувствие и жалость тянутся к городам и странам, охватывают деревья, травы, солнце и т. д.

«Слово» — это грандиозная по охватываемому его чувству поэма дружеских увещаний, скепсиса и печали о людях. Ее автор добр прежде всего. В нем нет чувства ненависти. Половцы «поганые», то есть язычники; они не вызывают в нем чувства презрения и ненависти — только страх и ужас внушают их победа и набеги. Кончак и Гза мирно и «лукаво» беседуют друг с другом по поводу бегства Игоря.

«Полнота» и развернутость художественных образов в «Слове о полку Игореве» — это одна из самых существенных скреп ее текста. При всех сюжетных перебросках текст «Слова» удивительно однороден — однороден художественно, однороден по настроению (переход от мрачного настроения в начале и середине к светлому в конце совершается постепенно и мотивированно), однороден благодаря единой картине Русской земли, как бы увиденной из заоблачной высоты, однороден благодаря своеобразной объективации человеческих чувств (тоски, печали, радости и их выражении в пении, которые простираются в природе, по всей Русской земле), однороден по своей единой идее — идее единства Руси (идея единства переходит из «географической сферы» в характер художественного текста). Именно бла-

годаря идее единства в «Слове» нет пристрастия ни к одной из ветвей княжеского рода рюриковичей, господствует тема любви (братьев, супругов, родных и т. д.), заботы, жалости, печали о положении страны, единения с природой. «Слово о полку Игореве» все «работает», одна часть строго сцеплена с другой, и ни одна часть не может быть изъята произвольно, переменена или переставлена по тем или иным собственным соображениям исследователя о последовательности.

ПОЭТИКА ПОВТОРЯЕМОСТИ В «СЛОВЕ О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Анализируя художественную ткань произведения, литературовед обязан основываться на презумпции «художественной оправданности» всех его элементов, презумпции цельности художественного построения произведения. Это, если хотите, методический принцип, из которого должен исходить и фактически всегда исходит исследователь в своем анализе. Только то, что остается за пределами воссоздаваемой художественной системы, может быть отнесено на долю внехудожественных факторов создания произведения.

На первый взгляд такого рода методический прием анализа может показаться требованием «сознательной предвзятости» в анализе произведения, но если мы задумаемся по существу, то убедимся, что художественную систему или художественную логику в любом произведении, которое мы признали эстетически ценным, иначе обнаружить и невозможно. Случайности не поддаются стилистическому анализу: на то они и случайности, чтобы не входить в систему и не определяться внутренней логикой произведения. Стремясь обнаружить систему, мы обязаны «верить», что эта система существует. Это рабочая гипотеза, оправданность или неоправданность которой обнаруживает себя только в конце исследования.

Аналогичное правило декларировано мною и в текстологии. Во всех случаях обнаружения текстологом изменений текста он должен прежде всего проверить: не поддаются ли замеченные изменения истолкованию как сознательно сделанные с какой-нибудь определенной целью автором, редактором, переписчиком. Только если эта проверка не удалась, открытое изменение текста можно относить на долю случайности и рассматривать как просмотр, ошибку автора или какого-либо другого лица, отвечающего за текст. Но даже и при обнаружении простой

ошибки, описки, опечатки и пр. исследователь все же обязан объяснить текст, хотя бы и на другом уровне: на уровне психологии письма, его техники. Он должен объяснить ошибку как происходящую при определенных «технических» условиях или как результат тех или иных особенностей психического склада творца текста.

Итак, стремясь обнаружить логику художественных образов в «Слове о полку Игореве», мы должны предполагать, что оно художественно логично, то есть что автор его проводит в своем тексте единую художественную линию, а также придерживается принципа полноты художественного образа.

Конечно, можно стать на ту точку зрения, что «Слово о полку Игореве» — произведение художественно несовершенное (такая точка зрения высказывалась теми, кто считал «Слово о полку Игореве» произведением вторичным по отношению к «Задонщине»), но тогда мы вообще лишаемся права его художественного прочтения, ибо в несовершенном произведении может существовать любая несогласованность — грамматическая, логическая, любая неточность значения и любой художественный промах.

Этим объясняется то, что каждый предлагающий новое прочтение или новое толкование текста «Слова о полку Игореве» исходит сознательно или бессознательно из презумпции его художественной логичности.

Вполне естественно предположить, что художественная логика «Слова», не будучи принципиально отлична от нашей, тем не менее обладает средневековым и чисто авторским своеобразием, с которым обязан считаться всякий, так или иначе пытающийся восстановить в «Слове» его утраченные, испорченные или просто непонятные места. Нельзя произвольно выходить за пределы этой средневековой художественной логики, свойственной как «Слову», так и другим художественным произведениям его времени, и подменять их или восполнять той образной системой, которая характерна только для нашего времени.

И в самом деле, эстетическое восприятие в средние века в Древней Руси было несколько иным, чем в современности.

Обратим прежде всего внимание на анонимность многих произведений Древней Руси. Анонимность была проявлением не только недостатка авторского чувства собственности, но и явлением эстетики.

«Анонимность» не следует рассматривать лишь под углом зрения отсутствия чувства «авторской собственности», пониженного личностного начала и т. п. Анонимность есть также и явление поэтики средневековья и фольклора. Средневековое произведение пишется не для самовыражения, а для того,

чтобы ответить на ожидания, требования, желания читателя, слушателя, зрителя. Неизвестный автор озабочен не собой, а тем, для кого он создает свое произведение.

Отсюда связь анонимности с традиционностью. Традиционность также выражает коллективное начало искусства. Двигаясь в рамках традиционности (именно двигаясь, а не застывая), творец как бы идет по проторенным, знакомым его слушателям, читателям и зрителям путям. В искусстве же чрезвычайно важен как раз момент «узнавания» (поэтому-то слушать второй раз сложное произведение всегда легче, чем первый). Этот момент узнавания особенно важен в древнерусском искусстве, где он может даже преобладать над моментом познания нового.

Создавая житие святого, автор как бы участвует в церемониале, его прославляющем, а церемониал всегда традиционен — это его характерная черта. И раз преобладают традиционность и церемониал, то само собой отступает на второй план личностное начало; на первый же план выступает коллективность.

Эту коллективность не следует представлять себе непременно как творчество совместное. Творец почти всегда один, но он творит для многих, используя то, что сделано до него многими. Если в созданном им «что-то не так», переписчики или исполнители всегда могут переделать, ибо у них нет ощущения отличий стиля произведения от традиционных стилей. Этих стилей много, но они тоже различаются между собой не по авторам, а по тому, для чего и для кого произведение создается, по жанрам.

Анонимность, традиционность и церемониальность требуют повторений. В древнерусских произведениях эстетически действенна не новизна, а этикетная обычность. Художник ищет не свежести впечатлений, а выражения этих впечатлений в полагающихся им формах.

От этих представлений древнерусскому книжнику было очень легко перейти к уверенности в том, что произведение не пишется автором, не «придумывается» им, а как бы диктуется традицией, чем-то посторонним, стоящим над автором. В известной мере средневековые книжники были в этом отношении правы: ведь произведение прибегало к уже готовым формулам, готовым образам и пр.

Все сказанное объясняет нам факт особого значения в средневековые «соседства произведений». Одно произведение, получившее «художественный авторитет», начинает использоваться в других произведениях не только ради красоты и точности самой «цитаты», но и для того, чтобы создавать настроение художественной возвышенности. Простейший пример — ис-

пользование цитат из псалтыри. Оно не только усиливает религиозную убедительность, но и создает настроение поэтичности.

«Повторяемость» в древнерусских произведениях мы можем разделить на «внешнюю» и «внутреннюю». Внешней повторяемостью я называю отклики в произведении на другие произведения. Отклики эти могут быть цитатами, этикетными формулами, использованием образов других произведений, даже хода событий или жизненной канвы героя из других произведений. К внутренней повторяемости я отношу различного рода переклички в пределах самого произведения — рефрены, повторения образов, выражений, художественных приемов, отдельных слов и т. д. Как уже было сказано, в средние века в искусстве над познанием нового преобладает узнавание уже знакомого. Этим объясняется частое использование старого в новом контексте, обилие цитат из Священного писания и других произведений литературы, рефрены, повторения.

Повторяемость — это основа «художественного обряжения мира» в древнерусской литературе.

В «Слове о полку Игореве» эта внутренняя повторяемость играет очень большую роль, она очень часто выходит за границы самого произведения, получает поддержку со стороны.

Повторяемость не только способствует художественному узнаванию (в отличие от художественного познания), но создает в произведении своего рода ритмы и рифмы, роднит художественную средневековую прозу с поэзией.

Это не означает, что у автора «Слова о полку Игореве» не было собственных находок. Наверное, они были, но нам очень трудно выявить все — где и какие они: ведь других произведений того же жанра мы не знаем, а есть только отдельные «похожести». Зато вот что интересно в «Слове»: склонность к цитированию, к повторениям, к ограничению в употреблении многих тропов, к использованию одних и тех же образов, хотя бы и с некоторыми вариациями. «Перекличка», которая в большом масштабе идет по всей древнерусской литературе, может быть замечена и внутри текста одного произведения, в частности в «Слове о полку Игореве».

Вот этой внутренней перекличке текстов, которая может быть сопоставлена с явлением рефрена в поэзии, и посвящаются ниже мои наблюдения над текстом «Слова». Эта «перекличка» эстетически действенна и для нас.

Поэтика повторяемости лежит в самой сути всех художественных тропов. Она подготавливается характером тропов, создается ограничением их возможностей, закрепляется выбором традиционных тем.

В 1980 году значению художественных повторов художественной системе «Слова» специальное внимание уделила Н. С. Демкова в своей статье «Проблемы изучения «Слова о полку Игореве»¹. Хотя явление повторов было известно и до этой работы (повторы в той или иной мере ощущаются любым внимательным читателем), только Н. С. Демкова уделила ему внимание как определенному эстетическому явлению, дав при этом ряд новых наблюдений. Так, например, она определила наличие повторов в речи князя Игоря к дружине, представляющей собой, по существу, три варианта одной и той же формулы о победе над врагом, служащей своеобразной скрепой для трех самостоятельных фрагментов этой речи.

В нашу задачу входит рассмотреть повторы в связи с другими художественными тропами. Дело в том, что повторы часто вызываются самим характером художественной системы «Слова»; являются как бы производным этой системы, например результатом ограниченности выбора. С другой стороны, повторы — активный художественный элемент этой системы, явление, организующее материал «Слова».

Из всех художественных тропов наибольшую «свободу» творцу предоставляют сравнения. Сравнения в новой литературе могут делаться по любому поводу — где только художник сможет обнаружить сходство. И вот здесь обратим внимание на то обстоятельство, что художественные образы «Слова» крайне редко строятся на сравнениях. Это утверждение на первых порах кажется неожиданным, ибо мы привыкли думать, что «Слово» часто сравнивает своих персонажей с птицами (соколами, галками, воронами и пр.), зверями (волками, турами и т. п.), а события — с полевыми работами, пиршеством, свадьбой, охотой и т. д. Но в большинстве случаев перед нами не столько сравнения, сколько подмена, смещение одного ряда явлений другим, в основе которого лежит не сходство, а уверенность в том, что в мире существуют эстетически высокие области, такие, как война, охота, земледелие, отношения человека к природе, которые художественны сами по себе и одно сопоставление с которыми вызывает представление о художественной ценности того, о чем говорится. Поэтому если описывать что-либо в охотничьих, военных или земледельческих терминах, то это уже означает введение описываемого в разряд художественных явлений. Автор

¹ В кн.: Чтения по древнерусской литературе. Ереван, 1980, с. 58 и след. Частично повторы в «Слове» рассмотрены и в статье Н. С. Демковой «Повторы в «Слове о полку Игореве», с. 59 и след.

пользуется понятиями из этих областей как знаками художественности.

Сравнения в «Слове» в своем чистом виде все же встречаются, хотя и редко, — так же редко, как и в других произведениях его времени. Но примечательно, что, прибегая к сравнениям, авторы очень часто пользуются формой отрицательного сравнения, вернее — отрицания возможного отождествления. Обычно отрицательные сравнения в «Слове» считаются признаками его народно-песенной основы. Это не так. Фольклорной стихии в «Слове» много, но отрицательные сравнения, в тех редких случаях, когда они вообще появляются, характерны и для древнерусской книжности времени «Слова о полку Игореве». Ср. у Кирилла Туровского: «Пища же не брашно речеться, но слово божие, имъ же питается тварь»¹. В «Слове святого Кирилла-мниха о снятии тѣла Христова с креста» идет целая серия отрицательных сравнений, прямо указывающих на различие сравниваемых объектов: «Како начну или како разложу? Небомъ ли ты прозову? Нѣ того свѣтълѣй бысть благочѣстьемъ, ибо... Землю ли ты благоцвѣтущую нареку? Нѣ тоя чѣстнѣй ся показа... Апостолюмъ ли ты именую? Нѣ и тѣх вѣрнѣ и крѣпчею обрѣтѣся...» и т. д.². Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пущаще, нѣ своя вѣщиа прѣсты на живая струны въскладаше», «Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону Великому», «Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни — посѣяни костыми рускихъ сыновъ». «А не сорокы втроскоташа: на слѣду Игоревѣ ѣздить Гзакъ съ Кончакомъ».

Впрочем, не совсем ясен второй из приведенных выше примеров отрицательного параллелизма: «Не буря соколы занесе чресъ поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону Великому». Вряд ли здесь галки сравниваются с соколами, тем более что вся фраза говорит о том, что галки спасаются бегством от соколов, то есть второй член параллели служит естественным следствием первого.

Художественная система «Слова» построена не на внешних сходствах, ведущих к сравнениям, а на каких-то символических представлениях. Пир — битва, земледельческие работы — битва; подмена людей охотничьими птицами и зверями — теми, на которых охотятся и с которыми охотятся, основанная, очевидно, на каких-то далеко в прошлое уходящих представлениях о тотемах людей. Сюда же относится символика, связанная с солнцем: князь — солнце, молодые князья — месяцы, и представления о приметах, предвещающих смерть, гибель, поражение.

¹ Памятники литературы Древней Руси: XII век. М., 1980, с. 294.

² Там же, с. 322.

ние (затмение — поражение, крыша без князька — смерть), об оборотничестве (князь оборачивается волком и носится волком в ночи).

К этой же символической системе принадлежит и представление о вокняжении как об обручении с тем городом, в котором князь вокняжается. Отсюда Киев для захватившего киевский престол Всеслава — девица, с которой он не успел обручиться. Всеволод только «доткнулся» золотого киевского стола «стружем» — по-видимому, древком копья.

Сравнения вводятся в тексте «Слова о полку Игореве» с помощью сравнительного союза «аки»: о курянах, например, говорится: «сами скачють, *аки* сърыи вльци в полѣ», о половцах: «по Руской земли прострошася половци, *аки* пардѹже гнѣздо», про князей Рюрика и Давыда спрашивается: «... не ваю ли храбрая дружина рыкають, *аки* тури, ранены саблями калеными на полѣ незнаемѣ?» Но характерно, однако, что и эти сравнения берутся не по внешнему сходству, а по символической системе средневековья: воины и князья сравниваются с волками, пардусами, турами — зверями, входящими в «охотничью символику древней Руси». Как сравнение охотничьего характера может рассматриваться и сравнение половецких телег с лебедями в единственном случае, в котором сравнение вводится с помощью формы «рци» от глагола «речѣ»: «крычать тѣлѣгы полунощы, рци, лебеди роспущени» (или «роспужены» — вспугнуты), однако здесь возможно и другое объяснение: лебеди могли быть тотемом половцев.

Художественность произведения не создается «приемами», «образами», «средствами», а заложена уже в самом содержании произведения, в характере тем, настроении — она в глубине произведения, а поверхность отражает лишь то, что находится в этой глубине. Художественность «Слова о полку Игореве» — в особой интерпретации несчастного похода Игоря как части русской истории, в восприятии значительности происходящего, причастности к целому отдельных личностей, их поступков и разнообразных событий вокруг похода и его героев.

Преобладающий троп в «Слове» не сравнение и не метафора, а метонимия или синекдоха. Метонимию отнюдь не следует считать простой разновидностью метафоры. Метонимия не входит в метафору, а является равноправным метафоре художественным тропом, особенно распространенным в церемониальной эстетической системе средневековья и время от времени отвоевывающей свои права в литературных направлениях Нового времени (например, в барокко и классицизме).

Сравнительно с другими тропами метонимия ограничена в своем разнообразии. Принцип метонимии — часть вместо целого — обуславливает выбор частей их целым. В древнерусской

же художественной прозе метонимия, кроме того, имеет и другое ограничение — выбирается вместо церемониального целого важнейшая церемониальная же часть этого целого.

Типичная метонимия «Слова» и других памятников его времени — «вдеть ногу в стремя» вместо «выступить в поход». Это метонимия как бы второй степени.

Вдевание ноги в стремя — важнейшая церемониальная часть восседания князя на коня, а восседание на коня князя — важнейшая часть церемонии выступления княжеского войска в поход. Недаром и в Радзивилловской летописи выступление князя в поход (л. 234, верх) изображено как вдевание князем ноги в стремя. При этом в церемонии участвует и стремянный, стоящий перед сающимся на коня князем на одном колене.

Обе эти метонимии настолько привычны, что употребляются иногда просто как термины, означающие выступление в поход. Поэтому в старорусских текстах можно сестъ на коня *против кого-либо* или *за кого-либо*, так же как и вступить в стремя *за кого-либо* или *против кого-либо*. Стремя — важная символическая деталь любого конного похода. Поэтому князья могут предлагать друг другу ездить «возле стремени», то есть совершать общий поход, или находиться в феодальном подчинении у кого-то, «у стремени» кого они обещают ездить.

Другой пример метонимии — «приломити копие» вместо «начать битву». Начало битвы тоже имело свою церемониальность. Право начать битву имел только князь, даже если он был малолетним. Летопись так описывает начало битвы с древлянами, которую открывает малолетний князь Святослав Игоревич: «А сънемъшемася обема полкома на скупь, суну копьемъ Святославъ на деревляны, и копье летѣ сквозѣ уши коневѣ».

Поэтому, когда Игорь говорит: «Хочу бо копие приломити конецъ поля Половецкаго», он выражает этим желание сразиться с половцами.

К метонимиям относятся выражения «стоят стязи», «понижите стязи свои», «пали стязи». Стяг — это знак войска, знак войсковой единицы (нам не совсем ясно сейчас, какая войсковая единица имела право иметь собственный стяг, сколько у князей было стягов и какое войско эти стяги собирали, «стягивали» собой). Ясно, однако, что под стягами часто разумелось войско, обладавшее стягом. Поэтому падение стягов означало поражение, «понижение» стяга — сдачу. Поставить стяг означало собирать войско и пр. Развитие этого образа-метонимии — заявление автора «Слова», что у князей Рюрика и Давыда «рѣзно», то есть в разные стороны, развеваются знамена. Значение этого заявления вполне ясно: князья устремляются в разные стороны, и соответственно у них полотнища развеваются по направлению, откуда они едут, но не по направлению ветра.

Выражение «но розно ся им хоботы пашут» в других древнерусских текстах не встречается, но оно вполне в духе древнерусских представлений о стягах и их метонимическом значении.

К метонимиям относится и выражение «трубы трубят», то есть происходит сбор войска трубными звуками: «Трубы трубятъ въ Новѣградѣ».

К числу метонимий принадлежат выражения «отворить ворота» (взять город приступом или подчинить его себе), «затворить ворота» — не пустить кого-либо. И многое другое.

Возникает вопрос, не означает ли выражение «позвонить кому-либо заутреню в каком-либо княжестве» метонимию признания кого-либо князем. Ведь в быту заутреню звонили для всех, а не кому-либо в особенности. Поэтому когда в «Слове» говорится о Всеславе: «тому въ Полотьскѣ позвониша заутреню рано у святыя Софеи въ колоколы: а онъ въ Киевѣ звонъ слыша», то это, возможно, означает: «Всеслава в Полоцке признают князем, звонят ему заутреню, а он находился в Киеве в заключении». «Слышат» в «Слове» обычно именно князья на огромные расстояния, и означает это, по-видимому, их осведомленность в делах далеких княжеств — через гонцов или как-либо иначе. Так же точно, как в «Слове», и в летописи князья говорят друг другу из княжества в княжество — и, разумеется, через послов. Упоминания послов, гонцов просто пропускаются, и это создает иллюзию резкого сближения князей между собой. На большом расстоянии из своих княжеств разговаривают друг с другом Игорь и Всеволод, причем Всеволод осведомляет брата, как у него обстоят дела в Курском княжестве. Не следует думать, что Игорь и Всеволод говорят друг с другом, уже съехавшись: Игорь только ждет еще своего милого брата, собирая войска в Новгороде-Северском и в Путивле (в первом городе еще только звучат трубы, а во втором поставлены стяги).

Таким образом, не только сама метонимия, но «метонимический способ мышления» могут считаться характерными для «Слова о полку Игореве». Вместе с тем и метонимия, как и сравнение, ограничена определенными областями, где метонимия допустима и где она традиционна.

Вот почему и в сравнениях, и в метонимиях мы встречаемся с некоторой традиционностью и повторяемостью.

Повторяемость встречается в «Слове» в различных видах. Каждый из этих видов имеет помимо общего эстетического назначения повторяемости еще и частные цели.

Один из наиболее частых видов повторений в «Слове» — это перечисления: «съ черниговскими былями, съ могуты, и съ татраны, и съ шельбиры, и съ топчаки, и съ ревугы, и съ ольбе-ры».

Перечисления встречаются как способ усиления, как способ

гиперболизации. Так, например, перечисление народов, поющих славу Святославу, служит показу широты распространения этой славы: «Ту нѣмци и венецици, ту греци и морава поють славу Святѣславлю»¹.

После первой победы Игорю подносят трофеи — «черлен стяг», «белу хорюговъ», «черлену чолку», и «сребрено стружие». В связи с тем, что все это может быть частями одного предмета, у меня возникала мысль: не значит ли это, что Игорю подносится какой-то один пышный знак — символ власти, на стяге-древке которого могли быть и стружие и чолка? Однако мне не удалось найти в древней литературе ни одного случая такого «описательного разделения» упоминаемого в произведении предмета. О каждом предмете говорится в древнерусских литературных произведениях как о некоей цельности — будь ли то бор, дом, церковь, человек или что-то другое. Только при описании построения храма или специально его драгоценных материалов, из которого он составлен, и предметов искусства, его наполняющих, можно было перечислять их отдельно. Подносимый же предмет мог быть изображен с соответствующими эпитетами, если они необходимы в рассказе только как объекты действия (в приведенном выше примере из «Слова» — как поднесения трофеев). Перечисление различных трофейных предметов встречается и в другом месте «Слова»: «...орѣтьмами, и япончицами, и кожуху начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ». Это перечисление также показывает богатство трофеев.

Повторение тех или иных слов и выражений подчеркивает длительность действия: «бишася день, бишася другый; третьяго дни къ полудню падоша стязи Игоревы». Аналогичным образом автор «Слова» пользуется и словом «уже»: «уже снесеся хула на хвалу; уже тресну нужда на волю; уже врѣжеся дивь на землю».

Повторяемость этих «уже» связана еще с одной особенностью в «Слове» — наличием в нем рефренов. Рефрен не только важен для атмосферы оплакивания происходящего, но и как «стук судьбы», явление частое в музыке и придающее «Слову» своеобразную музыкальную организованность. Собственно, «чистых» рефрена в «Слове» два: «О Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!» и «А Игорева храбраго плѣку не крѣсити!» Мне уже приходилось писать по поводу последнего рефрена, что выражение «не кресити» несколько раз употребляется и в летописи, как формула отказа от родовой мести.

Рефрены в «Слове» носят характер некоторого примирения

¹ Указательное местоимение «ту» встречается и в других перечислениях в «Слове»: «ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручати». Прямая цель этого перечисления — подчеркнуть ожесточенность наступающей битвы.

с судьбой, констатации безвозвратности совершившегося или носят церемониальный характер.

Дважды в «Слове» говорится о дружине: «ищучи себѣ чти, а князю славъ». Это церемониальная фраза. Различие между честью и славой в том, что «слава» кроме чести дает еще и известность — известность на Руси и за ее пределами. Славы может достигнуть только князь, чье имя становится известным и способно даже вызывать страх, как вызывали в других произведениях страх имя Владимира Мономаха или Александра Невского. Дружина не может стать далеко известной по именам, поэтому на ее долю приходится только честь, которую, кстати, могут получать и князья¹. Поэтому рефрен этот своего рода церемониальное объяснение храброго поведения дружины.

Но помимо явных рефренов в «Слове» есть как бы и скрытые рефрены, заключающиеся в повторении образов, а иногда и отдельных слов: «*Были вѣчи Трояни, минула лѣта Ярославля; были плѣци Ольговы, Ольга Святѣславлича*». Повторения, сопряженные с разъяснениями, создают ощущение неторопливости рассказа, подчеркивают длительность происходящего. Как изобразительный способ длительности времени ожидания Игорем бегства может быть понято и следующее перечисление изменений в состоянии Игоря: «Погасоша вечеру зори. Игорь спить, Игорь бдить, Игорь мыслию поля мѣрить отъ великаго Дону до малаго Донца». Повторение «Игорь» (трижды) создает то же впечатление сосредоточенности действия в Игоре, длительных переходов времени, сопряженного с ожиданием.

В качестве одного из видов повторений могут рассматриваться и идущие подряд одинаковые синтаксические конструкции — особенно короткие: «земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають»; «вѣстала обида въ силахъ Дажьбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, всплескала лебедиными крылы на синѣмъ море...»; «стрежаше е гоголемъ на водѣ, чайцами на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ»; «летать стрѣлы каленыя, гримлють сабли о шеломы, трещать копиа харалужныя». Святослав «своими сильными плѣкы и харалужными мечи» «притопта хлѣми и яругы, взмути рѣкы и озеры, иссуши потоки и болота».

Постоянные эпитеты также являются элементом «поэтики повторения». Так, например, кони в «Слове» имеют эпитет борзый, чем подчеркивается главное достоинство боевого коня — его быстрота. «...А всядемъ, братие, на свои *бръззыя комони*», — говорит Игорь перед походом. К своему брату Всеволоду Игорь

¹ Иного мнения (более строгого разграничения и противопоставления чести и славы) придерживается Ю. М. Лотман. См.: Лотман Ю. М. Об оппозиции честь — слава в светских текстах Киевского периода. — Учен. зап. Таргуск. ун-та, 1971, вып. 284, с. 464—466.

обращается: «Съдлай, брате, свои *бръззы комони*». Когда Игорь бежит из плена, снова говорится о борзых конях: «А Игорь князь... вѣврѣжесе на *бръзъ комонь*», Игорь с Овлуром загнали («претръгоста») своя *бръзая комоня*. Этот эпитет коня постоянен и в других древнерусских произведениях: в русском переводе Хроники Георгия Амартола, в Ипатьевской летописи, в «Девгениевом Деянии», Хронике Малалы, Великих Минеях и пр.¹

Эпитет «злат» по отношению к княжескому стремени встречается в «Слове» трижды: «вѣступи Игорь князь въ златъ стремянь», «ступаетъ (Олег Святославич) въ златъ стремянь», «Вступита, господина, въ злата стремянь...»

Трижды автор «Слова» называет Игоря Святославича «бум», и каждый раз в связи с упоминанием его ран: «Вступита, господина (Рюрик и Давыд), въ злата стремянь за обиду сего времени, за землю Рускую, за *раны Игоревы, бугею Святъславлича*»; «Стрѣляй, господине (Ярослав Осмомысл), Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за *раны Игоревы, бугею Святъславлича*»; «Загородите (Ингварь и Всеволод и все трое Мстиславичей) полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Рускую, за *раны Игоревы, бугею Святъславлича*». Трижды повторяется одно и то же выражение. Не означает ли связь ран и бугести, что раны Игоря, одна из которых, в левую руку, была получена им при попытке остановить бегство ковуев, — свидетельство его особой храбрости?

Примечательно то, что «постоянные» эпитеты в «Слове» употребляются вовсе не постоянно, а только в тех случаях, когда они осмыслены. «Борзый» конь только тогда «борзъ», когда быстрота его необходима — в выступлении в поход или в бегстве. Боян — «вещий» тогда, когда необходимо подчеркнуть его мудрость, прозорливость, умелость: «Боянъ бо *вѣщий*, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу...»; «Тому (Всеславу) *вѣщей* Боянъ и прѣвое припѣвку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божия не минути», «чи ли вѣспѣти было, *вѣщей* Бояне, Велесовъ вну-че...» (далее пример того, как бы воспел Боян).

Как явление повторяемости можно рассматривать и отдельные случаи частого употребления отдельных слов.

«Слово» постоянно сопрягает и ассоциативно связывает различные явления. Это поэтический прием как бы игры. Связать разные явления помогает постпозитивный союз «бо» со значением «потому что», «так как», и то же слово как усиительно-выделительная частица со сходным значением — «же», «ведь». Ср.: «Уже, княже, туга умъ полонила, — се бо два со-

¹ См.: Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», вып. 1, с. 60—61.

кола слѣтѣста съ отня стола злата», «нѣ нечестно одолѣсте, нечестно бо кровь поганую пролиясте». В последнем случае создается впечатление, что «нечестность одоления» Игорем и Всеволодом происходит от того, что они «нечестно бо кровь поганую» пролили, то есть Игорь и Всеволод осуждаются за их первую победу над половцами.

Не случайно, думается, в «Слове» слово «бо» употреблено 25 раз¹ — это один из основных приемов слияния (скрепления) различных смысловых блоков в единое целое. Повторения есть и в диалогах, когда прославляемый отвечает прославляющему в тех же выражениях. Ср. диалог Донца с Игорем: «Донецъ рече: «Княже Игорю! *Не мало ти величия*, а Кончаку нелюбия, а Руской земли веселиа!» Игорь рече: «О Донче! *Не мало ти величия...*»

Можно отметить и следующую особенность «Слова»: если в современной художественной прозе «глаголы говорения» чрезвычайно разнообразны и, в сущности, любые глаголы человеческих действий могут быть обращены по своему значению в глаголы говорения (например, со словами прямой речи можно не только «обратиться», но также «обернуться», «прервать», «засмеяться», «улыбнуться» и т. д.), то в «Слове» и в Древней Руси даже ритуал плача, который во всех случаях требовал слов или пения, сопровождается обозначением «а ркучи» или «аркучи» (какая из этих форм правильнее, не установлено): «Жены руския въсплакашась, аркучи» (далее идут слова плача); «Ярославна рано плачетъ въ Путивль на забралъ, аркучи» (далее слова плача). Последняя форма введения слов повторена в «Слове» трижды.

Наконец, следует упомянуть и о ситуационных повторениях. Эти ситуационные повторения вызваны, с одной стороны, тем, что только некоторые явления жизни считались эстетически ценными (война, охота, земледелие и пр.), о чем мы уже говорили выше, а с другой — древнерусским ритуалом, который сопровождалось то или иное событие.

Обращает на себя внимание в «Слове» и значение «берега» или «брега» как места ритуальных действий, оплакиваний, ритуальных пений. Ср.: «темнѣ *брезѣ* плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ»; «се бо готьскыя красныя дѣвы въспѣша на *брезѣ* синему морю»; «Немизѣ кровави *брезѣ* не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костыми рускихъ сыновъ». Возможно, что и место разлуки Игоря со Всеволодом, происходящей «на *брезѣ* быстрой Каялы», тоже имеет ритуальное значение, в связи с чем повышается уровень возможности признать

¹ Виноградова В. Л. Словарь-справочник «Слова о полку Игореве», вып. 1, с. 51—54.

название реки Каялы символическим, как реки «каяния», «плача», горести¹.

Простое упоминание берега без связи с определенными значительными событиями и не как места поминаний и ритуалов имеется в рассказе о бегстве Игоря: «О Донче! не мало ти величия, лелѣяшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ сребреныхъ брезѣхъ». Возможно, что берег подразумевается в конце «Слова», где говорится о пении дев славы Игорю: «Дѣвицы поють на Дунаи — вьются голоси чрезь море до Киева».

Знаменательно, что в летописи мне не встретилось употребление «берега» как места какого-то ритуала — очевидно, языческого и потому именно встречающегося в полужыческом «Слове о полку Игореве».

В самом построении «Слова», в его композиции, есть признаки повторений. Так, например, «Слово» постоянно переходит от темы к теме, от настоящего к прошлому, от общегосударственного к личному. Ритм этих переходов создает как бы поддержки в повествовании. Автор как бы не может рассказать о поражении Игоря. Он переходит к прошлому — к событиям, близким по характеру, призванным объяснить печальное настоящее. Обращаясь к отдельным живущим князьям, автор «Слова» делает это по определенной схеме, напоминая им о прошлом и об их возможностях. Эти обращения кажутся от этого тоже как бы введенными в определенный ритм повторений. Ярославна молит природу (ветер, Днепр, солнце) помочь Игорю, и в ответ Игорь возвращается на Русь. Ему помогают реки. Реки стерегут его «чрънядьми на ветрѣхъ». «Солнце свѣтитя на небесѣ — Игорь князь въ Руской земли». Возвращение Игоря — как бы ответ на мольбу Ярославны, на ее обращение к ветру, Днепру, к солнцу. Этот ответ не прямой — как бы завуалированный. Аналогичным образом повторы в «Слове» не всегда ясно различимы. Многие только ощутимы, даны в намеках. Тем сильнее их поэтическое воздействие.

Учитывать повторяемость образов и выражений в «Слове» необходимо постоянно, особенно когда дело идет о внесении в текст «Слова» поправок. Из всех предложенных исправлений следующего места «Слова» (цитирую по первому изданию): «... а самъ подѣ чрълеными щиты на кровавъ травѣ притрепанѣ литовскими мечи. И схоти ю на кровать, и рек: дружину твою, княже, птицѣ крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша», как кажется, наиболее вероятно следующее исправление: «а самъ (Изяслав Василькович) подѣ чрълеными щиты на кровавъ

¹ См. именно такое толкование Каялы в работе: Дмитриев в Л. А. Глагол «каяти» и река Каяла в «Слове о полку Игореве». — ТОДРЛ. М.—Л., 1953, т. 9, с. 36.

травѣ притрепанѣ литовскими мечи и с хотию на кров, а тѣи рекъ: «Дружину твою, княже, птиць крылы приодѣ, а звѣри кровь полизаша». Хоть — это княжеский любимый певец. Это название любимого княжеского певца встречается еще раз ниже, где говорится о Бояне (а возможно, не только о Бояне, но и другом певце — предполагаемом Ходыне). Боян назван там хотем князя Олега: «Рекъ Боянъ и Ходына, Святѣславля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти: «Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы — Руской земли безъ Игоря». Тут снова песнотворец-хоть выступает в роли мудреца, произносящего свой суд над свершившимся. Еще одно повторение в этом месте «Слова» — это смерть на траве, на кровавой, на крови, смерть от ран — плавание в крови. Предлагаемое исправление выдержано в художественной системе «Слова»: Изяслав Василькович погибает, притрепанный мечами на кровавой траве, вместе со своим певцом, и тот произносит умирающему князю свой приговор — в типичной для певцов афористической форме. Исправление включает в себе элементы типичных для «Слова» повторений.

«Предчувствия» исторических событий играют роль своеобразных «ситуационных антиповторов» — перевернутых ситуационных повторений. Если в «Слове» события настоящего имеют как бы прототипы в прошлом, то прототипы будущих событий — это их предчувствия в настоящем. Это как бы тени, отбрасываемые событиями будущего в настоящем... Следует указать на большую роль, которую играют в «Слове» предчувствия — прямо или косвенно выраженные. Прямо выражены предчувствия событий в таких фразах, как: «быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону Великаго» (замечательно, кстати, это повторение слова «великий»: «грому великому» и «Дону Великаго»).

Приметы неоднократно используются в «Слове» в художественных целях. Они создают напряженность ожидания. Мутное течение реки — очевидное предчувствие несчастья. «Земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають, стязи глаголютъ: половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ, рускыя плѣкы оступиша». Перед битвой реки мутно текутъ, и это не только потому, что они замутнены переходящими вброд вражескими конями или отдаленным ливнем, но потому, что представляют образ надвигающегося несчастья. Прямой угрозой полно мутное течение рек: «Сула не течетъ серебренными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганныхъ».

Благодаря приметам события воспринимаются в «Слове»

как сбывшиеся предчувствия, как нечто предвиденное и предсказанное, как нечто значительное. Эта значительность исторических событий выражена через разнообразные ряды повторов, которые создают впечатление какой-то предопределенности происходящего. Разнообразные повторы в «Слове о полку Игореве» образуют различные микроритмы, связывающие в единое целое все многообразие его тем. Повторы вторгаются в смысл произведения. События похода Игоря удивительно умело вплетены в ход всей истории Руси именно благодаря этим связующим нитям малых ритмов, повторений и, конечно, предчувствий.

В «Слове» очень часто повторяется наречие «уже»; «уже бо бѣды его пасеть птицѣ по дубию»; «уже дѣски безъ кнѣса»; «О Руская земле! уже за шеломянемъ еси» (дважды); «уже снесеся...»; «уже, княже, туга умъ полонила»; «нѣ уже, княже Игорю»; «уже бо Сула», «уже понизите стязи свои» и т. п. Случайно ли это слово? Мне кажется, что в этом «уже» указывается на то, что событие предвиделось ранее, как бы созрело для своего осуществления. Произошло то, чего следовало ожидать. Все действие «Слова» втянуто в течение поэтической судьбы, поэтического предвидения и тем создается особое настроение — «исторической лирики», русская история воспринимается лирически. Каждое из этих «уже» связано с какими-то печальными событиями, возникает ощущение какой-то обреченности, неизбежности и значительности совершающегося.

Мы уже писали, что в «Слове» преобладают описания действий над описаниями неподвижных состояний. Добавим к этому, что если в «Слове» попадают описания состояний, то как результатов действий. Святослав Киевский видит во сне свой «терем без кнеса». Что это: особый терем, построенный без кнеса, чудесным образом отсутствующий кнес в нерушимом тереме или терем поврежден? Думаю, что перед нами последнее. Свидетельством тому служит это «уже»: «Уже дѣски безъ кнѣса». Раньше он не был без кнеса. И это согласно «Слову о князех» того же времени служит знаком близящейся смерти: «единою рассѣдѣся верхъ теремцю» и через этот расседшийся верх в терем влетает голубь за душою. Эта параллель к «Слову» обычно не указывалась исследователями, а привлекался фольклорный и этнографический материал. Однако показания «Слова о князех» особенно важны тем, что это произведение того же времени имеет и другие сходства со «Словом о полку Игореве» и подчинено той же идее единения русских князей перед лицом внешней опасности. Речь идет о смерти черниговского князя Давида Святославича, не ссорившегося с другими князьями, а потому удостоенного праведной смерти. Вот этот рассказ о смерти Давида Черниговского: «Въ велицѣ тишинѣ бысть

княжение его. Егда же изволи богъ пояти душу его отъ тѣла и болевшу ему недолго, позна епископъ Фектисть, яко уже князь преставится хоцеть, повѣлѣ пѣти канунъ крѣсту, единою расцѣдися верхъ теремцю, и вси ужасошася. И влетѣ голубъ бѣлъ, и сѣде ему на грудехъ. И князь душу испусти, голубъ же невидимъ бысть»¹.

Итак, повторения в «Слове» (и в том числе предчувствия — своеобразные «антиповторы», перевернутые повторения) имеют не только ритмическое значение. В «Слове» они играют и большую роль для создания особого настроения исторической значительности, неслучайности происходящего. Это в какой-то мере связывает прошлое, настоящее и будущее. В самом деле, когда по несколько раз повторяется с одинаковыми промежутками то или иное местоимение, этим указывается, что явления эти все соединены между собой, имеют роковой характер, предопределены.

Автор «Слова», говоря о событиях русской истории, неизменно ощущает их как роковые. Дважды он прямо говорит о «суде божьем».

И это не просто покорность судьбе, року, вершащему человеческую историю. Через все «Слово» проходит идея борьбы людей с обрушивающимися на них несчастьями. Войско Игоря терпит поражение, но в конце концов он бежит из плена, появляется в Киеве, и люди ему рады.

Забегание вперед путем предчувствий в «Слове» — явление чисто художественное. Оно не может быть связано с сознательно выраженным мировоззрением. Если гибель Анны Карениной «предсказана» в сне, который она видит, то из этого одного никак нельзя вывести заключения, что Л. Толстой «верит в сны». Читатель, особенно читатель лирических произведений, должен получать в чтении ощущение, что будущее предопределено, настоящее — это свершение каких-то предшествующих ему событий и законов, а прошлое непосредственно связано с настоящим. Связать все три времени: прошлое, настоящее и будущее в единый поток — одна из художественных задач лирики «Слова».

У автора же отношение к предчувствиям почти такое же, как и к древнерусскому язычеству: язычество переведено у него в эстетический план. В эстетическом ракурсе предстоит перед ним и его «лирика предчувствий».

Подобно тому как язычество перешло в «Слове» в аспект художественный, предчувствие поражения тех или иных событий в «Слове» также выступает не как явление мистического мировосприятия, а как чисто художественное явление. Предчувст-

¹ Памятники литературы Древней Руси: XII век, с. 340.

вие в «Слове» соседствует с ощущением чего-то сбывшегося, с сознанием неизбежности случившегося, предопределенности произошедшего.

Роковой характер событий подчеркивает и вещий сон Святослава.

В повторяемости один из секретов завораживающей силы «Слова о полку Игореве». Сложные сплетения и переплетения различных повторений составляют различные ритмы «Слова». Ритмичность «Слова» не может быть вскрыта на одном каком-то уровне. Она идет в самых неуловимых и трудно осознаваемых сферах — от чисто звуковых до чисто смысловых, от коротких повторов внутри одного предложения до повторов, разделенных большими расстояниями. И при этом ритмы «Слова» не замкнуты в себе, в одной только собственной ткани произведения. Они раздвигают рамки произведения, связывая его с традициями культуры, с ритмами труда, войны и охоты, с ритмами русской истории. Последнее — ритмы истории, эстетическая данность истории — должно составить предмет особого рассмотрения, рассмотрения необходимого, ибо без этого невозможно до конца понять самую суть поэзии «Слова».

ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ О ДИАЛОГИЧЕСКОМ СТРОЕНИИ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

Внимание мое давно обратило на себя своеобразное маятниковое движение темы в «Слове о полку Игореве». Вслед за упоминанием или рассказом об одном географическом пункте в действие вводится географический пункт на противоположном конце Руси; за общим размышлением — конкретный факт и наоборот; вслед за событием — лирический вздох, вслед за современной автору «Слова» действительностью — обращение к истории и т. д. Я всегда объяснял это широтой художественного восприятия и монументализмом формы «Слова», присущими его эпохе. И от этого я не отказываюсь и сейчас. Стил^ь, к которому принадлежит «Слово», — стил^ь исторического монументализма или монументального историзма (можно сказать и так и так). В XI—XIII веках он сказывается и в летописях, и в поучениях, и в житиях святых, и в исторических повестях. Он имеет себе аналогии в живописи, в зодчестве, в политической мысли. Отголоски его сохранились в былинах на сюжеты, связанные с Киевом. Для этого стил^я характерно «широкое видение», вовлечение в действие больших пространств, постоянный перенос действия из одного пункта страны в другой и т. д.

Однако вот что обращает на себя внимание именно в «Слове»: бинарность, как бы два удара, смысловых, фразовых, логических... Если бы переходы в «Слове» от одной темы к другой объяснялись ассоциативным характером художественного мышления автора только под воздействием господствующего монументализма и широты художественного видения, то почему только «два удара» или четное их число: как бы вопрос и ответ, как бы факт и обобщение, как бы обобщение и факт... Там, где мы видим большее скопление «ассоциаций», — число их четное, и мы можем их расположить снова по два. Только в са-

мом конце «Слова о полку Игореве» два удара, как мы покажем, сливаются в один сильный.

В ряде случаев автор говорит о себе во множественном числе, как бы рассчитывая заранее на исполнение своего произведения несколькими исполнителями: «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие...», «Почнемъ же, братие...». Характерно, что множественное или двойственное число (оба числа в XII в. уже смешивались) употребляется тогда, когда речь идет об исполнении. Когда же говорится о восприятии, тогда выступает певец от своего имени: «Что ми шумить, что ми звенить»; это субъективное восприятие одного исполнителя.

Правда, первое лицо множественного числа могло относиться и к одному исполнителю, объединяющему себя с аудиторией, тем более что автор называет себя также и в единственном числе — «внуком» Бояна (хотя «внук Бояна» может быть истолкован, как мы увидим в дальнейшем, и иначе — в качестве одного из исполнителей). Но, с другой стороны, особый автор, изображенный в «Слове о полку Игореве», — сочинитель «Золотого слова» Святослав — говорит о себе в своем «слове» только в единственном числе. Предшественники же автора «Слова о полку Игореве» — Боян и Ходына (конъектура, свидетельствующая, что певцов — двое, предполагаю, верна) говорят о себе в двойственном числе («Святъславля пѣснотворца... Ольгова коганя хоти»).

Возникает вопрос: не рассчитано ли было «Слово о полку Игореве» на двух исполнителей, на амебейное исполнение?

В самом деле, «Слово» исполняется как бы двумя певцами. Второй развивает мысль первого, его факт, его образ, вводит иногда свое толкование или аналогию через союз «а» — присоединительный, начинательный, обособительный, разделительный, противительный: «а половци неготовами дорогами побѣгоша», «а не сороки втроскоташа», «а храбрии русици преградиша чрълеными щиты» и пр., или союзом или местоимением «то», наречием «тогда», наречием «тут» и пр. Но бывает, что второй певец подхватывает и развивает мысль первого безо всякого переходного слова. В некоторых местах «Слова» мы ясно видим, что второй певец продолжает свою перед тем высказанную мысль, как бы перебивая первого певца, заставляя песнь вернуться к старой, уже высказанной мысли. Отсюда многочисленные повторения в «Слове», создающие его своеобразный ритм: ритм не только слов, но и ритм мыслей и образов.

В своем замечательном, к сожалению, обратившем на себя мало внимания литературоведов, музыковедческом труде «Песнь о полку Игореве». Опыт воссоздания модели древнего мелоса» (М., 1977) Л. В. Кулаковский непреложно установил

путем тщательного исследования и сопоставления с народными песенными произведениями, что «Слово» по своей форме близко к народному песенному мелосу чрезвычайным разнообразием метrorитмики, характером изложения, наличием «перебоев» и т. д. Далее Л. В. Кулаковский отмечает, что при всем единстве музыкального замысла «Слова», указывающего на одного автора, в тексте «Слова» ясно ощущается наличие «второго певца» (с. 31), «возможное участие двух и более певцов», входившее, очевидно, в музыкально-словесный замысел автора. Не приводя полностью всю пространную и хорошо аргументированную концепцию автора, укажу лишь на некоторые примеры, где «двоичность» и «двуэпизодность» «Слова» подчеркнута Л. В. Кулаковским особенно энергично. Эта двоичность «Слова» выступает, по Л. В. Кулаковскому, наиболее отчетливо в выделяемых им «микроэпизодах» «Слова». Если в общей структуре произведения может быть выделен принцип троичности, тройного построения, то в микроэпизодах двоичность выступает отчетливее.

Л. В. Кулаковский пишет: «Тройное» построение, действительно, типично, скажем, для заклинаний; в «микромасштабах» оно дает себя знать в частой трехсложности русских слов, в распространенности тридольного деления, трехдольности размеров. В максимально широком развитии этот принцип, действительно, проявился в общем разделении рапсодии (так Л. В. Кулаковский называет в данном случае «Слово». — Д. Л.) на три резко контрастирующие части. Всем этим примерам можно, однако, противопоставить и частое «двоичное» деление, тоже имеющее свои глубокие корни. В микромасштабах — это двудольность ходьбы, дыхания, сказывающаяся на частых случаях двудольных метров. В немного более крупном масштабе «двоичность» построения обусловлена, например, принципом «психологического параллелизма», таким важным в народном песенном творчестве, в частности, русском и украинском: принципом сопоставления образного, символического тезиса — с разъясняющим его вторым построением. Дыхание этого народного принципа художественного мышления явственно ощущается в ряде мест «Песни о полку Игореве». Принцип этот, заметим, дает гораздо более органическую связь частей, чем принцип трехчастного построения, продиктованного мистическим правилом троичности заклинаний. В самом широком по масштабу проявлении принцип этот можно усмотреть в вещем сне Святослава и последующем разъяснении этого сна боярами. В более скромных масштабах этот принцип сопоставления образного тезиса с немедленным разъяснением его можно обнаружить в нескольких местах рапсодии, начиная уже с «Большого зачина», где поэт говорит о десяти соколах, пущенных на стадо ле-

бедей, а в конце — разъясняет, что речь шла о 10 пальцах на золотых струнах. Часто «двудольность» изложения возникает и в перечислениях, и в двойном расчленении фразы: «Ту ся копием приламיתי... Ту ся саблям потручати»; «Хочу бо, рече, копие свое приломिति... хощу главу свою приложити». Яркое «двоичное» и все случаи двустрофности» (с. 107). Достаточно длинная цитата из книги Л. В. Кулаковского далеко не исчерпывает всех тех примеров двоичности в построении «Слова», которые выявлены внимательным наблюдением Л. В. Кулаковского.

Отличие моего понимания строения «Слова» от понимания его Л. В. Кулаковским заключается в том, что я исключаю из «Слова» все предположения о том, что «Слово» могло исполняться больше чем двумя певцами, и в дополнительном, как мне представляется, важном наблюдении, что эти два певца противопоставлены друг другу по отношению к событиям, о которых в «Слове» идет речь. Два певца сменяют друг друга, по моему мнению, не потому, что исполнение одним певцом было бы слишком утомительным, а потому, что автор «Слова» (он несомненно один, и в этом я целиком согласен с Л. В. Кулаковским) распределил как бы роли между двумя певцами. Один сообщает — другой толкует, один рассказывает — другой выражает свои эмоции по поводу рассказанного.

Попытаемся прочесть «Слово» именно в таком аспекте. Заранее должен оговориться, что деление текста «Слова» между двумя певцами разного типа дается сугубо предположительно. Предположительна и вся концепция о диалогическом строении «Слова». Она не более чем догадка.

Разделим текст «Слова» между двумя различными певцами. Первый певец поет: «Не лѣпо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстий о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича». Вопросы в конце этой фразы нет: есть утверждение, что начинать «трудные» повести о походе Игоря «лепо» «старыми словесы».

Итак, первый певец предлагает исполнять песнь «старыми словами», в традиционной манере.

Второй певец возражает. Он предлагает петь по «былинам сего времени», то есть в согласии с тем, как события произошли: «Начати же ся тѣмъ пѣснь по былинамъ сего времени, а не по замышлению Бояню!» Второй певец — сторонник фактического рассказа, «по былинамъ сего времени», а не в старомодной, пышной манере Бояна.

Первый певец, сторонник Бояна, объясняет: «Боянъ бо вѣдѣи, аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашеться мыслию по древу, сѣрымъ вѣлкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы». Первый певец настаивает на пении в духе Бояна, и об

этом свидетельствует частица «бо»: она может относиться только к первой фразе и напоминает далее, что Боян имел не только превыспреннюю манеру, но мог петь и по былинам своего времени: «Помняшеть бо, рече, първыхъ временъ усобицѣ. Тогда пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедѣй: который дотечаше, та преди пѣснь пояше — старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редеду предъ пѣлки касожьскими, красному Романови Святъславличю».

Тут второй певец снова спорит со своим напарником: не соколы налетали на лебедей, а Боян персты воскладал на струны, и те рокотали славу: «Боянъ же, братие, не 10 соколовъ на стадо лебедѣй пущаше, нѣ своя вѣщиа прѣсты на живая струны въскладаше, они же сами княземъ славу рокотаху». Обычно это место толкуется так, что сами струны рокотали славу. Мне представляется более правильным толковать это в реальном духе: персты, а не лебеди рокотали славу князьям.

Первый певец продолжает спор: он снова предлагает петь в широкой манере — от старого Ярослава и старого Владимира до нынешнего Игоря — и демонстрирует эту старую манеру Бояна: «Почнемъ же, братие, повѣсть сию отъ стараго Владимира до нынѣшняго Игоря, иже истягну умъ крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ; наплънивися ратнаго духа, наведе своя храбрыя плѣкы на землю Половѣцкую за землю Рускую». Место это обычно понималось так, что рассказ будет идти начиная от старого Владимира I до нынешнего Игоря. И к тому есть некоторое основание, ибо «Слово» постоянно возвращается к глубокой истории. Но если понимать «Слово» как песнь, которую поют два певца, как бы поправляющие друг друга, то место это означает своего рода сближение времен автора и старых событий времен Владимира I.

Условный спор на этом не заканчивается, но только откладывается. Второй певец, певец-рассказчик (более реально настроенный), приступает петь «по былинам сего времени» про поход Игоря:

«Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ него тьмою вся своя воя прикрыты. И рече Игорь къ дружинѣ своей: «Братие и дружино! Луце жѣ бы потяту быти, неже полонену быти; а всядемъ, братие, на свои брѣзья комони да позримъ синего Дону». Спала князю умъ похоти и жалость ему знамение заступи искусити Дону великаго. «Хощу бо,— рече,— копие приломити конецъ поля Половецкаго; съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону».

Певец, который хотел петь в манере Бояна, снова возвращается к Бояну и демонстрирует его выпреннюю манеру: «О Боя-

не, соловию стараго времени! Абы ты сиа плѣкы ущекоталъ, скача, славлю, по мыслену древу, летая умомъ подѣ облакы, свивая славы оба полы сего времени, рища въ тропу Трояню чресь поля на горы. Пѣти было пѣснь Игореву, того внуку (т. е. как бы начал петь автор «Слова», если бы он был внуком, учеником Бояна): «Не буря соколы занее чресь поля широкая — галици стады бѣжать къ Дону великому». Чи ли въспѣти было, вѣщей Бояне, Велесов внуче: «Комони ржуть за Сулою — звенить слава въ Киевѣ; трубы трубятъ въ Новѣградѣ — стоять стязи въ Путивлѣ!»

Так начал бы петь про поход Игоря Боян. Певец, предлагавший петь «по былинам сего времени» (будем называть его «певец-рассказчик»), продолжает свой более простой рассказ, повторяя и разъясняя сказанное певцом-архаистом: «Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И рече ему буй туръ Всеволодъ: «Одинъ братъ, одинъ свѣтъ свѣтлый — ты, Игорю! оба есвѣ Святъславличя! Сѣдлай, брате, свои брѣзны комони, а мои ти готови, осѣдлани у Курьска напередѣ».

Возможно, что следующие слова принадлежат снова первому певцу — стороннику превыспренней Бояновой манеры: «А мои ти куряни свѣдоми къмети: подѣ трубами повити, подѣ шеломы възлелѣяни, конецъ копия въскрьмлени, пути имѣ вѣдоми, яругы имѣ знаеми, луци у них напряжени, тули отворени, сабли изѣострени; сами скачють, акы сѣрыи влѣци въ полѣ, ищучи себѣ чти, а князю славу». Слова эти больше соответствуют манере певца-архаиста, сторонника Бояна. Характерно, что автор «Слова» создает воображаемый диалог между Игорем и Всеволодом, разделенными большим расстоянием: один говорит в Новгороде-Северском, а другой отвечает ему у Курска. Диалоги постоянно вплетаются в текст «Слова»: это диалогическая стихия «Слова».

Затем второй певец, певец-рассказчик, придерживающийся «былин сего времени», продолжает: «Тогда вѣступи Игорь князь въ златѣ стремянь и поѣха по чистому полю. Солнце ему тѣмою путь заступае; ношь стонуци ему грозою птичь убуди; свистъ звѣринъ вѣста, збися Дивъ — кличетъ врѣху древа, велитъ послушати земли незнаемѣ, Влѣзѣ, и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню, и тебѣ, Тьмутороканьскыи блѣванѣ! А половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому: крычатъ тѣлѣгы полунощи, рци, лебеди роспужени». Где-то посередине приведенного пассажа второй певец передает исполнение первому — стороннику манеры Бояна. У этого первого певца, очевидно, появляется и Див, а кроме того — лебеди, о которых он пел уже раньше, изображая манеру Бояна. Второй певец спорит с ним (откуда «рци», т. е. ты бы сказал и о скрипе телег, что это поют лебеди). Это насмешка.

Певец-рассказчик снова возвращает повествование «на землю»: «Игорь къ Дону вои ведеть! Уже бо бѣды его пасеть птицъ по дубию; вѣдци грозу въсрожать по яругамъ; орли клетомъ на кости звѣри зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты».

То ли первому певцу одному, то ли двум певцам вместе принадлежит в дальнейшем лирический вздох: «О Руская землѣ! Уже за шеломянемъ еси!»

И опять вступает голос певца-рассказчика: «Длѣго ночь мръкнетъ. Заря свѣтъ запала, мѣгла поля покрыла. Щекотъ славий успе; говоръ галичъ убуди».

Певец, верный пафосной манере Бояна, комментирует: «Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю — славы».

Снова поет певец-рассказчик: «Съ зарания въ пятокъ потопаша поганая плѣкы половецкыя и рассушья стрѣлами по полю, помчаша красныя дѣвки половецкыя, а съ ними злато, и паволоки, и драгыя оксамиты. Орьтмами и япончицами, и кожухы начаша мосты мостити по болотомъ и грязивымъ мѣстомъ, и всякими узорочьи половецкыми».

В духе Бояна, близко к своему предшествующему «перечислительному» описанию достоинств «сведомых кметей» — курян и прославлению князя первый певец подхватывает: «Чрълень стягъ, бѣла хорюговъ, чрълена чолка, сребрено стружие — храброму Святъславличю!»

Еще один отрывок начинает певец-архаист, а «разъясняет» певец-рассказчик. Певец-архаист поет: «Другаго дни велми рано кровавыя зори свѣтъ повѣдаютъ; чръныя тучя съ моря идуть, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещутъ синии мльнии. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами съ Дону великаго!» Эту аллегорическую картину певец-рассказчик разъясняет: «Ту ся копиемъ приламатѣ, ту ся саблямъ потручатѣ о шеломахъ половецкыхъ, на рѣцѣхъ на Каялѣхъ, у Дону великаго!»

Затем следует повторение «лирического вздоха» обоих или одного певца: «О Руская землѣ! Уже за шеломянемъ еси!»

Снова певец-архаист продолжает свою тему аллегорического изображения начинающейся битвы (похоже, что он ведет все пение): «Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣють съ моря стрѣлами на храбрыя плѣкы Игоревы. Земля тутнетъ, рѣкы мутно текутъ, пороси поля прикрывають».

Певец-рассказчик разъясняет: «Стязи глаголютъ: половци идуть отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ Рускыя плѣкы оступиша» — и повторяет свой рефрен (каждый певец, как правило, повторяет свой текст и никогда не повторяет текст друго-

го певца): «Дѣти бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбрии русици преградиша чрълеными щиты» (ср. выше: «Русичи великая поля чрълеными щиты прегородиша, ищучи себѣ чти, а князю — славы»).

Снова вступает второй певец — певец-рассказчик. Он поет «по былинам сего времени»: «Яръ туре Всеволодѣ! Стоиши на борони, прыщещи на вои стрѣлами, гремлеши о шеломи мечи харалужными! Камо, турѣ, поскочаеши, своимъ златымъ шеломомъ посвѣчивая, тамо лежать поганья головы половецкыя. Поскепаны саблями калеными шеломи оварьскыя отъ тебе, яръ туре Всеволоде!»

Поэт-архаист, склонный к широким природным, историческим или нравоучительным обобщениям, так развивает тему беззаветной смелости Всеволода: «Кая раны дорога, братие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня злата стола, и своя милыя хоти, красныя Глѣбовны свычая и обычая?»

Обобщение это, вернее, психологическое наблюдение встречается и в других памятниках литературы Киевской Руси. Это свидетельствует о том, что перед нами в лице поэта-архаиста и, может быть, его предшественника Бояна представлен не просто поэт-язычник. Он пользуется старой языческой образной системой не потому, что верит в нее, а потому, что она является системой художественного обобщения и помогает ему художественно познавать мир.

Поэт-архаист обращается к аналогиям из мира природы так же, как он обращается к аналогиям из области русской истории, при этом обнаруживая свои знания Начальной летописи в новгородской ее редакции¹.

Следующий большой отрывок опять-таки принадлежит поэту-архаисту, который ищет аналогии в русской истории (во времена Трояна, Ярослава, Олега Святославича). Отрывок начинается со слов «Были вѣчи Трояни» и заканчивается описанием опустошения Русской земли при Олеге Гориславличе. В этом отрывке характерно постоянное напоминание о том, что речь идет о других князьях и о других событиях: «Тѣй бо Олегъ», «Съ тоя же Каялы», «Тогда, при Олѣѣ Гориславличи...», «Тогда по Руской земли...»

Поэт-рассказчик, собиравшийся петь «по былинам сего времени», как бы споря с первым певцом, возвращает повествование к нынешним событиям, к «былинам сего времени»: «То было въ ты рати и въ ты плѣкы, а сицей рати не слышано!» И далее

¹ Об этом см. в моей работе «Летописный свод Игоря Святославича и «Слово о полку Игореве». — В кн.: Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд. М., 1985.

не менее пространно, чем певец-архаист, певец-рассказчик повествует о битве Игоря.

В противоположность повторениям «тѣй», «тогда», которые мы видели в предшествующем историческом отрывке, здесь певец-рассказчик повторяет: «ту», «ту», «ту». Впрочем, сравнение битвы с пиром, со свадебным пиром и поиски аналогий в природе: «ничить трава жалощами, а древо с тугою къ земли преклонилось» — могли принадлежать любому из двух певцов. Здесь поэт-рассказчик (если это действительно он) смыкается с певцом-архаистом, который в своем дальнейшем обращении к событиям современности, вслед за певцом-рассказчиком, уже плотно соединяет их с явлениями природы и язычества: «Уже бо, братие, не веселая година въстала, уже пустыни силу прикрыла. Въстала обида въ силахъ Дажьбожа внука».

Я не привожу дальнейшего текста вплоть до рассказа о сне Святослава. Этот текст может быть по-разному распределен между двумя певцами. Доля первого певца — сторонника Бояновой традиции — в этом тексте очень велика: здесь встречается много языческих представлений, образов в характерной для певца-архаиста манере отвлеченно передавать события.

Последующее повествование продолжает парное построение, но различить, где первый певец и где второй, очень трудно. Парность построения выявляется тем, что отдельных смысловых единиц в повествовании всегда четное число: «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чръный воронъ, поганый половчине! Гзакъ бежитъ сѣрымъ влъкомъ, Кончакъ ему слѣдъ править къ Дону великому».

Следующий отрывок снова делится на четное число смысловых единиц, которые могли исполняться певцами как подтягивание голоса одним другому: «Другаго дни велми рано кровавыя зоры свѣтъ повѣдаютъ; чръныя туча съ моря идуть, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии мльнии. Быти грому великому, итти дождю стрѣлами с Дону великаго! Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручати о шеломы половецкыя, на рѣцѣ на Каялѣ, у Дону великаго».

Переход от одного певца к другому мог совершиться и по каждой из указанных единиц и один раз — со слов «Ту ся копиемъ приламати...». Один певец сообщает о движении половцев навстречу русским, а другой предрекает битву. В последних строках заметно, что певец-рассказчик как бы разъясняет, конкретизируя, поэтические образы певца-архаиста.

Не следует представлять себе певца-рассказчика как некоего прагматика, чуждого ощущениям высокой значимости происходящего. Именно он, по-видимому, рассказывает сон Святослава и при этом осознает значительность сна, его пророческий характер. Но все-таки истолкование сна принадлежит поэту-архаисту.

В «Золотом слове» Святослава в каждом из его обращений к русским князьям как бы по солнечному движению определяют-ся две части: одна, описывающая военные возможности князей, а другая, содержащая предложение вступить за Русскую землю.

Мы уже отмечали, что в «Слове» имеются повторения образов и самого способа выражения, рефрены. Этими повторами певец заявляет о своем присутствии, о своей индивидуальности. Певец не повторяет образы или рефрены другого певца. Это было бы и антиэстетично. Он повторяет, как мы уже говорили, только свои образы. Поэтому повторы служат важным признаком для разделения текста «Слова» по певцам.

Напомню текст обращений к русским князьям; этот текст в «Золотом слове» начинается не сразу. Сперва Святослав говорит о себе. Поэтому неясно, относятся ли обращения к «Золотому слову» или это самостоятельная часть, ведущаяся от автора. Как бы то ни было, взглянемся в построение обращений.

Первое обращение: «Великий княже Всеволоде! Не мыслию ти прелетѣти издалеча отня злата стола поблюсти? Ты бо можеши Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти! Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногатъ, а кощей по резанъ. Ты бо можеши посуху живыми шерешеры стрѣляти — удалыми сыны Глѣбовы».

Последняя фраза в этом обращении как бы «отскочила» от первой, где говорится о могуществе Всеволода. Что это — дефект текста или возвращение к первому певцу? Первый певец продолжает свою тему, не слушая товарища? «Ты бо можеши» — повторяет в третьей фразе то, что было в первой и более уместно сразу после нее.

Рассматриваем текст второго обращения: «Ты, буй Рюриче, и Давыде! Не ваю ли вои злачеными шеломы по крови плаваща? Не ваю ли храбрая дружина рыкають, акы тури, ранены саблями калеными на полъ незнаемъ?»

Снова первый певец как бы вопрошает, предполагает, описывая могущество и ярость, «обиду» тех князей, к которым обращается. И снова второй певец призывает выступить за Русскую землю. Запомним те образы и те выражения, в которые облекает свой призыв певец-рассказчик, — это будет важно в дальнейшем: «Вступита, господина, въ злата стремянь за обиду сего

времени, за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъслав-
лича!»

Третье обращение также делится на две части: «Галичкы Ос-
момыслѣ Ярославѣ! Высоко сѣдиши на своемъ златокованнѣмъ
столю, подперъ горы Угорскыи своими желѣзными плѣки, за-
ступивъ королеви путь, затворивъ Дунаю ворота, меча бремены
чрезъ облакы, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землямъ те-
кутъ, отворяеши Киеву врата, стрѣляеши съ отня злата стола
салтани за землями».

Второй певец подхватывает тему стрельбы — куда-то далеко
в противника, находящегося «за землями», и предлагает стре-
лять в более близкого врага, снова повторяя те выражения,
которые употребил в заключении к предшествующему
обращению: «Стрѣлай, господине, Кончака, поганого кощя,
за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъсрави-
ча!»

Напомню то, что я уже сказал: каждый певец повторяет
только свои выражения и образы и не пользуется повторения-
ми из другого.

Четвертое обращение также делится на две части: конста-
тирующую могущество и личные основания князей выступить
против половцев и вторую, содержащую призыв: «А ты, буй Ро-
мане, и Мстиславе! Храбрая мысль носить ваш умъ на дѣло.
Высоко плаваеши на дѣло въ буести, яко соколъ на вѣтрехъ
ширяся, хотя птицю въ буйствѣ одолѣти. Суть бо у ваю
желѣзныи папорзи подъ шеломы латиньскыи. Тѣми тресну
земля, и многы страны — Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела и
половци сулицы своя повръгоша, а главы своя подклониша
подъ тьи мечи харалужныи». Второй певец от этой превысп-
ренней картины успехов Романа и Мстислава обращается к
«ранам» Игоря: «Нѣ уже, княже Игорю, утрѣпѣ солнцю свѣтъ,
а древо не бологомъ листови срони: по Рси и по Сули гради
подѣлиша. А Игорева храбраго плѣку не крѣсити! Донѣ ти,
княже, кличетъ и зоветь князи на побѣду. Олговичи, храбрыи
князи, доспѣли на брань...»

О том, что не воскресить Игорева полка, говорится в «Слове»
вторично: это тот же певец. Новость, однако, в том, что призыв
исходит от самой природы, от Дона, зовущего князей на по-
беду.

Пятый призыв также начинается с характеристики положе-
ния князей, к которым обращен призыв: «Инѣгварь и Всеволодъ
и вси три Мстиславичи, не худа гнѣзда шестокрилци! Не побѣд-
ными жребии собѣ власти расхытисте! Кое ваши златыи ше-
ломы и сулицы ляцкии и щиты?» Это описание положения
князей содержит типичное сравнение князей с животным ми-
ром: зверями, а в данном случае — с птицами. Второй поэт, де-

лающий выводы, повторяет себя из своего третьего заключения-обращения: «Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Рускую, за раны Игоревы, буюго Святъслав-лича!»

Шестое обращение направлено к Полоцкому княжеству, но там нет князя, который мог бы стать на защиту Русской земли, на что первый певец может только сетовать с горечью.

Вот что говорит второй певец: «Уже бо Сула не течетъ сребренными струями къ граду Переяславлю, и Двина болотомъ течетъ онымъ грознымъ полочаномъ подъ кликомъ поганыхъ. Единъ же Изяславъ, сынъ Васильковъ, позвони своими острыми мечи о шеломы литовскыя, притрепа славу дѣду своему Все-славу, а самъ подъ чрълеными щиты на кровавъ травъ притрепанъ литовскими мечи и с хотию на кров, а тѣй рекъ: «Дружину твою, княже, птицъ крылы приодѣ, а звѣри кровъ полиза-ша».

По-видимому, именно первый певец с печалью признает: «Не бысть ту брата Брячяслава, ни другаго — Всеволода. Единъ же изрони жемчужну душу изъ храбра тѣла чресъ злато ожерелие. Уныли голоси, пониче веселие, трубы трубятъ городеньскыи».

Из всех обращений — это наиболее необычное, так как, по существу, в нем нет призыва. Потому, очевидно, в нем труднее всего установить двуголосие. Оно все могло бы принадлежать и одному певцу. Мы делим его на два, потому что таковы все другие обращения.

Седьмое, последнее обращение, наиболее широкое и как бы обобщающее, снова делится на два: «Ярослави вси внуце и Всеслави! Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи верезени. Уже бо выскочисте изъ дѣдней славъ». Это обращение ко всем русским князьям, из которых существовали только две ветви — потомки Ярослава Мудрого и потомки Всеслава Полоцкого. Первый певец обращает к ним свой наиболее сильный призыв и наиболее широкое осуждение одновременно, поминая и Русскую землю, и «жизнь Всеслава», то есть все наследие последнего, все его, условно говоря, «богатство»: «Вы бо своими крамолами начясте наводити поганыя на землю Рускую, на жизнь Всеславлю. Которою бо бѣше насилие отъ земли Половецкыи!»

Если в прежних своих призывах певец-рассказчик говорил о «ранах Игоревых», то есть о недавних событиях, текущих, животрепещущих, то теперь он, обобщая вслед за первым певцом, говорит о длительном историческом сроке насилия от земли Половецкой. Соответственно этому певец-рассказчик (таким он нам рисуется) обращается к историческим событиям вековой давности — к истории борьбы полоцкого князя Всеслава и его

потомков с другими князьями — потомками Ярослава Мудрого, ярославичами.

Всякая политическая рознь на Руси в XII веке рассматривалась как наследственная. Поэтому и князья приглашались на княжение и расценивались как представители той или иной наследственной политической линии. И междукняжеские усобицы считались наследственными. Поэтому естественно было, говоря о междоусобицах князей, выводить эти усобицы от их истоков и родоначальников.

Певец-рассказчик так ведет свой рассказ, несомненно фольклорного, легендарного характера: «На седьмомъ вѣцѣ Трояни врьже Всеславъ жребий о дѣвицу себѣ любу. Тѣй клюками подпрѣ ся о кони и скочи къ граду Киеву и догчеся стружиемъ злата стола киевскаго. Скочи отъ нихъ лютымъ звѣремъ въ плѣночи изъ Бѣлаграда, обѣсися синѣ мѣглѣ утрѣже вазни, с три кусы отвори врата Новуграду, разшибе славу Ярославу, скочи влъкомъ до Немиги съ Дудутокъ». Попутно отметим: это повествование певца-рассказчика сильно отличается по своему характеру от его же рассказов о событиях Игоревы похода, и ясно почему: Игорев поход совершился только что, события же княжения Всеслава отделены веком. Поэтому рассказ о Всеславе ближе по своему типу к рассказу об Олеге Гориславиче — последний рассказ тоже о прошлом, хотя и чуть более близком. Это, между прочим, один из аргументов в пользу того, что «Слово» создано вскоре после похода и возвращения Игоря.

Певец-архаист, не сообщая новых фактов, толкует то, что рассказал второй: «На Немизѣ снопы стелють головами, молотятъ чеши харалужными, на тоцѣ животъ кладуть, вѣють душу от тѣла. Немизѣ кровави брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни — посѣяни костями рускихъ сыновѣ».

Певец-рассказчик приводит о Всеславе новые данные: «Всеславъ князь людемъ судяше, княземъ грады рядяше, а самъ въ ночь влъкомъ рыскаше: изъ Києва дорискаше до куръ Тмуторокана, великому Хрѣсови влъкомъ путь прерыскаше. Тому въ Полотьскѣ позвониша заутреннюю рано у святыя Софеи въ колоколы, а онъ въ Києвѣ звон слыша». Информативность всего этого текста необыкновенно насыщенная. Тут за каждым словом кроются многочисленные и драматические факты.

Певец-архаист и интерпретатор, певец-философ, и если читатель помнит, споривший с певцом-рассказчиком относительно вещаго Бояна (он сторонник его манеры), подводит философский итог истории Всеслава Полоцкого: «Аще и вѣща душа въ дрѣзѣ тѣлѣ, нѣ часто бѣды страдаше. Тому вѣщей Боянъ и прѣвое припѣвку, смысленый, рече: «Ни хытру, ни горазду, ни птицю горазду суда божиа не минути. О, стонати Руской земли, помянувшѣ прѣвую годину и прѣвыхъ князей!»

Певец-рассказчик и информатор, предлагавший петь от «старого Владимира до нынешнего Игоря», выполняя свое обещание, обращается от событий вековой давности к современности. Вот какие события он отмечает «нынѣ», то есть в момент соиздания «Слова»: «Того стараго Владимира нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевскимъ: сего бо *нынѣ* стаща стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нѣ розно ся имѣ хоботы пашуть. Копиа поють»¹. Не будем комментировать, какой из Владимиров здесь упоминается — Владимир I Святославич или Владимир Мономах. Историческое комментирование не входит в нашу задачу. Отмечу только, что события, которые происходят «ныне» — размолвка Рюрика Ростиславича и Давида Ростиславича, — произошла в 1185 году, то есть в том же году, к которому относится и поход Игоря Святославича.

Далее в «Слове» следует плач Ярославны. Он состоит из четырех обращений: к Каяле, к ветру, к Днепру и солнцу. Делить плач Ярославны по певцам нельзя. Он приписывается автором весь целиком одному певцу. Делить его было бы, кроме того, просто антихудожественно и не соответствовало бы эстетической системе «Слова». Правда, каждое обращение Ярославны начинается с предваряющих его сходных слов: первое — «На Дунаи Ярославнынѣ гласѣ ся слышитѣ, зегзицею незнаема рано кычеть», три остальных — «Ярославна рано плачетѣ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи». Можно было бы предположить, что эти вводные слова произносятся одним певцом, а за Ярославну поет другой певец, но такая «режиссерская аранжировка» была бы для своего времени, то есть для автора «Слова», чрезмерно изысканной, в духе Нового времени. Поэтому оставляю плач Ярославны без деления по певцам. Напомню этот плач:

«На Дунаи Ярославнынѣ гласѣ ся слышитѣ, зегзицею незнаема рано кычеть: «Полечю,— рече,— зегзицею по Дунаеви, омочю бебрянѣ рукавѣ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавыя его раны на жестоцѣмѣ его тѣлѣ».

Ярославна рано плачетѣ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: «О, вѣтрѣ, вѣтрило! Чему, господине, насильно вѣеши? Чему мычещи хиновскыя стрѣлки на своею нетрудною крилцо на моя лады вои? Мало ли ти бяшетъ горѣ подѣ облакы вѣяти, лелѣючи корабли на синѣ морѣ? Чему, господине, мое веселие по ковылию развѣя?»

Ярославна рано плачетѣ Путивлю городу на заборолѣ, ар-

¹ По поводу фразы «Копия поют» интересные соображения в связи с диалогическим мелосом «Слова» высказаны в книге Л. В. Кулаковского (с. 59). Автор предполагает здесь повторение «цепочкой».

кучи: «О Днепре Словутицю! Ты пробилъ еси каменные горы сквозъ землю Половецкую. Ты лелѣялъ еси на себѣ Святослави насады до плѣку Кобякова. Възлелѣй, господине, мою ладу къ мнѣ, а быхъ не слала къ нему слезъ на море рано».

Ярославна рано плачетъ въ Путивлѣ на забралѣ, аркучи: «Свѣтлое и тресвѣтлое слѣнце! Всѣмъ тепло и красно еси: чему, господине, простре горячую свою лучю на ладѣ вои? Въ полѣ безводнѣ жажду имѣ лучи съпряже, тугою имѣ тули затче?»

Заметим, что во втором и третьем обращении, как и в предшествующем обращении к русским князьям, последняя фраза заключает в себе конкретное предложение, а в первом и четвертом — некую конкретизацию ситуации. Поэтому если бы мы решились выделять в плаче Ярославны певцов, то последние фразы можно было бы приписать тому же певцу, который заключает и обращения автора к князьям.

Вслед за плачем Ярославны идет рассказ о бегстве Игоря из плена — бегстве, которое по существу своему является выполнением просьб Ярославны к ветру, реке и солнцу — с элементами той же последовательности. Принадлежит этот рассказ певцу-рассказчику:

«Прысну море полунощи, идутъ сморци мѣглами. Игореву князю богъ путь кажетъ изъ земли Половецкой на землю Рускую, къ отню злату столу. Погасоша вечеру зори. Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мѣритъ отъ великаго Дону до малаго Донца. Комонь въ полуночи Овлуръ свисну за рѣкою; велитъ князю разумѣти: князю Игорю не быть! Кликну, стукну земля, въшумѣ трава, вежи ся половецкии подвизашася. А Игорь князь поскочи горнастаемъ къ тростию и бѣлымъ гоголемъ на воду. Въврѣжеся на брѣзъ комонь и скочи съ него бусымъ влъкомъ. И потече къ лугу Донца, и полетѣ соколомъ подъ мѣглами, избивая гуси и лебеди завтроку, и обѣду, и ужинѣ».

Итак, ветер отвечает Ярославне тем, что посылает смерчи, которые, направляясь от моря на север, указывают путь Игорю. Солнце, которое жгло Игоревых воинов, посылает тьму, зори гаснут (напомню, что в описании затмения солнце также посылает тьму на Игоревых воинов)¹. Главная же русская река Днепр, что пробил каменные горы и нес на себе Святославовы насады, предоставляет путь Игорю по Донцу: Игорь мысленно мерит свой путь на Русскую землю по рекам, за рекой свистнул

¹ О древнерусских представлениях о свете и солнце см. во втором издании моей книги «Слово о полку Игореве» и культура его времени».

ему и Овлур. В плаче Ярославны заключено обращение к двум рекам: в первом обращении Ярославна хочет омочить свой бег-ряный рукав в Каяле-реке и утереть Игорю кровавые его раны. И в рассказе о бегстве Игоря отмечено, что реки оказывают Иго-рю два раза услугу — вторую, и последнюю, укрывая Игоря на своих берегах. Перед нами певец-рассказчик — тот, что в нача-ле «Слова» собирался вести рассказ «по былинам сего време-ни».

Певец-философ, архаист, берет заключительное слово, вводя и развивая зооморфные мотивы, как он постоянно делал и перед тем. Он указывает на различие между бегством Игоря и Овлура: «Коли Игорь соколомъ полетѣ, тогда Влуръ влъкомъ потече, труса собою студеную росу: претръгоста бо своя бръзая комо-ня». Игорь, русский князь, — сокол. Овлур, верный Игорю по-ловец, половец-слуга, — волк, как волком был и Всеслав-князь.

Удачное бегство Игоря вселяет веселие в обоих певцов. Даль-нейший их диалог напоминает скоморошью сценку, такую же, какие есть в «Молении» Даниила Заточника, и намеком на ка-кую заканчивается «Задонщина».

Диалог разыгрывается между Донцом и Игорем. Певец-рас-казчик говорит за Донца. «Донецъ рече: «Княже Игорю! Не мало ти величия, а Кончаку нелюбия, а Руской земли весе-лия!»

На эти слова Донца певец-архаист и «обобщатель» отвечает за Игоря: «Игорь рече: О Донче! Не мало ти величия, лелѣявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелѣну траву на своихъ среб-ренныхъ брезѣхъ, одѣвавшу его теплыми мѣглами подъ сѣнию зелену древу; стрежаше его гоголемъ на водѣ, чайца-ми на струяхъ, чрънядьми на ветрѣхъ». Впрочем, в данном разделении текста между двумя певцами я не очень уве-рен.

Надо думать, что «Слово» и не стремится точно передать ответ Игоря: это воображаемый диалог. Игорь говорит о себе в третьем лице, называя самого себя князем. При этом певец со-ответственно плачу Ярославны пользуется теми же выраже-ниями, что и Ярославна. Ярославна говорит, что Днепр «ле-лѣяль» на себе Святославовы насады. Игорь же благодарит До-нец, который «лелѣял» князя на волнах. При этом Игорь упо-ребляет прошедшее время — «лелѣявшу», что опять-таки ука-зывает на то, что это не передача слов Игоря, а как бы рассказ о его словах, воспроизведение слов Игоря.

Поведение реки заставляет певца-рассказчика, певца-ис-торика в последний раз обратиться к историческим воспомина-ниям — к поведению другой реки и в другое время: «Не тако ти, рече, рѣка Стугна: худу струю имѣя, пожрыши чужи ручьи и стругы, рострена к устью, уношу князю Ростиславу затвори

Дѣпрѣ темнѣ березѣ. Плачется мати Ростиславля по уноши князи Ростиславѣ». Рассказ этот почти точно повторяет рассказ «Повести временных лет» 1093 года, когда Ростислав утонул в Стугне, был привезен в Киев и там оплакан матерью. Певец-рассказчик здесь не в первый раз выступает в «Слове» знатном летописи.

Обращает на себя внимание в этом тексте и глагол «рече». Кто «рече»? Вряд ли о смерти Ростислава вспоминает Игорь: исторические воспоминания — прерогатива певца-рассказчика. Не указывает ли это «рече» на переход от одного певца к другому?

Наступает очередь певца, поющего в манере Бояна, певца-обобщателя: «Уныша цвѣты жалою, и древо с тугою къ земли прѣклонилося».

Затем певцы снова обращаются к счастливому бегству Игоря из плена. Певец-рассказчик поет о бегстве, и рассказ его опять переходит в шуточный диалог: на этот раз двух половецких ханов Гзака и Кончака. Ясно, что здесь также нет попытки передать реальные слова Гзака и Кончака (разговор между ними, если бы он был, шел бы по-половецки и не мог быть подслушан).

Приведу полностью это место «Слова». Оно легко разбивается на речи одного певца и другого, особенно там, где они разыгрывают между собой скоморошью сценку.

Певец-рассказчик: «А не сороки втрескоташа — на слѣду Игоревѣ ѣздитъ Гзакъ съ Кончакомъ».

Певец-архаист и обобщатель, склонный к языческим реминисценциям и аналогиям с явлениями природы: «Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша, сороки не трескоташа, полозие ползаша только. Дятлове тектомъ путь къ рѣцѣ кажутъ, солови веселыми пѣснями свѣтъ повѣдаютъ».

Певец-рассказчик приписывает своему персонажу, Гзаку, собственные свойства, собственную манеру рассуждать (прагматически). Певец-архаист влагает в своего персонажа — Кончака — свою манеру обобщать. Гзак и Кончак снова разыгрывают те же две роли, но в комических тонах.

Певец-рассказчик поет: «Млѣвитъ Гзакъ Кончакови: «Аже соколь къ гнѣзду летитъ, соколича рострѣляевѣ своими злачеными стрѣлами». Вспомним, как в зачине к «Слову» певец-рассказчик опровергал привычку сторонника Бояна называть пальцы певца лебедями.

¹ Напомню, что совсем в иную, церковно-религиозную связь поставлена смерть Ростислава в Киево-Печерском патерике; но это особая тема для размышлений.

Певец-архаист отвечает: «Рече Кончакъ ко Гзѣ: «Аже соколъ къ гнѣзду летитъ, а вѣ соколца опутаевѣ красною дѣвицею»».

Певец рассказчик и прагматик передает воображаемую речь Гзака: «И рече Гзакъ къ Кончакови: «Аще его опутаевѣ красною дѣвицею, ни нама будетъ сокольца, ни нама красны дѣвице, то почнуть наю птици бити вѣ полѣ Половецкомѣ»».

Это чисто воображаемый диалог, в котором даже страна половцев названа так, как ее не называли бы сами половцы, а называли только русские — «поле Половецкое».

На этом диалогическая форма «Слова» прерывается. В дальнейшем оба певца поют вместе, как и полагается в патетической концовке. И они вспоминают двух своих предшественников — Бояна и Ходыну¹. «Рекъ Боянъ и Ходына, Святъславля пѣснотворца стараго времени Ярославля, Ольгова коганя хоти: «Тяжко ти головы кромѣ плечю, зло ти тѣлу кромѣ головы» — Руской земли безъ Игоря».

Затем оба певца продолжают петь вместе уже славу князьям: «Солнце свѣтитсѣ нѣ небесѣ,— Игорь князь вѣ Руской земли; дѣвицы поютъ на Дунаи,— вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потомъ молодымъ пѣти: «Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу!» Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганяны плѣтки! Княземъ слава а дружинѣ. Аминь».

То, что оба певца поют вместе в конце «Слова», не может вызывать сомнения. Это оправдывается всем содержанием концовки: она посвящена прославлению русских князей и дружины. Невозможно себе представить, чтобы один певец пел славу, а другой молчал, тем более что в летописи есть свидетельство о хоровом пении славы, а в миниатюрах Радзивиловской летописи это хоровое пение девиц даже и изображено.

Итак, мы подошли к концу нашего построения. Конечно, оно не доказано. Если это только предположение, то почему все-таки оно нужно? Предлагаемый взгляд на «Слово» — это взгляд под особым углом зрения. Этот угол зрения позволяет выявить в «Слове» некоторые «рельефы», которые иначе были бы незаметны. В частности, даже если не принимать предполо-

¹ Эта версия темного места «Слова» кажется мне наиболее вероятной, ибо она подкреплена не только поэтикой амебейного пения, но и двойственным числом, которое здесь случайно появиться не могло: «пѣснотворца».

жения об исполнении «Слова» двумя певцами, нельзя не обнаружить в «Слове» некоторого диалогизма: в «Слове» чередуются изложение с обобщением изложенного, повествовательность с «художественным приговором» совершившемуся. Две манеры, два взгляда на события. Предположение о «диалогическом» характере «Слова» многое объясняет и в структуре «Слова» — например, отдельные переходы; тема Бояна оказывается в известной мере более естественной и органичной для «Слова»: спор о том, как рассказывать о походе, не заканчивается в начале «Слова», а продолжается до конца произведения, имеет «практический» смысл, поскольку обе манеры представлены в «Слове» на всем его протяжении.

Спрашивается: мог ли один певец вести все повествование при оправданности наших наблюдений над диалогичностью «Слова»? Конечно, мог, хотя ему было бы трудно последовательно выдерживать одному это «маятниковое качание».

Диалогическое исполнение «Слова» объясняет и «поэтику повторов», о которой я говорил выше.

Сделанное мною предположение о диалогическом строении «Слова» литературоведчески подкрепляет музыковедческие выводы неоднократно мною уже упоминавшейся книги Л. В. Кулаковского. Если оба подхода совпадают в итоге, а мой вывод даже несколько шире вывода Л. В. Кулаковского, поскольку я вижу в двух певцах две разные поэтические позиции, то это значительно подкрепляет предположение, выдвинутое Л. В. Кулаковским.

Хоровое на два голоса исполнение произведений на древнейших стадиях развития поэзии хорошо исследовано А. Н. Веселовским в его «Трех главах из исторической поэтики»¹.

Хоровое исполнение и авторский расчет на это хоровое, амейное исполнение были присущи всей ранней европейской литературе. Не буду вдаваться в подробности. Предоставлю слово крупнейшему специалисту в этой области — М. И. Стеблину-Каменскому. В своей книге «Древнескандинавская литература» (М., 1979) он писал: «Дротткветтны хвалебные песни»² перво-

¹ Последнее издание: Веселовский А. Н. Историческая поэтика. Л., 1940, с. 200—380.

² Должен на всякий случай предупредить читателя, что «Слово о полку Игореве» никак не может быть сведено по другим признакам в их совокупности к жанру «дротткветтных хвалебных песен», насколько я об этом могу судить и поскольку его связи с русским, украинским и белорусским фольклором, а также с древней Киевской литературой неоспоримы и многочисленны. Речь идет лишь о «типологической» (как сейчас принято говорить) близости в области хорового, на два голоса, исполнения к ранней европейской поэзии.

начально сочинялись для исполнения двумя певцами или хором на два голоса. Строфа могла распадаться на две партии. Было принято поэтому переплетать в строфе параллельные предложения. Исполнение на два голоса впоследствии вышло из употребления... Не сохранилось никаких свидетельств об исполнении хвалебных песней в Скандинавии в древнейшие времена. Однако сравнительный материал показывает, что обычай хорового, или амебейного, исполнения хвалебных песней широко распространен у племен земного шара. На ранних этапах культурного развития он был, по-видимому, общераспространенным. Есть свидетельства о его наличии и у германских племен. В заключительных строках древнеанглийской поэмы «Беовульф» рассказывается о том, как двенадцать дружинников гарцуют вокруг могильного кургана героя и воспевают его доблести и подвиги; и это точная параллель описания погребения Аттилы у готского историка Иордана. Ясное указание на амебейное исполнение есть в рассказе Приска, одного византийского автора, о том, как после пира у Аттилы два варвара (то есть, вероятно, гота) стали против него и «произнесли сложенные песни, воспевая победы и военные доблести», а также в древнеанглийской поэме «Видсид», в которой певец говорит: «...когда я со Скиллингом ясным голосом перед нашим победоносным князем песнь зачинали». Гаральд Кембрийский — английский средневековый автор — упоминает исполнение песни в два голоса в Нортумбрии и высказывает предположение, что оно идет от скандинавских викингов. Следом древнего исполнения хвалебных песней в Скандинавии может быть и то, что согласно «Перечню скальдов», памятнику XIII века, число скальдов у древнейших норвежских королей, как правило, было кратко двум (2, 4, 6 или 10), а также то, что в «Саге о Стурлунгах» дважды рассказывается о том, что двое исполняют строфу, каждый свою строку (правда, в обоих случаях такое исполнение снится кому-то)¹.

Приведенная цитата отнюдь не означает, что «Слово о полку Игореве» написано (я подчеркиваю — «написано») его автором по законам скандинавского или вообще какого-то нерусского принципа. Русский характер поэтики «Слова» доказывать не надо: «Слово» — памятник наполовину фольклорный, и при этом явно русского фольклора. Диалогическое начало в русском мелосе блестяще раскрыто и в книге Л. В. Кулаковского. Я привел цитату из М. И. Стеблина-Каменского для того, чтобы показать свойственность диалогического начала многим древ-

¹ Стеблин-Каменский М. И. Древнескандинавская литература. М., 1979, с. 67—68. Ср. также: Стеблин-Каменский М. И. Историческая поэтика. Л., 1978, с. 66—69.

ним песнопениям. Если предположение Л. В. Кулаковского и мои дополнительные соображения к предположению Л. В. Кулаковского в будущем оправдаются, это не только объяснит многое в строении «Слова», но и подкрепит и так уже не вызывающую сомнений мысль о древности «Слова», его связи с архаистической стадией русского народного творчества.

Время несомненно «размыло» текст «Слова». Поэтому даже если согласиться с предположением об изначальном диалогическом строении «Слова», то четкое разделение всего дошедшего текста «Слова» по двум певцам-исполнителям вряд ли возможно. Весьма вероятно, что и намеченные нами выше литературные позиции каждого из двух исполнителей не были в самом авторском тексте достаточно определенно выделены: в этом, в сущности, и не было достаточной необходимости — кроме самого начала «Слова» и некоторых «поддержек» их позиций в середине; в конце «Слова» обе позиции смыкаются. Однако сделанное нами предположение о диалогическом строении «Слова» и о различии в литературных позициях певцов может многое объяснить в поэтике «Слова», в толковании отдельных его мест и помочь в переводе «Слова» на современный русский язык. Первую фразу «Слова» не следует, например, считать вопросительной¹. Это предложение начать «Слово» в стилистической манере Бояна. Оправдывается и последующее двукратное возвращение к Бояну — к его манере и к его высказываниям. Вся вступительная часть «Слова» более ясна по смыслу. Это спор двух певцов, спор в известной мере условный, говорящий об актуальности обеих стилистических (или даже жанровых) систем во второй половине XII века: «по былинам сего времени» или в манере славословий Бояна, причем манеру Бояна певец явно стилизует, ощущая ее архаичность. Пассаж «Крычат тѣлѣгы полунощы: рцы лебеди роспужены» благодаря сделанному нами предположению можно переводить более точно: «Кричат телеги в полуночи: ты бы (это обращение к певцу-архизатору.—Д. Л.) сказал — это лебеди вспугнутые». Диалогическая форма «Слова» подкрепляет вероятность конъектуры о двух певцах — предшественниках нынешних тоже двух певцов — Бояне и Ходыне. Диалогическая форма «Слова» объясняет и следующее явление: персонажи «Слова» всегда говорят о себе в первом лице единственного числа (князь Святослав Киевский, Ярославна, Всеволод Буй-Тур, Игорь), а певцы-исполнители — то в первом лице единственного числа, то в первом лице

¹ Утвердительное значение начальной фразы «Слова» первым отметил Пушкин (см.: П у ш к и н А. С. Полн. собр. соч. М.—Л., 1948, т. 12, с. 149—150).

множественного числа. Исчезновение диалогического строения в конце «Слова», исполнение концовки хором делают окончание «Слова» более пафосным. Объясняются в «Слове» повторы и переходы от одного ритма к другому.

Можно было бы наметить и еще другие аспекты более детализированного понимания поэтики и текста «Слова», если принять предположение о его диалогическом строении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Что же дало семивековое развитие русской литературы?

Прежде всего мы имеем в культурном наследии нашего прошлого ряд изумительных произведений: вершины, сливающиеся в единый горный хребет: «Слово о Законе и Благодати», «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха, слова Кирилла Туровского, «Слово о полку Игореве», Киевскую и Галицко-Волынскую, а также Владимиро-Суздальскую и Новгородские летописи, «Моление» Даниила Заточника, «Слово о погибели Русской земли», «Житие Александра Невского», «Повесть о разорении Рязани Батыем», «Задонщину» и «Сказание о Мамаевом побоище», «Хождение за три моря» Афанасия Никитина, «Повесть о Петре и Февронии Муромских», «Записка» Иннокентия о последних днях жизни Пафнутия Боровского, произведения Ивана Пересветова, Курбского и Грозного, «Повесть о нахождении Стефана Батория на град Псков», повести об Азове, «Повесть о Савве Грудцыне», «Повесть о Горе-Злочастии», многообразные произведения Аввакума, сатирические произведения XVII века. И многое другое — всего не перечислишь.

Во-вторых, мы имеем огромное накопление литературного опыта, жанровое богатство, необычайный диапазон литературного языка — от бытового просторечия и деловой прозы до высокой церковнославянской речи, в основном восходящей к староболгарскому языку.

В-третьих, мы имеем накопление того, что можно было бы назвать «опытом развития» — гибкость взаимоотношения литературы и действительности, та самая, что составила содержание этой книги. В этом «опыте развития» имеет огромное значение и развитие способности литературы бороться с самой собой: уходить от литературщины, избегать штампованных форм и

формул, прибегая лишь к благородным канонам творчества, развивать «искренность художественного творчества», поддерживать в себе очень важную черту русской литературы, которую можно было бы определить как «стыдливость формы»¹.

И наконец, в-четвертых — и это, может быть, самое важное — литература утвердила себя как своеобразное царство с незыблемым авторитетом в оценке моральных сторон социального быта. Это положение литературы не могло быть поколеблено и оставалось прочным и во все три последующих века.

Рассматривая литературу XIX—XX веков в свете ее многовекового развития, мы начинаем понимать, сколько было преодолено всевозможных препятствий, трудностей, как много было вложено в нее жизненной энергии народа. Мы осознаем, что история литературы не есть просто история создания литературных произведений и смен литературных направлений. Литература — важнейшая часть гомосферы, вне которой человек не существует.

¹ О «стыдливости формы» см. во втором издании моей книги «Литература — реальность — литература» (Л., 1984, с. 6).

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
Своеобразие древнерусской литературы (Вместо введения)	6
РАЗДЕЛ I	
Великое начало литературы (XI—начало XII века)	27
Литература эпохи «Слова о полку Игореве» (XII век)	48
Литература трагического века в истории России (XIII столетие)	69
Литература времени национального подъема (XIV—середина XV века)	95
Литература исторических размышлений (вторая половина XV века)	122
Эпоха решительного подъема общественного значения литературы (первая половина XVI века)	142
Литература «государственного устройства» (середина XVI века)	159
На пути к новому литературному сознанию (вторая половина XVI века)	174
Литература периода формирования нового литературного сознания (начало XVII века)	185
Семнадцатый век в русской литературе	200
Древнерусская литература и современность	231
РАЗДЕЛ II	
Художественное единство «Слова о полку Игореве»	241
Поэтика повторяемости в «Слове о полку Игореве»	259
Предположение о диалогическом строении «Слова о полку Игореве»	277
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	299

Дмитрий Сергеевич Лихачев

ВЕЛИКИЙ ПУТЬ: СТАНОВЛЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XI—XVII ВЕКОВ.

Редактор **Т. Танакова**

Художественный редактор **А. Никулин**

Технический редактор **В. Соколова**

Корректоры **В. Лыкова, И. Попова**

ИБ №4255

Сдано в набор 31.07.86. Подписано к печати 22.01.87. А07515. Формат изд. 60×84/16. Бумага офс. № 1. Усл. печ. л. 17,67 + 1,86 вкл. Усл. кр.-отт. 39,99. Уч.-изд. л. 19,63. Тираж 25 000 экз. Заказ № 3410. Цена 1 р. 30 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 62

Госкомиздат РСФСР

Полиграфическое производственное объединение «Офсет» Управления издательств, полиграфии и книжной торговли Волгоградского облисполкома. 400001, Волгоград, ул. КИМ, 6

Лихачев Д. С.

**Л65 Великий путь: Становление русской литературы
XI—XVII веков.—М.: Современник, 1987.—301 с., 16 л.,
илл.**

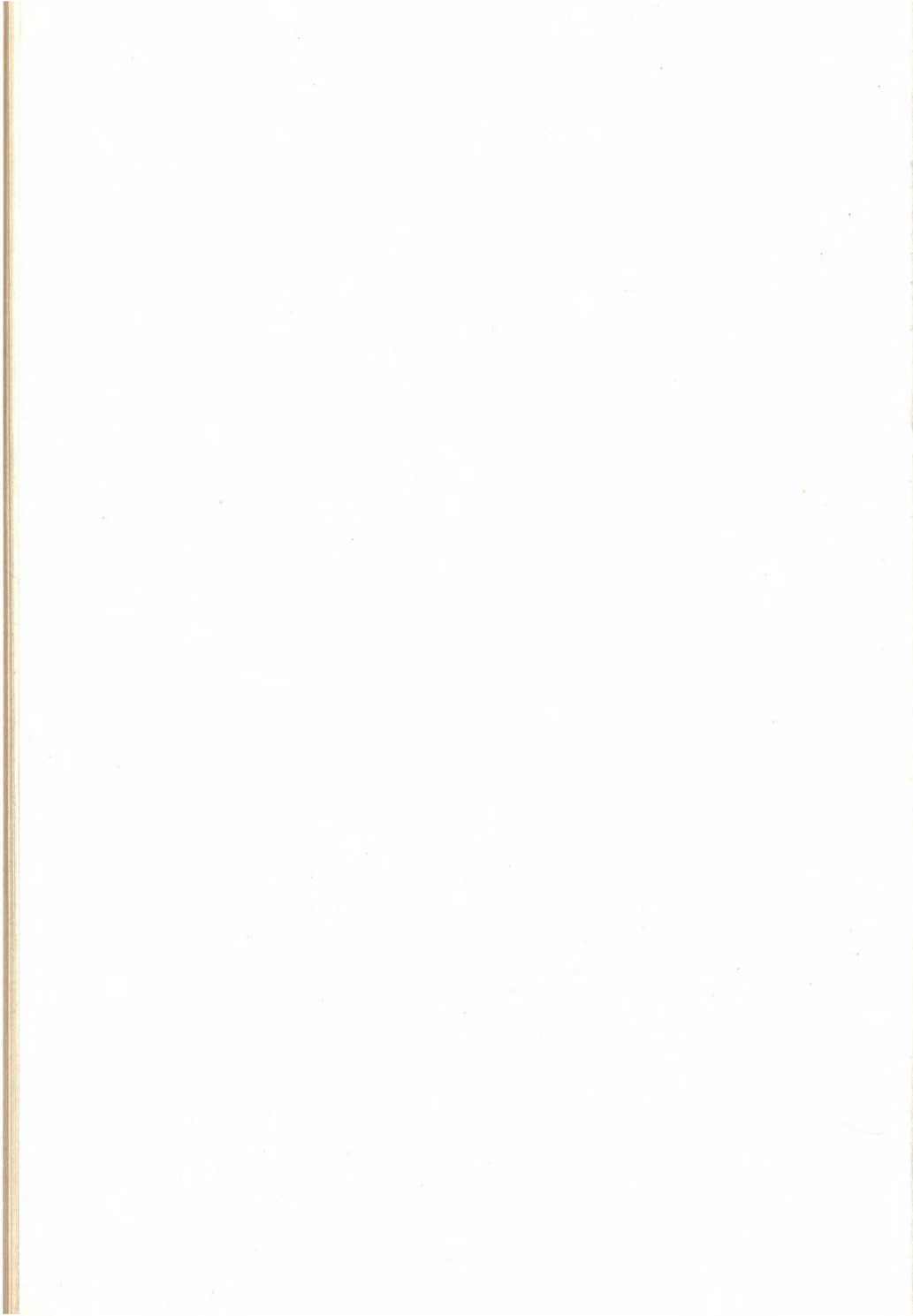
В новой книге выдающегося советского ученого, лауреата Государственных премий СССР, академика Дмитрия Сергеевича Лихачева показаны основные этапы сложной, но полной гениальных художественных и философских прозрений истории великой русской литературы с XI по XVII век. Она рассматривается в тесной связи с отечественной историей, в их взаимовлиянии.

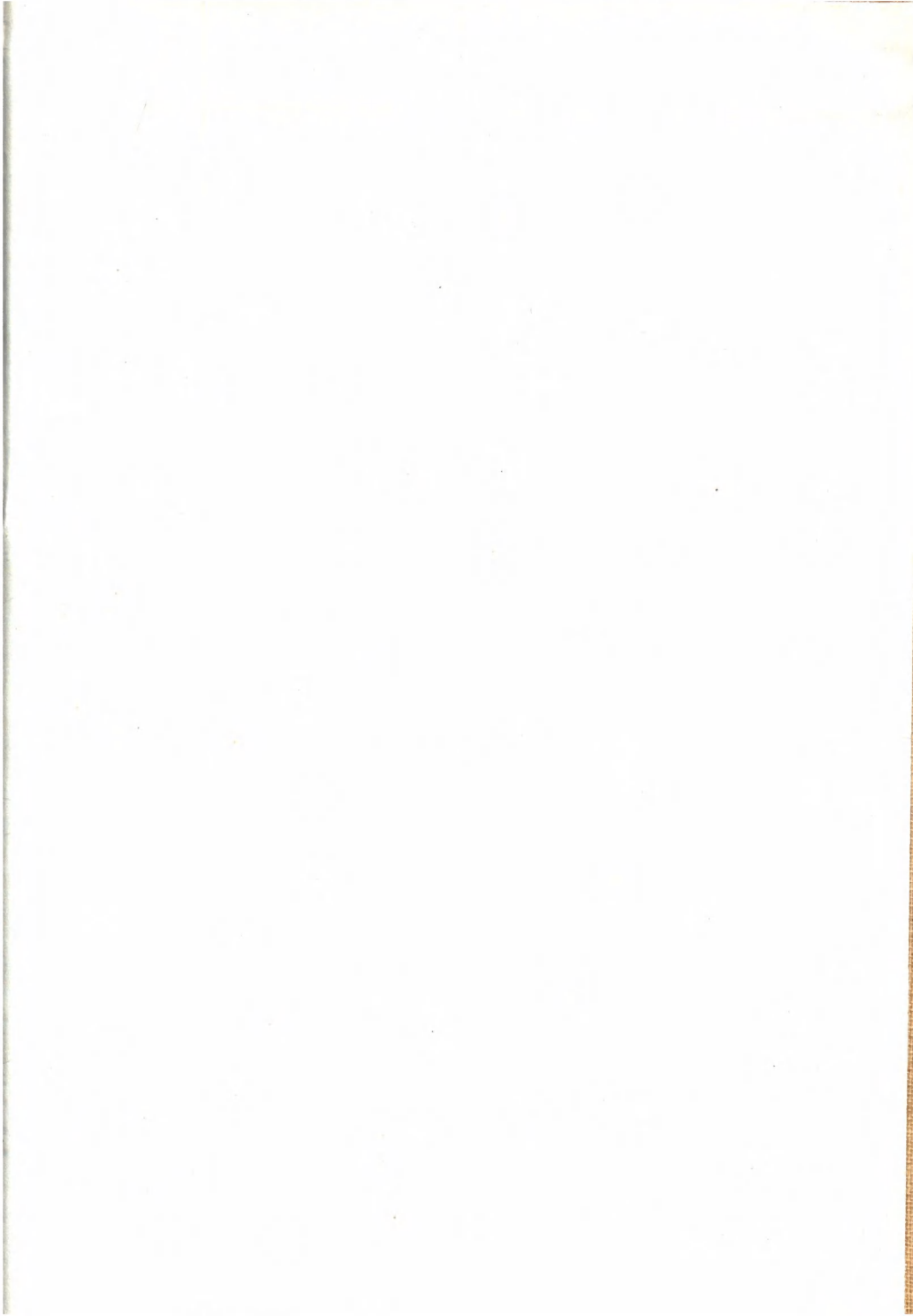
Множество иллюстраций — миниатюр из древнерусских книг и др. — помогут читателю нагляднее увидеть и осознать высокий уровень русской культуры прошлого.

Книга адресована широкому кругу читателей.

Л 4603010101—056 310—86
M106(03)—87

83.3P1





1 р. 30 к.

СОВРЕМЕННОК

ДМИТРИЙ ЛИХАЧЕВ
ВЕЛИКИЙ ПУТЬ

